МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ПОД СОЛНЦЕМ

Полю Арно.

ПОД СОЛНЦЕМ

Жизнь, такая краткая, такая долгая, становится подчас невыносимой. Ее течение всегда одно и то же, и в конце всего — смерть. Жизни не остановишь, не изменишь, не поймешь. И часто нас охватывает возмущение и негодование перед тщетностью наших усилий. Что бы мы ни делали, мы умрем! Во что бы мы ни веровали, как бы ни мыслили, что бы ни пытались делать — мы умрем. И кажется, что умрешь завтра, так ничего больше не узнав и уже питая отвращение ко всему, что знаешь. И чувствуешь себя подавленным от сознания «извечного ничтожества вещей», бессилия человека и однообразия его действий.

Встанешь с места, походишь по комнате, облокотишься на подоконник. Люди в доме напротив — отец, мать, четверо детей — обедают, как они обедали вчера, как будут обедать завтра. Еще три года тому назад была с ними бабушка. Теперь ее больше нет. Отец, с тех пор как мы стали соседями, сильно изменился. Он этого не замечает, он кажется довольным, он кажется счастливым. Глупец!

Они говорят о чьем-то браке, потом о чьей-то смерти, потом о нежном мясе поданного цыпленка, потом о своей служанке, которая нечиста на руку. Они беспокоятся о тысяче вещей, ненужных и бессмысленных. Глупцы!

Вид квартиры, где они живут вот уже восемнадцать лет, вызывает во мне отвращение, негодование. И это жизнь! Четыре стены, две двери, окно, кровать,

стулья, стол — и все! Тюрьма, тюрьма! Любое жилище становится тюрьмой, если живешь в нем долго! О, бежать, уехать, бежать от примелькавшихся мест, от людей, от все тех же движений в одни и те же часы и — главное — от все одних и тех же мыслей!

Когда чувствуешь, что все надоело, так надоело, что хочется плакать с утра до ночи, так надоело, что нет больше сил встать и выпить стакан воды; когда чувствуешь, что тебе надоели дружеские лица, которые слишком часто попадаются на глаза и начинают вызывать раздражение, твои противные и благодушные соседи, привычные и однообразные вещи, твой дом, твоя улица, твоя служанка, которая входит с вопросом: «Что прикажете, барин, к обеду?» — и удаляется своей отвратительной походкой, вскидывая каблуком при каждом шаге обтрепанный подол грязной юбки; когда тебе надоел твой слишком верный пес, надоели постоянные пятна на обоях, регулярность трапез, сон в той же постели, повседневное повторение тех же поступков; когда тебе надоел ты сам, твой голос, все то, что ты беспрестанно повторяешь, узкий круг твоих мыслей; когда надоело собственное отражение в зеркале, гримасы, которые ты делаешь, бреясь и причесываясь,— тогда надо уехать и начать новую жизнь, полную разнообразных впечатлений.

Путешествие—это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтоб перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном.

Вокзал! Пристань! Поезд, который свистит и выплевывает первую струю пара! Огромный пароход, медленно пробирающийся вдоль мола, задыхаясь от нетерпения, и готовый устремиться туда, к горизонту, к иным берегам! Кто может смотреть на это, не дрогнув от зависти, не почувствовав, как просыпается в душе трепетное желание долгих странствий?

Люди обычно мечтают о какой-нибудь излюбленной стране: один — о Швеции, другой — об Индии, этот — о Греции, тот — о Японии. Меня же влекло к Африке, это была властная потребность, тоска по неведомой пустыне, как бы предчувствие зарождающейся страсти.

Я покинул Париж 6 июля 1881 года. Я хотел уви-

деть эту страну солнца и песка в разгаре лета, в тяжком зное, при ярком, ослепительном свете.

Все знают прекрасное стихотворение великого поэта Леконта де Лиля:

Вот полдень, лета царь, покровом сребротканым
Пал на пустынный мир под горней синевой.
Пылает воздух сам в молчанье бездыханном;
Земля затихла, спит в одежде огневой [1].

Этот-то полдень пустыни, полдень, распростертый над морем песка, недвижным и беспредельным, и заставил меня покинуть цветущие берега Сены, воспетые мадам Дезульер, освежительное купание по утрам и зеленую сень лесов, чтобы держать путь сквозь раскаленные пространства пустынь.

Еще одно обстоятельство придавало в ту пору Алжиру особенный интерес. Неуловимый Бу-Амама вел тогда фантастическую войну, по поводу которой было сказано, написано и совершено столько глупостей. Утверждали также, что мусульманские племена подготовляют всеобщее восстание, что они решились на последнее усилие и что сейчас же после Рамадана война вспыхнет сразу по всему Алжиру. Было крайне любопытно увидеть арабов именно в такой момент, попытаться понять их душу — то, чем колонизаторы вовсе не интересуются.

Флобер говорил, бывало: «Можно представить себе пустыню, пирамиды, сфинкса, еще не видев их, но чего никак нельзя вообразить,— это голову турецкого цирюльника, сидящего на корточках у порога своей двери».

И тем более занятно узнать, что происходит в этой голове.

---

[1] Перевод Наталии Соколовой.

МОРЕ

Марсель трепещет под веселым солнцем летнего дня. Кажется, что все здесь смеется: и большие разукрашенные кафе, и лошади в соломенных шляпах, как на каком-то маскараде, и его деловитый и шумный люд. Город словно навеселе — так певуче, так подчеркнуто, с таким вызовом звучит на улицах его говор. В другом месте марселец забавен: он похож на иностранца, коверкающего французский язык; в Марселе же, где все марсельцы собрались вместе, их акцент становится таким преувеличенным, что принимает характер фарса. Когда все говорят так,— это уж слишком, черт возьми!

Марсель потеет на солнце, как красивая неопрятная девка, от которой, от негодницы, несет чесноком да и кое-чем еще. От него несет всей той неописуемой снедью, которую жуют негры, турки, греки, итальянцы, мальтийцы, испанцы, англичане, корсиканцы и сами марсельцы — все те, что лежат, сидят, ворочаются с боку на бок и валяются на набережных.

В доке Жольет, повернувшись носом к выходу из гавани, разводят пары тяжеловесные суда, усеянные людьми, которые грузят на них какие-то тюки и товары.

Один из пароходов, *Абд-эль-Кадир,* неожиданно испускает рев; теперь ведь свистки упразднены; их заменяет нечто вроде звериного крика, ужасный вопль из дымящейся утробы чудовища.

Большое судно отчаливает, медленно пробирается между своими еще неподвижными собратьями, выходит из порта, и как только капитан выкрикнул в рупор команду: «Полный вперед!»,— проникающую до самых недр судна, оно могучим порывом устремляется в открытое море, оставляя за собой длинную борозду, в то время как берега убегают и Марсель удаляется к горизонту.

На судне наступает время обеда. Народу немного. В Африку не ездят в июле. За столом — полковник, инженер, врач, два алжирских буржуа с женами.

Разговор идет о стране, куда мы направляемся, о том административном устройстве, которое для нее необходимо.

Полковник настойчиво требует назначения военного губернатора, говорит о военной тактике в условиях пустыни и объявляет, что для армии телеграф бесполезен и даже опасен. Этот штаб-офицер, видимо, испытал по вине телеграфа какую-нибудь неприятность в военное время.

Инженер хотел бы вверить колонию генеральному инспектору путей сообщения, дабы последний строил каналы, плотины, дороги и тому подобное.

Капитан парохода остроумно замечает, что моряк был бы там гораздо более на месте, так как Алжир доступен только с моря.

Оба буржуа указывают на грубые оплошности губернатора, и все смеются, удивляясь, как можно быть таким неловким.

Потом пассажиры снова поднимаются на палубу. Кругом одно только море, спокойное море, без малейшей ряби, позлащенное луной. Тяжелый пароход словно скользит по водной глади, оставляя за собой длинную кипящую борозду, где вспененная вода кажется жидким огнем.

Над нашей головой простирается небо, иссиня-черное, усеянное звездами, которые время от времени заволакиваются громадным султаном дыма, изрыгаемым пароходною трубою; фонарик наверху мачты кажется крупной звездой, странствующей среди других звезд. Слышен только шум винта в недрах парохода. Как оча-

ровательны эти мирные вечерние часы на палубе бегущего судна!

Весь следующий день вы предаетесь думам, лежа под тентом, и океан окружает вас со всех сторон. А потом снова приходит ночь и снова настает день. Спали вы в тесной каюте, где койка похожа на гроб. Пора вставать, четыре часа утра.

Какое пробуждение! Длинная полоса берега, и там прямо перед вами растущее белое пятно — Алжир!

ГОРОД АЛЖИР

Волшебная картина, неожиданная, чарующая душу! Алжир превзошел мои ожидания. Как прелестен этот белоснежный город при ярком дневном свете! Вдоль пристани тянется громадная терраса, поддерживаемая изящными аркадами. Над нею высятся большие европейские гостиницы и французский квартал, а еще выше взбирается по уступам арабский город — нагромождение причудливых белых домиков, прилепившихся друг к другу и разделенных улицами, похожими на светлые подземные ходы. Верхний этаж каждого здания подпирают ряды столбов, выкрашенных в белый цвет; крыши соприкасаются. Неожиданные спуски открывают доступ к жилым подвалам, таинственные лестницы ведут к жилищам, похожим на норы и густонаселенным арабскими семьями. Мимо величаво проходит закутанная в покрывало женщина с голыми лодыжками — не очень соблазнительными, черными от пыли, налипшей на потную кожу.

Вид на город с мола восхитительный. Восторженно любуешься сверкающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пенистый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны; но вот пена как бы еще более сгущается — то горит на солнце ослепительная мечеть.

Поразительный народ кишит здесь повсюду. Бродят бесчисленные нищие, кто в одной рубахе или в одеянии из двух ковров, сшитых вместе, наподобие ризы, кто в старом мешке с отверстиями для головы и рук; всегда босые и с голыми икрами, они бранятся друг с другом, дерутся вшивые, ободранные, вымазанные в грязи, пахнущие зверем.

Тартарен сказал бы, что от них несет «тэрком» (турком), и тут несет тэрком повсюду.

Затем здесь шныряет множество чернокожих ребят, помесь кабилов, арабов, негров и белых, настоящий муравейник чистильщиков сапог, которые липнут к вам, как мухи: вороватые, дерзкие, порочные уже с трехлетнего возраста, хитрые, как обезьяны, они осыпают вас арабскими ругательствами и вечно пристают к вам со своим французским «cïé mosieu» [1]. Они обращаются к вам на «ты», и к ним обращаются на «ты». Все здесь, впрочем, говорят друг другу «ты». Извозчик, которого вы останавливаете на улице, спрашивает вас: «Куда тебя везти?» Отмечаю это к сведению парижских извозчиков; по части фамильярности их здесь превзошли.

В день приезда я наблюдал один маленький эпизод, незначительный сам по себе, но который, однако, как бы суммирует историю Алжира и колонизации.

Когда я сидел в кафе, какой-то темнокожий мальчишка насильно завладел моими ногами и с бешеной энергией принялся чистить мне башмаки. После того как он тер их с четверть часа, придав им более чем зеркальный блеск, я дал ему два су. Он произнес: «Méci mosieu»[2], но не тронулся с места. Он продолжал неподвижно сидеть на корточках у моих ног, ворочая глазами, как будто в припадке. «Убирайся же, черномазый»,— сказал я ему. Он не ответил ни слова, не шевельнулся, но затем вдруг прижал к груди свой ящик со щетками и пустился бежать со всех ног. И я

[1] Испорченное французское выражение «cirer, monsieur?» — «почистить, сударь?»

[2] Испорченное французское выражение «merci, monsieur» — «спасибо, сударь».

увидел, как рослый негр лет шестнадцати показался из-за двери, за которой он прятался, и бросился за моим чистильщиком. В несколько прыжков он настиг его, дал ему затрещину, обыскал его, отобрал два су, положил их себе в карман и преспокойно удалился, посмеиваясь, между тем как ограбленный бедняга выл самым отчаянным образом.

Я был возмущен. Сосед по столу, офицер африканской службы, мой приятель, сказал мне:

— Полноте, здесь попросту создается своя иерархия. Пока люди недостаточно сильны, чтобы отнимать су у других, они чистят сапоги. Но как только они чувствуют себя в состоянии обирать более слабых, они бросают всякую работу, подстерегают чистильщиков и грабят их.

Мой собеседник, смеясь, прибавил:

— Почти все здесь поступают таким же образом.

Европейский квартал Алжира, красивый издали, вблизи производит впечатление нового города, выросшего в совершенно неподходящем для него климате. У пристани вам бросается в глаза вывеска: «Алжирский скетинг-ринг»; с первых же шагов вас поражает, вас смущает ощущение плохо примененного к этой стране прогресса, грубой, неуклюжей цивилизации, мало вяжущейся с местными нравами, с здешним небом и с людьми. Скорее мы сами кажемся варварами среди этих варваров, правда, грубых, но живущих у себя дома и выработавших вековые обычаи, смысла которых мы, видимо, до сих пор еще не усвоили.

Наполеон III сделал как-то разумное замечание (может быть, подсказанное кем-нибудь из министров): «В Алжире нужны не завоеватели, а просветители». Мы же продолжаем оставаться грубыми, неуклюжими завоевателями и чваниться своими готовыми истинами. Навязанные нами нравы, наши парижские дома, наши обычаи шокируют в этой стране, как грубые промахи, противоречащие требованиям эстетики, благоразумия, здравого смысла. Все, что мы ни делаем, кажется какою-то нелепостью, каким-то вызовом, бросаемым этой стране, и не

столько даже ее коренному населению, сколько самой земле.

Спустя несколько дней по приезде я наблюдал в квартале Мустафа бал под открытым небом. Это был совершенно такой же праздник, как в Нёйи. Те же лавки с пряниками, тиры, лотереи, кукольный театр, упражнения с ножами, ясновидящие, женщины-рыбы, приказчики, танцующие с продавщицами заправские кадрили, словно в Бюлье; между тем как за оградой, в которую пускали только за плату, на широком песчаном поле, служащем для военного учения, сотни арабов, неподвижно лежа в своих белых лохмотьях под лунным сиянием, сосредоточенно прислушивались к рефренам кабацких танцев, отплясываемых французами.

ПРОВИНЦИЯ ОРАН

От Алжира до Орана день езды по железной дороге. Сначала проезжаешь плодородную, тенистую, густонаселенную равнину Митиджи. Это как раз то место, которое показывают новоприбывшему, чтоб убедить его в процветании нашей колонии. Без сомнения, Митиджа и Кабилия — прекрасные места. Но ведь в настоящее время Кабилия более населена, чем департамент Па-де-Кале (из расчета на квадратный километр), а Митиджа скоро ее догонит. Что же еще собираются колонизировать здесь? Но к этому вопросу я еще вернусь позже.

Поезд бежит вперед и вперед; возделанные поля исчезают; земля становится голой и красной, настоящей африканской землей. Горизонт ширится — бесплодный, пылающий горизонт. Мы следуем вдоль громадной долины Шелиффа, сжатой со всех сторон мрачными, серыми, обожженными горами, на склонах которых нет ни единого деревца, ни единой травинки. Местами линия холмов уходит вниз, разрывается как бы для того, чтобы лучше показать ужасную скудость почвы, изъеденной солнцем. Вот перед нами огромная равнина, совершенно плоская, ограниченная вдали еле видимой цепью возвышенностей, теряющихся в дымке. А там, на диких скалах, виднеются время от времени большие белые точки, круглые, словно яйца, снесенные здесь гигантскими птицами. Это часовни марабутов, воздвигнутые во славу аллаха.

На желтой бесконечной равнине попадается иногда купа деревьев, стоят люди, рослые загорелые европейцы, глядя на убегающий поезд, а неподалеку от них видны маленькие, похожие на грибы палатки, откуда выходят бородатые солдаты. Это земледельческий поселок, охраняемый сторожевым отрядом.

Дальше на бесплодной и пыльной равнине можно разглядеть как бы дымок, такой далекий, что он еле виден, легкое облачко, которое тянется ввысь и точно бежит по земле. Это всадник поднимает бе́гом своего коня тонкую, жгучую пыль. И каждое такое облачко на равнине говорит о присутствии человека, едва заметный светлый бурнус которого вы понемногу научаетесь узнавать.

Местами попадаются лагеря туземцев. С трудом различаешь эти дуары на берегу пересохшего ручья, где дети пасут несколько коз, овец или коров (слово «пасут» в данном случае звучит бесконечной насмешкой). Бурые полотняные палатки, окруженные сухим кустарником, сливаются с однообразным цветом почвы На железнодорожной насыпи чернокожий человек — ноги у него голые, жилистые и без икр,— закутанный в белесые лохмотья, степенно разглядывает несущегося мимо него чугунного зверя.

Еще дальше группа кочевников в пути. Караван движется, оставляя за собою облако пыли. Женщины и дети — верхом на ослах или на маленьких лошадках; несколько всадников с необыкновенно благородной осанкой важно едут впереди.

И так повсюду. На остановках поезда иногда видишь европейскую деревню: несколько домов, похожих на дома Нантера или Рюэй, вокруг нескольких опаленных деревьев, и к одному из них прикреплены трехцветные флаги по случаю четырнадцатого июля; у входа на вокзал — важный жандарм, тоже похожий на жандарма из Рюэй или Нантера.

Жара невыносимая. Нельзя дотронуться до металлических предметов даже в вагоне. Вода из фляжек обжигает рот. Воздух, врывающийся в вагон через дверь, пышет, как из печи. В Орлеанвиле на вокзале градусник показывает сорок девять градусов в тени!

К обеду приезжаем в Оран.

Оран — настоящий европейский коммерческий город, скорее испанский, чем французский, и не представляет большого интереса. На улицах можно встретить красивых черноглазых девушек с матовой кожей и сверкающими зубами. Говорят, что при ясной погоде на горизонте видны берега Испании, их родины.

Едва ступишь на эту африканскую землю, как тебя охватывает странное желание ехать все дальше к югу.

Поэтому я взял билет в Сайду и сел в поезд небольшой узкоколейной дороги, которая взбирается на высокие плато. Вокруг этого города рыщет со своими всадниками неуловимый Бу-Амама.

После нескольких часов пути вы достигаете первых склонов Атласа. Поезд подымается в гору, пыхтит, еле движется, извивается по склонам пустынных возвышенностей, проходит мимо огромного озера, образовавшегося путем слияния трех рек; воды его разлились по трем долинам и запружены знаменитой плотиной на реке Хабра. Гигантская стена в пятьсот метров длины сдерживает над бескрайней равниной четырнадцать миллионов кубометров воды.

(Плотина эта рухнула в следующем году, потопив сотни людей, разорив целую страну. Это случилось как раз в момент большой национальной подписки в пользу пострадавших от наводнения венгерцев или испанцев. Но никто не обратил внимания на бедствие французов.)

Потом мы проезжаем узкими ущельями, между двух гор, которые выглядят как после недавнего пожара, до такой степени красна и оголена их поверхность; мы огибаем вершины, мчимся вдоль склонов, делаем объезды в десять километров, чтобы избежать препятствий, а потом несемся на всех парах по равнине, но все еще слегка петляем, как бы по привычке.

Вагоны крохотные. Паровоз, не больше паровичка городской железной дороги, изнемогает, задыхается, стонет, впадает в ярость, плетется так медленно, что его можно догнать пешком, и вдруг опять мчится с бешеной прытью.

Вся страна сплошь пустынна и безотрадна. Царь Африки, Солнце, великий и лютый хищник, пожрал всю живую плоть с этих долин, оставив лишь камни и красную пыль, где ничто не может зародиться.

Сайда! Это маленький городок французского типа, в котором как будто живут одни генералы. Их там по меньшей мере человек десять или двенадцать, и они как будто постоянно держат военный совет. Так и хочется крикнуть:

— Генерал! А где сегодня Бу-Амама?

Гражданское население не питает никакого уважения к мундиру.

Местная гостиница оставляет желать лучшего. Комната выбелена известкой. Я ложусь спать на соломенный тюфяк. Жара невыносимая. Закрываю глаза, собираясь заснуть. Увы!

Мое окно открыто и выходит на маленький дворик. Слышен лай собак. Они далеко, очень далеко и лают по очереди, словно перекликаясь.

Но скоро они приближаются, подступают; вот они уже здесь, около домов, в виноградниках, на улицах. Они уже здесь, и их сотен пять, а то и вся тысяча, этих голодных, свирепых псов, охранявших на высоких плато лагери испанцев. Когда хозяева их были перебиты или уехали, собаки стали бродяжить, подыхая от голода; затем они набрели на город и обложили его, как вражеская армия. Днем они спят в оврагах, под скалами, в горных лощинах, но чуть только наступает ночь, они являются в Сайду в поисках пропитания.

Человек, возвращаясь поздно домой, идет с револьвером в руке, а его провожают по пятам и обнюхивают два — три десятка желтых собак, похожих на лисиц.

Сейчас они лают беспрерывно, страшно; можно сойти с ума от этого лая. Потом возникает другой звук — пронзительный визг: это явились шакалы; иногда же слышен только один голос, более сильный и не похожий на прочие: голос гиены, подражающей лаю собаки, чтобы приманить ее и растерзать.

Этот ужасный гам длится до самого утра.

До французской оккупации Сайда охранялась маленькой крепостью, сооруженной Абд-эль-Кадиром.

Новый город лежит в небольшой долине и окружен голыми горами. Узенькая речка, через которую почти можно перепрыгнуть, орошает окрестные поля, где произрастает прекрасный виноград.

К югу горы образуют как бы стену; это последние ступени, ведущие на высокие плато.

По левую руку поднимается ярко-красная скала метров в пятьдесят высоты с развалинами нескольких каменных зданий на самой вершине. Это все, что осталось от Сайды Абд-эль-Кадира. Издали кажется, что эта скала прилепилась к горному отрогу, но когда вы взберетесь на нее, вас охватывает удивление и восторг. Глубокий ров, вырытый между отвесными стенами, отделяет старое укрепление эмира от ближайшего склона. Этот склон из пурпурного камня изрыт кое-где лощинами, куда устремляются зимние дожди. В глубине рва среди олеандровой рощи течет река. Если смотреть сверху, то перед нами как будто восточный ковер, разостланный по коридору. Покров из цветов кажется сплошным; лишь кое-где вкраплены пятна зеленой листвы.

В это ущелье спускаются по тропинке, годной разве что для коз.

Речка — по местным представлениям, река (уэд Сайда), по-нашему, ручей — извивается по камням под большими цветущими кустами, падает со скал, пенится, струится и журчит. Вода теплая, почти горячая. Громадные крабы с необыкновенной быстротой бегают по берегу, подымая клешни при моем приближении. Большие зеленые ящерицы исчезают в листве. Подчас скользнет между камнями змея.

Ущелье суживается, как будто оно вот-вот сомкнется. Я вздрагиваю от сильного шума над головой. Это улетает из своего убежища вспугнутый орел; он взмывает вверх, к синему небу, и поднимается медленными, мощными ударами крыльев, таких широких, что, кажется, они задевают за стены ущелья.

Спустя час выходишь на дорогу, которая ведет в Айн-эль-Хаджар, поднимаясь по пыльному склону.

Какая-то женщина, старуха, в черной юбке и белом чепце плетется, согнувшись, впереди меня с корзинкой через левую руку, держа в другой руке вместо зонтика от солнца огромный красный дождевой зонт. Как, здесь женщина! Крестьянка в этой угрюмой стране, где можно встретить разве только высокую, статную негритянку с лоснящейся кожей, выряженную в желтые, красные или синие ткани и оставляющую за собой запах человеческого тела, способный вызвать тошноту у самых выносливых людей!

Старуха садится в пыли, изнемогая, задыхаясь от тропического зноя. Ее лицо покрыто бесчисленными мелкими морщинами, как измятый в руках лоскут; вид у нее усталый, подавленный, полный отчаяния.

Я заговорил с ней. Это была эльзаска, которую после войны переселили с четырьмя сыновьями в эти безотрадные края. Она спросила:

— Вы приехали оттуда?

При этом «оттуда» у меня сжалось сердце.

— Да.

И она заплакала. Потом рассказала мне свою незамысловатую историю.

Им обещали землю. Они приехали — она и дети. Троих сыновей погубил этот убийственный климат. Остался один, и тоже больной. Их поля, хотя и большие, ничего не приносят, оттого что нет ни капли воды. И старуха твердила: «Сущая зола, сударь, пережженная зола; ни кочна капусты не вырастишь, ни кочна, ни кочна»,— заладив про капусту, видно, воплощавшую для нее все земное счастье.

Я никогда не видел ничего более жалкого, чем эта простая женщина из Эльзаса, попавшая на здешнюю раскаленную почву, где не вырастить ни одного кочна. Как часто, должно быть, бедная старуха вспоминала об утраченной родине, о зеленой стране своей молодости!

Прощаясь со мной, она спросила:

— Не знаете, не будут ли давать землю в Тунисе? Говорят, там хорошо. Все будет лучше, чем здесь. И, может быть, там я выходила бы своего мальчика.

Все наши поселенцы по ту сторону Телля могли бы сказать приблизительно то же самое.

Меня тянуло ехать все дальше и дальше. Но так как вся страна была охвачена войной, я не отважился ехать один. Помог случай: отправлялся поезд с провиантом для войск, стоящих в районе шоттов.

В этот день дул сирокко. С утра поднялся южный ветер, иссушая землю своим тяжелым, изнуряющим, губительным дыханием. В семь часов маленький поезд отправился в путь, увозя два отряда пехоты под командованием офицеров, три вагона-цистерны с водой и инженеров Франко-Алжирской компании: ведь уже три недели, как ни один поезд не доходил до конца железнодорожной линии, и она, возможно, была разрушена арабами.

Паровоз «Гиена» с шумом трогается в путь, устремляясь к горе направо, как будто желает врезаться в нее. Затем внезапно он сворачивает в узкое ущелье, делает петлю и снова показывается в пятидесяти метрах выше того места, где только что был. Опять сворачивает, описывает дуги, одну над другой, и, поднимаясь зигзагами, как бы разматывает длинную ленту, которая достигает вершины горы.

Вот большие здания, фабричные трубы, нечто вроде покинутого города. Это великолепные заводы Франко-Алжирской компании. Здесь до избиения испанцев обрабатывали альфу. Это место называется Айн-эль-Хаджар.

Мы все еще поднимаемся. Локомотив пыхтит, хрипит, замедляет ход, останавливается. Три раза пытается он двинуться в путь и три раза не может тронуться с места. Он дает задний ход для разбега, но не в силах одолеть слишком крутой подъем.

Офицеры приказывают солдатам вылезти, и те, рассыпавшись вдоль поезда, принимаются толкать его. Мы снова едем, но медленно, со скоростью пешехода. Раздаются смех и шутки; пехотинцы подтрунивают над машиной. Но вот наконец мы на высоком плато.

Машинист, высунувшись всем корпусом наружу, беспрестанно смотрит на путь, который может быть перерезан неприятелем, а мы напряженно вглядываемся в горизонт, настораживаясь всякий раз, как вдалеке полоска пыли указывает на присутствие всадника, пока

еще не видимого. Мы вооружены ружьями и револьверами.

Иногда мимо нас пробежит шакал или взлетит громадный ястреб, покидая скелет верблюда, почти начисто обглоданный. Карфагенские куры, очень похожие на куропаток, спасаются в рощицы карликовых пальм.

На маленькой станции Тафрауа стоят две пехотных роты. Здесь было перебито много испанцев.

В Кральфаллах наскоро укрепляется рота зуавов, сооружая себе прикрытия из рельсов, балок, телеграфных столбов, тюков альфы — изо всего, что попадается под руку. Мы завтракаем. Три офицера, все трое молодые и веселые,— капитан, лейтенант и младший лейтенант — угощают нас кофе.

Поезд снова трогается. Он бежит, не останавливаясь, по безграничной равнине, похожей благодаря зарослям альфы на спокойное море. Посылая нам в лицо раскаленный воздух пустыни, сирокко становится невыносимым. Иногда на горизонте обрисовываются какие-то неясные очертания. То они кажутся озером, то островом, то скалами в воде. Это мираж. На скате холма обожженные камни и человеческие кости — останки какого-нибудь испанца. А дальше опять павшие верблюды, ободранные ястребами.

Проезжаем через лес. Ну и лес! Океан песка, где редкие кусты можжевельника напоминают пучки салата на гигантском огороде! Но, начиная отсюда, уже никакой зелени, кроме альфы, особого рода зеленовато-голубого камыша, который растет круглыми кустами и покрывает всю землю, насколько можно охватить взглядом.

По временам вдали как будто появляется всадник. Но он исчезает; быть может, он нам только померещился.

Приезжаем в Уэд-Фаллет, лежащий среди унылой и голой пустыни. Я иду пройтись с двумя спутниками дальше к югу. В удушающем зное мы взбираемся на высокий холм. Сирокко пышет огнем, высушивает пот на лице, едва только он выступит, обжигает губы, глаза, горло. Под каждым камнем можно увидеть скорпиона.

Вокруг стоящего поезда, который издали выглядит большим черным зверем, растянувшимся на сухой земле, солдаты нагружают повозки, присланные из соседних лагерей.

Потом они уходят, в пыли, медленно, усталым шагом, под палящим солнцем. Долго-долго видно, как они идут туда, налево, а потом уж не различаешь больше ничего, кроме поднимаемых ими серых облаков пыли.

Нас осталось теперь всего шестеро около поезда. Ни к чему не прикоснешься, все пылает. Медные части в вагонах кажутся раскаленными докрасна. Невольно вскрикнешь, если коснешься рукой стали оружия.

Несколько дней тому назад племя резайна, примкнув к мятежникам, прошло через шотт, до которого мы не добрались, потому что пора было возвращаться. Во время перехода через это пересохшее болото жара была такая, что бегущее племя потеряло всех своих ослов, павших от жажды, и даже шестнадцать человек детей, умерших на руках у матерей.

Локомотив свистит. Мы покидаем Уэд-Фаллет. Замечательный случай из военной жизни сделал это место известным по всей стране.

Здесь стояла колонна солдат под прикрытием 15-го линейного полка. Однажды ночью два туземца-разведчика появляются у передового поста, проехав десять часов в седле, чтобы передать спешное распоряжение от командующего из Сайды. Как полагается, они машут факелом, чтоб их признали. Часовой — рекрут из Франции,— не зная обычаев и правил службы, принятых во время южной кампании, и не предупрежденный своими офицерами, стреляет в курьеров. Бедняги все же продолжают подвигаться вперед; солдаты на посту берутся за оружие, занимают позиции, и начинается отчаянная стрельба. Выстояв под выстрелами — их было сделано не менее полутораста,— оба араба наконец удаляются, и один из них с пулей в плече. На следующий день они возвратились в ставку, привезя обратно свои депеши.

БУ-АМАМА

Мудрено сказать, даже в настоящее время, кто такой был Бу-Амама. Этот неуловимый шутник, сбивший с толку нашу африканскую армию, исчез так бесследно, что начинаешь сомневаться, уж впрямь ли он существовал.

Заслуживающие доверия офицеры, которые, по их словам, встречались с ним, описывали мне его по одному, но другие, не менее положительные лица, уверенные в том, что видели Бу-Амаму, изображают его совсем по-иному.

Во всяком случае, этот разбойник был только предводителем немногочисленной шайки, которую, по-видимому, побудила к восстанию нужда. Эти люди дрались лишь для того, чтобы опустошать хлебные склады или грабить поезда. Они действовали, очевидно, не из чувства ненависти или религиозного фанатизма, но под влиянием голода. При нашей системе колонизации, которая состоит в том, чтобы разорять арабов, неустанно обирать их, безжалостно преследовать и доводить до крайней степени нищеты, нам придется увидеть еще не одно восстание.

Другим поводом для этой войны, возможно, было появление на высоких плато испанцев, торговцев альфой.

В этом океане альфы, на этом безотрадном, зеленоватом, безжизненном пространстве под палящим небом, жил целый народ, орды смуглых людей, авантюристов, покинувших родную страну из-за нужды или по какой-

нибудь иной причине. Более дикие, чем арабы, и куда более опасные, отрезанные от мира, живущие вдали от города, от всякого закона, от всякой власти, они вели себя, как их предки на новооткрытых землях: они были грубы, кровожадны, неистово жестоки по отношению к туземцам.

Месть арабов была ужасна.

Вот в нескольких словах внешний повод к восстанию.

Два марабута открыто проповедовали мятеж среди одного южного племени. Лейтенант Вейнбреннер был послан с поручением арестовать каида этого племени. Французскому офицеру дано было в качестве охраны *четыре* человека. Его убили.

Полковнику Инноченти было поручено отомстить за эту смерть, и на помощь ему послали саидского агу.

Но вот гум саидского аги встретился по дороге с отрядом племени трафи, тоже направлявшимся в распоряжение полковника Инноченти. Между двумя племенами возникла ссора; трафи отложились и перешли на сторону Бу-Амамы. Тут-то и произошло дело при Шеллале, о котором говорилось уже сотни раз. После того как обоз полковника Инноченти был разграблен, полковник, к которому общественное мнение отнеслось, кажется, чрезвычайно снисходительно, отправился форсированным маршем по направлению к Крейдеру, чтоб пополнить свою колонну; этим он совершенно открыл дорогу врагу, чем последний и воспользовался.

Отметим любопытный факт. В один и тот же день и в один и тот же час официальные депеши извещали о пребывании Бу-Амамы в двух местах, отстоящих друг от друга на полтораста километров.

Пользуясь предоставленной ему полной свободой, этот предводитель проследовал в двенадцати километрах от Жериviля, убив по дороге бригадира Бренжара, посланного в сопровождении всего нескольких человек наладить телеграфную связь в охваченной восстанием местности; затем он вернулся на север.

После этого он прошел через территорию племен хасассен и харрар и, по всей вероятности, отдал им приказ о поголовном истреблении испанцев, что и было в скором времени приведено ими в исполнение.

Наконец он прибыл в Айн-Кетифу и два дня спустя расположился лагерем у Хаси-Тирсина, всего лишь в двадцати двух километрах от Сайды.

Военные власти, почувствовав наконец беспокойство, предупредили вечером десятого июня Франко-Алжирскую компанию о необходимости ввиду волнения в стране отозвать всех своих агентов. Всю ночь напролет циркулировали поезда до конечной станции железнодорожного пути, но в течение нескольких часов невозможно было вывезти все конторы, рассеянные на площади в полтораста квадратных километров. И на рассвете одиннадцатого началась резня.

Ее производили главным образом два племени — хасассены и харрары,— полные смертельной ненависти к испанцам, живущим на их земле.

И все же из боязни восстания эти племена оставили в покое, хотя они вырезали около трехсот человек мужчин, женщин и детей. Арабские всадники, задержанные с награбленным добром, с платьем испанок, спрятанным под седлами, были, говорят, отпущены на свободу якобы за недостатком улик.

Итак, десятого вечером Бу-Амама стоял лагерем в Хаси-Тирсине, в двадцати двух километрах от Сайды. А в это самое время генерал Серез телеграфировал губернатору, что мятежный предводитель пытается пройти на юг.

В последующие дни смелый марабут разграбил селения Тафрауа и Кральфаллах и нагрузил всех своих верблюдов добычей, захватив на несколько миллионов товаров и продовольствия.

Он снова вернулся в Хаси-Тирсин, чтоб пополнить свои силы; затем разделил своих людей на два отряда, один из которых отправился в Айн-Кетифу. Здесь он был задержан и разбит гумом шарраун (колонна Брюнетьера).

Другой отряд, под командованием самого Бу-Амамы, оказался запертым между колонной генерала Детри, стоящей у Эль-Майя, и колонной полковника Маларе, расположившейся близ Крейдера, в Ксар-эль-Крелифе. Ему надлежало пройти между ними, что было нелегко. Тогда Бу-Амама послал своих всадников к лагерю генерала Детри, который бросился со всей колон-

ной преследовать их до Айн-Сфисифы, далеко за шотт, будучи убежден, что настигает самого марабута. Хитрость удалась. Путь был свободен. На другой день после отъезда генерала мятежный предводитель занял его лагерь. Это было четырнадцатого июня.

Со своей стороны полковник Маларе, вместо того чтобы охранять Крейдерский проход, стал лагерем у Ксар-эль-Крелифы, в четырех километрах в сторону от него. Бу-Амама тотчас же послал сильный отряд всадников с тем, чтобы он проскакал мимо лагеря полковника, который дал по ним лишь шесть пушечных залпов. А в это время караван нагруженных верблюдов преспокойно проследовал через шотт вблизи Крейдера, в единственном месте, где проход не был затруднен. Оттуда марабут должен был переправить свои запасы на хранение к моггарам, своему племени, в четырехстах километрах к югу от Жеривиля.

Откуда, спросят у меня, такие точные сведения? Да отовсюду. Они, конечно, будут оспариваться некоторыми лицами по одному поводу, другими — по другому. Я ничего не могу утверждать, так как только собрал объяснения, показавшиеся мне наиболее правдоподобными. В такой стране, как Алжир, вообще невозможно добиться точной справки о том, что происходит или происходило на расстоянии трех километров от того места, где вы находитесь. Что касается военных известий, то в течение всей этой кампании они словно доставлялись нам каким-нибудь злым шутником. В один и тот же день Бу-Амама бывал обнаружен в шести различных местах шестью корпусными командирами, которые были убеждены, что он у них в руках. Если бы к полной коллекции официальных депеш добавить кое-какие сообщения телеграфных агентств, получился бы презабавный сборник. Некоторые депеши, невероятность которых была слишком очевидна, были, впрочем, задержаны алжирской администрацией.

Остроумная карикатура, нарисованная одним колонистом, довольно хорошо, как мне показалось, объясняет положение. На ней изображен старый генерал, толстый, усатый, в расшитом мундире, стоящий лицом к пустыне. Он обозревает недоумевающим взором гро-

мадную, голую, холмистую равнину, границы которой теряются вдали, и бормочет: «Они здесь!.. Где-нибудь здесь!» Потом, обращаясь к адъютанту, неподвижно стоящему за его спиной, возглашает решительно:

— Телеграфируйте правительству, что враг передо мной и я отправляюсь его преследовать.

Единственные сколько-нибудь достоверные сведения, которые можно было получить, исходили от испанских пленных, бежавших от Бу-Амамы. Я имел возможность говорить через переводчика с одним из этих людей, и вот что он мне рассказал.

Его звали Блас Рохо Пелисайре. Десятого июня вечером, когда он с товарищами сопровождал обоз из семи повозок, они обнаружили по дороге какие-то изломанные телеги, а между колесами — зарезанных возчиков. Один из них еще был жив. В то время как они оказывали ему помощь, на них напал отряд арабов. У испанцев было только одно ружье; они сдались, но тем не менее были все перерезаны, за исключением Блас Рохо, которого, видимо, помиловали за молодость и приятную внешность. Как известно, арабы очень неравнодушны к мужской красоте. Его отправили в лагерь, где он нашел других пленных. В полночь одного из них убили без всякой причины. Это был «машинист» (один из возчиков, которому было поручено наблюдение за тормозами повозок) по имени Доминго.

На следующий день, одиннадцатого, Блас узнал, что ночью было убито еще несколько пленных. Это был день большой резни. Лагерь оставался на том же месте; вечером арабы привели двух женщин и ребенка.

Двенадцатого все снялись с лагеря и шли весь день. Вечером тринадцатого остановились в Дайят-Кереб.

Четырнадцатого продолжали путь по направлению к Ксар-эль-Крелифе. Это был день сражения с полковником Маларе. Пленный не слышал пушечных выстрелов. Последнее заставляет предполагать, что Бу-Амама послал только часть своих всадников проскакать мимо французского экспедиционного корпуса, между тем как обоз с добычей, при котором находился Блас, проходил через шотт на расстоянии нескольких километров, в полной безопасности.

В течение недели шли зигзагами. Придя в Тис-Мулен, не ладившие друг с другом гумы разделились, и каждый взял с собой своих пленных.

Бу-Амама оказался милостивым к пленным, особенно к женщинам, которые, по его приказанию, ночевали в отдельной палатке и охранялись стражей.

Одна из пленниц, красивая восемнадцатилетняя девушка, стала во время пути наложницей одного из вождей племени трафи, который угрожал ей смертью в случае сопротивления. Но марабут отказался благословить их союз.

Блас Рохо был приставлен к Бу-Амаме, но он так его и не увидел. Он видел только сына марабута, руководившего военными операциями; на вид ему было лет около тридцати. Это был высокий молодой человек, бледный, худощавый брюнет с большими глазами, носивший маленькую бородку.

У него было два рыжих коня, из которых один, французской породы, принадлежал ранее, как говорят, майору Жаке.

Пленный ничего не знал о деле под Крейдером.

Неподалеку от Ба-Яла Блас Рохо бежал, но, не зная местности, он был принужден идти берегом пересохших рек и после трех дней и трех ночей пути пришел в Мархум. Бу-Амама имел с собой пятьсот всадников и триста пехотинцев да еще караван верблюдов для перевозки добычи.

В течение двух недель после избиения европейцев поезда день и ночь сновали взад и вперед по маленькой железнодорожной линии шоттов, то и дело подбирая несчастных, изувеченных испанцев и высоких красивых девушек, обнаженных, изнасилованных и окровавленных. По единодушному признанию населения, военные власти могли бы предотвратить эту бойню, если бы были хоть немного предусмотрительнее. Но они так и не справились с кучкой повстанцев. В чем же причины этого бессилия нашего усовершенствованного оружия против арабских самострелов и мушкетов? Пусть это расследуют и объяснят другие.

Во всяком случае, арабы имеют перед нами одно преимущество, против которого мы напрасно стараемся бороться. Они дети своей страны. Обходясь несколь-

кими финиками и щепоткой муки, не зная усталости в этом климате, который изнуряет северян, всегда верхом на лошади, неприхотливой, как они сами, и, подобно им, не чувствительной к зною, они делают за день сто — сто тридцать километров. У них нет необходимости тащить за собой снаряжение, обоз или провиант, и они передвигаются с необыкновенной быстротой, проходят между двух расположившихся лагерем отрядов, чтобы захватить и ограбить деревушку, считающую себя в полной безопасности, после чего бесследно исчезают, а затем внезапно возвращаются, когда, по общему мнению, они должны быть далеко.

В европейской войне, как быстро ни передвигалась бы армия, она все же не может пройти незамеченной. Обилие снаряжения роковым образом замедляет ее переходы и всегда обнаруживает выбранную дорогу. Арабский отряд, наоборот, оставляет за собой не больше следов, чем птичья стая. Эти странствующие всадники носятся вокруг нас так же быстро и с такими же неожиданными поворотами, как ласточки.

Когда арабы сами бросаются в атаку, их можно победить, и они почти всегда бывают разбиты, несмотря на свою отвагу, но преследовать всадников невозможно: никогда не удается догнать их во время бегства. Потому-то они тщательно избегают встречи в бою и довольствуются обыкновенно короткими нападениями, изматывающими наши войска. Они стремительно, бешено налетают на своих поджарых конях, как ураган белых плащей и пыли.

Несясь во весь опор, они стреляют из своих длинных ружей с серебряными насечками, а потом резко повернув, удаляются во весь дух так же, как и появились, только на земле остается лежать там и сям конвульсивно вздрагивающий белый комок, упавший, точно раненая птица с окровавленными перьями.

ПРОВИНЦИЯ АЛЖИР

Французы, постоянно живущие в Алжире, знают из всей этой страны только равнину Митиджи. Они безмятежно живут в одном из самых очаровательных городов мира, заявляя, что арабы — народ, не поддающийся никакому управлению и годный лишь на то, чтобы его истреблять или изгонять в пустыню.

Из арабов они, впрочем, видели только оборванцев с юга, которыми кишат улицы Алжира. В кафе говорят о Лагуате, о Бу-Сааде, о Сайде как о местностях, находящихся на краю света. Редко встретишь даже офицера, который знал бы эти три провинции. Он ведь обычно не выезжает из своего округа до самого возвращения во Францию.

Следует, впрочем, прибавить, что если вы отклоняетесь от крупных проезжих дорог, путешествовать на юге становится очень опасно. Такое путешествие возможно только с помощью и при содействии военных властей. Начальники пограничных округов считают себя прямотаки самодержавными монархами, и всякое новое лицо, отважившееся проникнуть на их землю, рискует сильно потерпеть... от арабов. Всякий одинокий путешественник будет немедленно задержан каидами, отправлен под конвоем к ближайшему офицеру и отведен в сопровождении двух спаги на гражданскую территорию.

Но если представить хоть какую-нибудь рекомендацию, вы встретите со стороны офицеров из бюро по

арабским делам самый любезный прием, какой только можно себе представить. Офицеры живут уединенно, далеко от европейцев и принимают путешественника радушнейшим образом; живя уединенно, они много читали, они образованны, интеллигентны, и побеседовать для них наслаждение; живя уединенно в этой обширной безотрадной стране с ее безграничными просторами, они привыкли мыслить, как мыслят одинокие труженики. Я уехал из Франции предубежденным, как и все французы, против этих бюро, а вернулся, совершенно переменив мнение.

Именно благодаря содействию некоторых из этих офицеров я и мог совершить большую экскурсию вне проторенных путей, переходя от одного племени к другому.

Рамадан только что начался. В колонии настроение было неспокойное, так как боялись общего восстания по окончании этого магометанского поста.

Рамадан длится тридцать дней. В течение этого времени ни один слуга Магомета не должен ни пить, ни есть, ни курить с того утреннего часа, когда солнце восходит, до того часа, когда глаз уже не отличит *белой нитки от красной.* Это суровое предписание не всегда выполняется буквально: вспыхивает не одна сигарета, едва лишь огненное светило скроется за горизонтом и прежде чем глаз перестанет различать красный или белый цвет нитки.

За исключением этой поспешности ни один араб не преступает строгого закона поста, закона полного воздержания. Мужчины, женщины, мальчики с пятнадцати лет, девочки, достигшие брачного возраста, то есть между одиннадцатью и тринадцатью годами, круглый день остаются без пищи и питья. Голодать еще не так трудно, но воздерживаться от питья в такую мучительную жару ужасно. Никаких поблажек во время поста не полагается. Никто, впрочем, не посмеет и просить об этом; даже публичные женщины, улад-найль, которыми кишат арабские центры и большие оазисы, постятся, как марабуты, может быть, даже строже, чем они. А те арабы, которые считаются цивилизованными и в обычное время готовы, казалось бы, следовать нашим обычаям, разделять наши взгляды, помогать нашему делу, с

наступлением Рамадана опять становятся дико фанатичными и набожными до одури.

Легко себе представить, до какой степени доходит экзальтация этих ограниченных и упрямых людей при соблюдении такого сурового религиозного обряда. Весь день эти несчастные, у которых от голода подводит живот, предаются размышлениям, глядя, как победители руми у них на глазах едят, пьют и курят. И арабы твердят про себя, что если убить одного из этих руми во время Рамадана, то попадешь прямо на небо и что срок нашего владычества приходит к концу: ведь марабуты непрестанно им обещают, что мы все будем сброшены в море ударами их дубин.

Именно во время Рамадана развивают свою деятельность айсауа — глотатели скорпионов, пожиратели змей и религиозные фокусники; они одни, да еще, быть может, некоторые иноверцы и кое-кто из представителей благородных семейств не проявляют религиозного фанатизма.

Эти исключения необыкновенно редки, я мог бы привести только одно.

Некий офицер из округа Богар, отправляясь в двадцатидневный поход на юг, просил трех сопровождавших его спаги не соблюдать Рамадана, так как он понимал, что ничего нельзя требовать от людей, измученных постом. Два солдата отказались, третий ответил:

— Господин *лейтенант*, я не соблюдаю Рамадана; я ведь не марабут, я благородного происхождения.

Он действительно происходил из *большого шатра*, был потомком одного из самых древних и самых знатных родов в пустыне.

До сего времени существует странный обычай, который возник со времени оккупации и представляется совершенно нелепым, если подумать о чудовищных последствиях, какие может иметь для нас Рамадан. Так как вначале надо было расположить к себе побежденных, а уважение к мусульманской религии — лучший способ их задобрить, было решено, что во время священных дней поста французская пушка будет ежедневно оповещать о начале и о конце воздержания. Итак, по утрам, при первом румянце зари, пушечный выстрел

возвещает о начале поста, и каждый вечер, минут через двадцать после заката солнца, во всех городах, во всех фортах и во всех военных селениях раздается другой пушечный выстрел, по сигналу которого зажигаются тысячи сигарет, осушаются тысячи глиняных кувшинов и по всему Алжиру приготовляется неисчислимое количество блюд кус-куса.

Мне привелось присутствовать в большой мечети столицы Алжира на религиозной церемонии, которой начинается Рамадан.

Здание это совсем простое, с выбеленными известью стенами, с толстым ковром на полу. Арабы входят поспешно, босиком, держа в руках обувь. Они становятся длинными правильными рядами, ровными, как ряды солдат на учении, и разделенными большими промежутками, кладут на пол башмаки и все взятые с собой мелкие вещи, а затем замирают неподвижно, как статуи, обратясь лицом к маленькой часовне, указывающей направление в сторону Мекки.

В этой часовне богослужение совершается муфтием. Голос его, старческий, слабый, блеющий и очень монотонный, тянет нечто вроде печальной песни, которую, раз услыхав, никогда уже не забудешь. Интонация часто меняется, и тогда все присутствующие одним ритмическим движением безмолвно и поспешно падают ниц, касаясь лбом земли, несколько секунд лежат распростертыми, а затем подымаются без всякого шума, ни на секунду не заглушая дрожащего, тихого напева муфтия. И таким образом все присутствующие беспрестанно склоняются и выпрямляются фантастически быстро, бесшумно и равномерно. Здесь вы не услышите ни стука отодвигаемых стульев, ни кашля, ни перешептывания, как в католической церкви. Чувствуется, что первобытная вера витает вокруг, преисполняя этих людей, сгибая их и выпрямляя, как картонных плясунов, та молчаливая и властная вера, которая порабощает тело, заставляет каменеть лица и сжиматься сердца. Невыразимое чувство уважения, смешанное с жалостью, охватывает вас при виде этих исхудалых фанатиков: живот уж никак не помешает им класть земной поклон, и они исполняют религиозные обряды с механичной отчетливостью прусских солдат на маневрах.

Стены белые, ковры на полу красные; человеческие фигуры белые, синие или красные, а иногда и других цветов, в зависимости от причудливого праздничного одеяния, но все люди закутаны в широкие плащи и сохраняют гордую осанку; на их голову и плечи льется мягкое сияние светильников.

Группа марабутов расположилась на возвышении, все они отвечают муфтию на таких же высоких нотах. И это продолжается без конца.

Касбу надо осматривать вечером, во время Рамадана. Словом «касба», означающим «крепость», в конце концов стали называть весь арабский город. Так как в течение дня постятся и спят, то питаются и живут ночью. Тогда эти узкие улочки, крутые, как горные тропинки, тесные и извилистые, точно прорытые зверями ходы, которые беспрестанно петляют, пересекаются, сливаются, столь таинственные, что там невольно говоришь вполголоса, наполняются толпой из *Тысячи и одной ночи*. Такое именно впечатление выносишь оттуда. Совершаешь прогулку по стране, о которой рассказывала султанша Шахразада. Вот низкие двери, толстые, как стены тюрьмы, и с восхитительным искусством окованные железом; вот женщины в покрывалах; вот промелькнувшие на мгновение лица в глубине приоткрытых двориков, а вот и все неясные звуки, доносящиеся из недр этих домов, запертых, как сундуки с потайным замком. На пороге нередко лежат мужчины, едят и пьют. Подчас эти группы распростертых тел загораживают весь узкий проход. Шагаешь через голые икры, задеваешь чьи-то руки, ищешь местечко, куда ступить среди груды белых тканей, из которой торчат головы, руки и ноги.

Евреи не запирают своих берлог, служащих им лавками. Тайные дома разврата, полные шума, так многочисленны, что через каждые пять минут ходьбы встречаешь их два или три.

В арабских кафе вереницы мужчин, теснясь друг к другу, расположились, поджав ноги, на скамье у самой стены или просто на полу и пьют кофе из микроскопических чашечек. Неподвижные и молчаливые, они держат в руке чашку, иногда поднося ее к губам медлительным жестом, и сидят до того скученно, что двадцать

человек умещается там, где у нас было бы тесно и десятерым.

А фанатики со спокойным видом расхаживают среди этих мирных потребителей кофе, проповедуя восстание и возвещая конец порабощению.

Говорят, что предвестники крупных восстаний появляются всегда в ксаре (арабская деревня) Бухрари.

Если смотреть на Атласские горы с огромной равнины Митиджи, то видишь гигантскую расселину, которая раскалывает хребет в южном направлении: он как будто разрублен ударом топора. Эта трещина называется ущельем Шиффа. Здесь-то и проходит дорога в Медеа, Бухрари и Лагуат.

Входишь в расселину горы, следуешь вдоль мелководной речки Шиффа, углубляешься в узкое ущелье, дикое и лесистое.

Повсюду источники. Деревья карабкаются по крутым склонам, цепляясь за что попало, точно идут на приступ.

Проход становится все теснее. Всюду на вас угрожающе смотрят отвесные скалы; между их вершинами голубой лентой тянется небо; затем вдруг за крутым поворотом показывается маленький постоялый дворик над обрывом, заросшим деревьями. Это постоялый двор *Обезьяньего ручья.*

У входа поет в водоеме вода; она струится, падает, наполняет свежестью этот уголок, напоминая о мирных швейцарских долинах. Здесь вы отдыхаете, в тени вас одолевает дремота; но вот над вашей головой зашевелилась ветка, вы вскакиваете — и в самой гуще деревьев начинается стремительное бегство обезьян, прыжки, скачки, кувырканье и крики.

Среди обезьян есть громадные, есть и совсем маленькие; их здесь сотни, может быть, тысячи. Лес ими населен, переполнен, кишит, как муравейник. Некоторые из них, пойманные хозяевами харчевни, ласковы и спокойны. Одна совсем молоденькая, изловленная на прошлой неделе, еще немного дичится.

Если вы сидите неподвижно, они подходят, следят, наблюдают за вами. Можно сказать, что путешественник является большим развлечением для обезьян — оби-

тателей этой долины. Бывают, однако, дни, когда их совсем не видно.

За постоялым двором *Обезьяньего ручья* долина становится еще теснее; и вдруг слева — два больших водопада. Они несутся вниз почти с самой вершины горы, два светлых водопада, две серебряные ленты. Если бы вы знали, как радостно видеть водопад на этой африканской земле! Долго-долго подымаешься в гору. Ущелье становится менее глубоким, менее лесистым. Взбираешься выше; гора постепенно оголяется. Теперь кругом луга; когда же достигаешь вершины, видишь дубы, ивы, вязы, деревья нашей родины. Ночуешь в Медеа, в маленьком белом городке, в точности похожем на провинциальный городок Франции.

После Медеа на нас опять обрушивается неумолимая ярость солнца. Впрочем, мы пересекаем лес, но что за лес — тощий, редкий, где повсюду обнажается опаленная поверхность земли, которая вскоре будет совсем сожжена. А дальше вокруг нас уже нет никакой жизни.

По левую руку открывается долина, бесплодная и красная, без единой травинки. Она уходит вдаль и похожа на таз, полный песка. Вдруг ее медленно пересекает от одного края до другого большая тень, скользя беглым пятном по голой почве. Она, эта тень, единственная настоящая обитательница здешних унылых и мертвых мест. Она точно царствует здесь подобно таинственному и мрачному духу.

Я поднимаю глаза и вижу, как улетает, широко раскрыв крылья, великий пожиратель падали, тощий ястреб, который парит над своими владениями, под другим властителем и убийцей обширной страны — под солнцем, этим жестоким солнцем.

Когда спускаешься к Бухрари, перед тобой, насколько видит глаз, открывается бесконечная долина Шелиффа. Это сама нищета, желтая нищета земли во всем своем безобразии. Долина эта, которую пересекает грязное русло безводной реки, выпитой до дна небесным огнем, кажется ободранной, как старый нищий араб. Огонь, заменяющий здесь самый воздух, наполняющий ее до краев, на этот раз все победил, все пожрал, все испепелил, все уничтожил.

Что-то касается вашего лба; в другом месте это был бы ветер, здесь же это огонь. Что-то колышется там на каменистых кряжах; в другой стране это был бы туман, здесь же это огонь или, вернее, видимый глазом зной. Не будь земля выжжена до основания, эта странная дымка напоминала бы пар, поднимающийся от живого тела, прижигаемого раскаленным докрасна железом. И все здесь странного цвета, ослепляющего и вместе с тем бархатистого, цвета горячего песка, к которому примешивается как бы лиловатый оттенок, бросаемый расплавленным небом.

Насекомые не водятся на этой пыльной земле, разве кой-где крупные муравьи. Тысячи маленьких существ, которых видишь у нас, не могут существовать в этом пекле. В некоторые особенно знойные дни мухи мрут, как при наступлении холодов на севере. Только с большим трудом можно разводить здесь кур. Бедняжки бродят с раскрытым клювом и растопыренными крыльями; вид у них жалкий и смешной.

Уже три года, как иссякают последние источники. И всемогущее солнце точно торжествует великую победу.

Но вот несколько деревьев, несколько чахлых деревьев. Там, направо, на вершине запыленного холма,— Богар.

Налево, в скалистой впадине, вырисовывается на фоне неба большая деревня, венчающая холм и едва отличаемая от почвы, настолько она приняла ее однообразную окраску. Это ксар Бухрари.

У подножия пыльного холма, на котором расположилось это обширное арабское селение, приютилось несколько домов; они образуют смешанную общину.

Ксар Бухрари — одно из самых замечательных арабских селений Алжира. Оно расположено как раз на южной границе этой области, недалеко от горного хребта Телль, между европеизированными областями и большой пустыней. Местоположение ксара Бухрари придает ему исключительную политическую важность, так как он является чем-то вроде соединительного звена между арабами, живущими в прибрежных областях, и арабами Сахары. Вот почему там издавна бился пульс всех восстаний. Сюда приходят приказы, и отсю-

да они передаются дальше. Самые отдаленные племена посылают своих людей узнать, что делается в Бухрари. Со всех концов Алжира обращены сюда внимательные взоры.

Одна лишь французская администрация не интересуется тем, что затевают в Бухрари. Она обратила его в полноправную общину, наподобие тех общин во Франции, которые управляются мэром, старым заспанным крестьянином, с помощью полевого сторожа. Входи и выходи кто хочет. Арабы, приехавшие неизвестно откуда, могут разгуливать повсюду, вести разговоры, строить какие угодно козни без всякого стеснения.

Смешанная община, находящаяся у подножия ксара, на расстоянии двухсот — трехсот метров от него, управляется гражданским администратором, располагающим самыми широкими полномочиями на этой безлюдной территории, наблюдать за которой почти бесполезно. Он не вправе, однако, посягать на компетенцию своего соседа мэра.

Напротив, на горе, расположен Богар, где живет командующий военным округом. У него в руках все средства власти и притом самые действенные, но он не имеет никакого влияния в ксаре, *полноправной общине*. Ведь ксар населен одними арабами. К этому опасному пункту относятся почтительно, тогда как за окрестностями наблюдают с большой тщательностью. Лечат проявления болезни, не заботясь о ее причине.

Что же происходит? Командующий военным округом и гражданский администратор по взаимному соглашению организуют без ведома мэра нечто вроде негласной полиции, которая тайно осведомляет их о всем происходящем.

Не странно ли, что этот арабский центр, всеми признанный опасным, располагает большею свободой, чем любой город во Франции, между тем как ни одному французу, если только он не заручился содействием влиятельного лица, нельзя проникнуть на военную территорию отдаленных южных округов и передвигаться по ней?

В смешанной общине есть гостиница. Я провел там ночь; это была ночь в жаркой бане. Воздух казался

объятым пламенем Страшного суда. В нем не было ни малейшего движения, от зноя он как бы застыл.

При первых лучах зари я встал. Взошло солнце, неумолимое, все испепеляющее. Под моим открытым окном, откуда была видна безмолвная и уже пышущая зноем даль, ждал маленький распряженный дилижанс. На желтой табличке можно было прочесть: «Курьер Юга».

Курьер Юга! Неужели же можно ехать дальше на юг в этом ужасном августе месяце! Юг — какое короткое, обжигающее слово! Юг! Огонь! Там, на Севере, упоминая о странах, где тепло, говорят: «Полуденные края». Здесь говорят: «Юг».

Я всматривался в это слово, такое краткое и представлявшееся мне удивительным, как будто я никогда его не видел. Казалось, я открывал в нем таинственный смысл. Ведь самые знакомые слова, так же как и лица, на которые часто смотришь, имеют тайное значение, которое нам открывается вдруг, в один прекрасный день, неизвестно почему.

Юг! Пустыня, кочевники, неизведанные края, а дальше чернокожие, целый новый мир, нечто вроде начала вселенной! Юг! Как властно звучит это слово на границе Сахары!

После полудня я пошел осмотреть ксар.

Бухрари — первое селение, где можно встретить улад-найль. Вас охватывает изумление при виде этих куртизанок пустыни.

Многолюдные улицы полны арабов, которые лежат на порогах, поперек дороги, сидят на корточках, тихо разговаривают или спят. Их развевающиеся белые одежды точно подчеркивают ровную белизну домов. Ни одного темного пятна, все бело; и вдруг где-нибудь в дверях появляется во весь рост женщина, волосы ее высоко уложены, очевидно, по примеру ассирийских женщин, и увенчаны огромной золотой диадемой.

На ней ярко-красное длинное платье. Руки и ноги украшены сверкающими браслетами, а правильное лицо татуировано голубыми звездами.

А вот и другие, множество других куртизанок с такими же монументальными прическами, похожими на

четырехугольную гору, по бокам которой спущены толстые косы, закрывающие все ухо, затем подобранные на затылке и снова теряющиеся в густой массе волос. Эти женщины всегда носят диадемы, подчас очень дорогие. Грудь покрыта ожерельями, медалями, тяжелыми украшениями; на двух массивных серебряных цепочках, спускающихся до низа живота, висит большой замок из того же металла, искусной ажурной чеканки; ключ от него висит на другой цепочке.

На некоторых из этих женщин только узкие браслеты. Это начинающие. Другие, давно занимающиеся этим ремеслом, иногда носят на себе на десять — пятнадцать тысяч драгоценностей. Я видел одну, на которой было ожерелье из восьми рядов двадцатифранковых монет. Так хранят они свой капитал, свои сбережения, добытые с таким трудом. У них на ногах массивные, очень тяжелые серебряные обручи. Действительно, как только у куртизанки наберется на двести — триста франков серебряных монет, она отдает их в переплавку мозабиту-ювелиру, который возвращает их в виде чеканных колец, символических замков, цепочек или широких браслетов. Диадемы на голове того же происхождения.

Монументальная прическа куртизанок, искусное и сложное переплетение кос, требует почти целого дня работы и невероятного количества масла. Поэтому они причесываются только раз в месяц, а когда занимаются своими любовными делами, заботливо оберегают это высокое и замысловатое сооружение из волос, которое спустя короткое время начинает издавать нестерпимый запах.

Улад-найль надо видеть вечером, когда они пляшут в мавританском кафе.

Все тихо в селении. Белые фигуры лежат, растянувшись вдоль домов. Жаркая ночь, небо усеяно звездами, и эти африканские звезды горят таким светом, которого я раньше никогда не видел у звезд,— светом огненных алмазов, трепетным, живым, резким.

Вдруг за поворотом улицы вас поражает шум, дикая, стремительная музыка: отрывистый звон бубен и непрерывный, пронзительный, оглушающий, неистовый

визг флейты, на которой без устали играет рослый детина цвета черного дерева, хозяин заведения.

У дверей куча бурнусов — это арабы; они смотрят, не входя вовнутрь, и образуют большое яркое пятно, освещенное светом, вырывающимся из помещения кафе.

Внутри ряд неподвижных белых фигур, сидящих на досках вдоль белых стен под очень низким потолком. А на полу на корточках в своих, как жар горящих, одеждах, сверкающие драгоценностями, с татуированными лицами и высокими прическами, украшенными диадемами, расположились в ожидании улад-найль, напоминая египетские барельефы.

Мы входим. Никто не двигается с места. Тогда, чтобы усадить нас, арабов по обыкновению хватают, расталкивают, сбрасывают со скамей, и они невозмутимо отходят. Другие теснятся, чтобы дать им место.

В глубине на эстраде четыре музыканта в экстатических позах неистово бьют по туго натянутой коже тамбуринов, а хозяин, рослый негр, величаво прохаживается и продолжает отчаянно и беспрестанно дуть в свою неугомонную флейту, ни на секунду не давая себе передохнуть.

И вот две улад-найль поднимаются, становятся на противоположных концах свободного пространства между скамьями и начинают пляску. Их танец — плавное хождение, ритм которого отмечается ударами пятки, от чего на ногах звенят все кольца. При каждом ударе все тело изгибается, как бы прихрамывая; руки, поднятые кверху и вытянутые на высоте глаз, при каждом покачивании медленно поворачиваются, а пальцы быстро и нервно вздрагивают. Лица, немного повернутые вбок, строгие, невозмутимые, застывшие, остаются поразительно неподвижными, как лица сфинксов, а взгляд все время искоса устремлен на руки, словно зачарованный их плавной игрой, которая беспрестанно прерывается судорожным движением пальцев.

Так идут улад-найль одна навстречу другой. Подойдя друг к другу, они берутся за руки, и тело их как будто пронизывает дрожь; женщины откидываются назад, волоча по полу длинное кружевное покрывало, ни-

спадающее с головы до пят. Они соприкасаются, выгнувшись назад, как в истоме, прелестным движением влюбленных голубок. Большое покрывало бьется, как крыло. Затем, внезапно выпрямившись и вновь обретя бесстрастность, они расходятся, и каждая продолжает свое медлительное прихрамывающее скольжение до рядов зрителей.

Они далеко не все красивы, но все оригинальны. И ни с чем не сравнимы сидящие на корточках арабы, среди которых проходят своей спокойной, отбивающей такт поступью эти женщины, покрытые золотом и огненно-красными тканями.

Движения своего танца они иногда немного разнообразят.

Раньше эти проститутки были все из одного племени — улад-найль. Они собирали таким способом приданое и, сколотив состояние, возвращались на родину, чтобы выйти замуж. Племя уважало их не меньше, чем других женщин; таков был обычай. Хотя в настоящее время по-прежнему принято, чтобы девушки племени улад-найль составляли себе состояние таким способом, но и все другие племена также поставляют куртизанок в арабские центры.

Хозяин кафе, в котором они себя показывают и предлагают,— всегда какой-нибудь негр. Завидев входящих иностранцев, этот предприниматель сейчас же налепляет себе на лоб серебряный пятифранковик, который неизвестно каким образом держится у него на коже, и прохаживается по заведению, яростно дуя в свою примитивную флейту и настойчиво показывая монету, которой себя украсил, в виде приглашения посетителю платить ему в этом же размере.

Те из улад-найль, которые происходят из «большого шатра», проявляют в обращении с гостями, согласно своему происхождению, щедрость и деликатность. Стоит только залюбоваться на секунду густым ковром, который служит постелью, и не успеет случайный любовник прийти к себе на квартиру, как слуга благородной проститутки уже несет ему эту вещь, вызвавшую его восхищение.

Так же, как и у подобных женщин во Франции, у них имеются любовники, живущие за счет их трудов. Слу-

чается, что утром где-нибудь во рву находят одну из них с перерезанным горлом, без единого украшения. Человек, которого она любила, исчезает бесследно и никогда больше не возвращается.

Помещение, где они принимают гостей, представляет собой узенькую комнатку с глиняными стенами. В оазисах потолок заменяют просто наваленные друг на друга камыши, в которых живут целые полчища скорпионов. Постелью служат несколько ковров, положенных один на другой.

Когда богатые арабы или французы хотят устроить ночью роскошную оргию, они снимают до утра мавританскую баню со всей прислугой. Они едят и пьют в банных помещениях, а диванами, предназначенными для отдыха, пользуются для других целей.

Вопрос о нравах заставляет меня коснуться весьма рискованной темы.

Наши понятия, наши обычаи, наши чувства так резко отличаются от всего, с чем сталкиваешься в Алжире, что мы почти не смеем упоминать у нас о пороке, настолько распространенном в этой стране, что даже тамошние европейцы перестали удивляться ему или возмущаться. В конце концов вместо негодования он вызывает только смех. Это очень щекотливый вопрос, но умолчать о нем нельзя, если хочешь рассказать о жизни арабов и дать представление о своеобразном характере этого народа.

На каждом шагу встречаешь здесь ту противоестественную любовь между лицами одного пола, которую проповедовал Сократ, *друг* Алкивиада.

Часто в истории мы находим примеры этой странной и нечистоплотной страсти, которой предавался Цезарь, которая была широко распространена среди римлян и греков, которую Генрих III ввел в моду во Франции и в которой подозревали многих великих людей. Но эти примеры только исключения, тем более заметные, что они довольно редки. В Африке же эта ненормальная любовь так глубоко вошла в быт, что арабы, кажется, считают ее столь же естественной, как и обычную.

Откуда это извращение? Оно зависит, конечно, от многих причин. Самая очевидная — это недостаток

женщин, захваченных богачами, владеющими четырьмя законными женами и столькими наложницами, скольких они могут прокормить. Может быть, также и знойный климат, обостряющий чувственные желания, притупил у этих людей с их неистовым темпераментом тонкость и благородство чувств, духовную чистоплотность, которые ограждают нас от отвратительных привычек и отношений.

Может быть, наконец, здесь играет роль нечто вроде традиции нравов Содома, порочная наследственность у здешнего кочевого народа, полудикого, почти лишенного цивилизации, остающегося и посейчас таким же, каким он был в библейские времена.

Осмелюсь привести несколько примеров, недавно имевших место и прекрасно характеризующих силу этой страсти у арабов.

У Хаммама, когда он только начинал свою карьеру, служил одним из банщиков мальчик-негр из Алжира. Пробыв некоторое время в Париже, этот молодой человек вернулся к себе в Африку. И вот однажды утром в казарме нашли двух убитых солдат. Розыски вскоре показали, что убийцей был не кто иной, как бывший служащий Хаммама, разом умертвивший двух своих любовников. Между этими людьми, познакомившимися через него, установились интимные отношения, а он, узнав об их связи и ревнуя обоих, зарезал того и другого.

Такие случаи встречаются очень часто.

Вот еще другая драматическая история.

Один молодой араб, происходящий из «большого шатра», славился по всей области своими любовными похождениями, причем он бесчестно конкурировал с куртизанками улад-найль.

Братья много раз упрекали его, но не за то, что он распутничал, а за то, что он продавался. Так как он ни в чем не изменял своего поведения, они дали ему неделю сроку, чтобы он отказался от своего ремесла. Он не обратил внимания на это предупреждение.

На девятый день утром его нашли на арабском кладбище мертвым, задушенным, обнаженным, с закутанной головой. Когда открыли его лицо, то увидали

на лбу монету, вдавленную сильным ударом каблука, и на этой монете маленький черный камень.

А вот рядом с драмой и комедия.

Один офицер-спаги безуспешно искал себе денщика. Все солдаты, которых он к себе брал, были плохо одеты, грязны, неряшливы и совершенно не подходили для этой службы. В одно прекрасное утро является к нему молодой кавалерист-араб, очень красивый, сообразительный, с хорошей выправкой. Лейтенант взял его на пробу. Малый оказался просто находкой: расторопный, чистоплотный, молчаливый, внимательный и ловкий. Все шло прекрасно в течение недели. Затем утром, придя домой с обычной прогулки, лейтенант увидел у двери старого спаги, занятого чисткой его сапог. Лейтенант вошел в переднюю; другой спаги подметал пол. В комнате третий убирал постель. Четвертый распевал песни на конюшне. Денщик же, молодой Мохаммед, курил в это время папиросы, лежа на ковре.

Ошеломленный лейтенант подозвал одного из неожиданных заместителей своего денщика и спросил его, показывая на остальных:

— Что вы все тут делаете, черт вас возьми?

Араб сейчас же пояснил:

— Господин лейтенант, мы присланы туземным лейтенантом.

Действительно, у каждого французского офицера всегда есть соответствующий туземный офицер, который ему подчинен.

— А, туземным лейтенантом! Зачем же?

Солдат продолжал:

— Господин лейтенант нам сказал: «Ступайте к французскому офицеру и сделайте за Мохаммеда всю работу. Мохаммед не должен работать: он жена нашего офицера».

Такая утонченная предупредительность стоила туземному офицеру двух месяцев ареста.

Этот порок настолько укоренился в арабских нравах, что каждый пленный, попавший арабам в руки, немедленно бывает использован ими для наслаждения. Если мучителей много, несчастный может умереть под этой пыткой сладострастия. Судебные власти, призванные констатировать убийство, часто устанавливают

также, что тело убитого после смерти было изнасиловано убийцей.

Имеются и другие случаи, весьма обычные и до такой степени отвратительные, что я не могу привести их здесь.

Спускаясь однажды вечером из Бухрари незадолго до заката солнца, я увидел трех улад-найль, двух в красном и одну в синем, стоявших среди группы мужчин, которые сидели по-восточному или лежали на земле. Женщины были похожи на дикарские божества, возвышающиеся над распростертым ниц народом.

Глаза всех были устремлены на форт Богар, туда, на высокий холм в противоположном конце пыльной долины. Все были неподвижны и внимательны, словно ожидали какого-нибудь необычайного события. У всех в руках была еще не закуренная, только что свернутая сигарета.

Вдруг над крепостью взвился белый дымок, земля слегка содрогнулась от глухого отдаленного гула, и мгновенно каждая сигарета оказалась во рту. Это французская пушка извещала побежденный народ о конце ежедневного воздержания.

ЗАР'ЭШ

Однажды утром я завтракал в форте Богар у капитана из бюро по арабским делам, у одного из самых обязательных и способных офицеров, когда-либо служивших на юге, как говорили мне сведущие люди; разговор зашел о поручении, которое должны были в ближайшее время выполнить два молодых лейтенанта. Надо было объехать большую территорию по округам Богар, Джельфа и Бу-Саада, чтобы определить местонахождение водных пространств. Опасались всеобщего восстания после Рамадана и хотели подготовить путь для экспедиционной колонны через земли племен, населяющих эту часть страны.

Точной карты этих областей еще не имеется. Существуют только общие топографические съемки, сделанные проезжавшими здесь изредка офицерами, приблизительные обозначения источников и колодцев, заметки, нацарапанные на седельной луке, и беглые зарисовки, сделанные на глаз без каких-либо приборов.

Я тотчас же попросил разрешения примкнуть к маленькой экспедиции. Оно было дано мне с величайшей любезностью.

Мы выехали два дня спустя.

Было три часа утра, когда спаги принялся стучать в дверь нищей гостиницы Бухрари, чтобы разбудить меня.

Когда я открыл дверь, передо мной предстал человек в красной куртке с черной вышивкой, в широких

сборчатых шароварах, доходивших до колен, где начинались алые кожаные чулки, какие носят всадники пустыни. Это был араб среднего роста. Его горбатый нос был рассечен ударом сабли, и левая ноздря совершенно изуродована. Его звали Бу-Абдаллах. Он сказал мне:

— Мосье, твоя лошадь готовая.

Я спросил:

— Лейтенант приехал?

Он ответил:

— Он сейчас приехать.

Вскоре из темной и голой долины донесся отдаленный шум, затем появились и исчезли чьи-то тени и силуэты. Я различил только странные фигуры трех верблюдов, нагруженных чемоданами, походными кроватями и кой-какими предметами, которые мы взяли с собою для двадцатидневного путешествия по пустынным краям, малознакомым даже офицерам.

Немного погодя — и опять со стороны форта Богар — послышался стремительный галоп группы всадников, и оба лейтенанта, отправляющиеся в экспедицию, показались со своей охраной, которая состояла еще из одного спаги и одного арабского всадника по имени Деллис, происходившего из «большого шатра» и принадлежащего к знатному туземному роду.

Я немедленно вскочил на коня, и мы отправились в путь.

Была еще ночь, глубокая, тихая, как бы неподвижная. Проехав некоторое время в северном направлении, по долине Шелиффа, мы на рассвете свернули направо в небольшую ложбину.

В здешних краях нет ни вечерних, ни утренних сумерек. Почти никогда не увидишь медленно ползущих красивых облаков, горящих пурпуром, изрезанных по краям, причудливых, разноцветных, кровавых или огневых, которые оживляют, окрашивают наш северный небосклон в час, когда солнце встает, и в час, когда солнце заходит.

Здесь появляется сначала какой-то неясный свет, который затем усиливается, распространяется и в несколько мгновений заливает все пространство. Потом вдруг, сразу у вершины горы или у края бесконечной

равнины показывается солнце — уже такое, каким оно бывает высоко в небе, а не раскрасневшееся и будто еще не выспавшееся, как при восходе в наших туманных краях.

Но что всего необычайнее для утренней зари в пустыне,— это тишина.

Кому не знаком у нас первый птичий крик задолго до рассвета, когда небо только еще начинает бледнеть, затем другой, ответный крик с соседнего дерева и, наконец, непрерывная разноголосица свиста, перекликающихся трелей, щебетания и отдаленное, протяжное пение петухов — все это шумное пробуждение живых существ, этот веселый гомон в листве?

Здесь — ничего похожего. Огромное солнце встает над этой опустошенной им землею и уже будто смотрит на нее хозяйским глазом, как бы проверяя, не уцелело ли на ней что-нибудь живое. Не слышно ни единого крика животных — разве что лошадиное ржание; не видно ни единого признака жизни — разве что долгое, медленное и молчаливое следование стад на водопой в часы нашего привала у колодца.

Сразу же наступает палящий зной. Поверх фланелевого капюшона и белой каски мы надеваем громадный «медоль» — соломенную шляпу с необъятными полями.

Мы медленно ехали по долине. Насколько мог видеть глаз, все было голо, все было желтовато-серого, пламенного, великолепного цвета. Иногда в пересохшем русле реки, на обмелевшем дне, где мутнеет остаток воды, несколько зеленых тростников выделялись резким маленьким пятнышком; иногда в какой-нибудь горной лощине два—три дерева указывали на присутствие родника. Мы еще не вступили в изнуренную жаждой страну, через которую нам вскоре предстояло направить свой путь.

Подъем был бесконечно долог. Другие небольшие долины ответвлялись от нашей. И чем ближе время подходило к полудню, тем все более скрывались дали за легкой дымкой зноя, за испарениями разогретой земли, принимая то голубую, то розовую, то белую окраску; все эти оттенки казались такими мягкими, такими нежными, такими бесконечно привлекательными

по сравнению с ослепительной яркостью окружающего нас пейзажа.

Наконец мы достигли вершины горы и увидели выехавшего нам навстречу в сопровождении нескольких всадников каида Эль-Ахедар-бен-Яхья, у которого мы должны были остановиться. Это был араб знатной крови, сын бах-аги Яхья-бен-Айса, прозванного «бах-ага-деревянная нога».

Он проводил нас к лагерю, раскинутому у ручья, под сенью четырех деревьев-великанов, подножия которых омывает вода; они представляли собою единственную растительность на всем протяжении кряжистых и голых вершин, которые тянулись до самого горизонта.

Сейчас же был устроен завтрак. Каиду нельзя было принять в нем участие из-за Рамадана, но, желая убедиться, что мы ни в чем не терпим недостатка, он уселся против нас, рядом со своим братом Эль-Хауэс-бен-Яхья, каидом племени улад-алан-бершие. К нам подошел мальчик лет двенадцати, несколько хрупкого сложения, но полный гордой и пленительной грации, которого я заметил уже раньше, несколько дней тому назад, среди улад-найль в мавританском кафе Бухрари.

Я был удивлен изяществом и сверкающей белизной одежд этого тоненького арабского мальчугана, его благородными манерами и почтением, какое все к нему, казалось, проявляли. И когда я выразил недоумение, как ему в таком возрасте позволяли проводить время среди куртизанок, мне ответили:

— Это младший сын бах-аги. Он приходит туда изучать жизнь и знакомиться с женщинами.

Как далеки мы здесь от наших французских нравов!

Мальчик также узнал меня и степенно подошел пожать мне руку. Потом, имея еще право, по молодости лет, не соблюдать поста, он сел с нами и принялся обдирать кусок жареной баранины тонкими, худыми пальчиками. И мне показалось, что его старшие братья, каиды, которым было, я думаю, лет под сорок, подтрунивали над поездкой мальчугана в ксар, допытываясь, откуда у него шелковый шарф на шее, уж не подарок ли это какой-нибудь женщины.

В этот день мы отдохнули наконец днем под тенью деревьев. Я проснулся, когда начало уже вечереть, и взошел на соседний холм, чтобы окинуть взглядом весь горизонт.

Солнце, вот-вот готовое закатиться, отливало красным цветом на оранжевом небе. И повсюду, от севера к югу, от востока к западу, горные цепи, которые простирались перед моим взором, сколько видел глаз, были необычайного розового цвета, цвета перьев фламинго. Это напоминало феерический оперный апофеоз в странном и неправдоподобном освещении, что-то нарочитое, надуманное, неестественное и вместе с тем полное неизъяснимого очарования.

На следующий день мы спустились в равнину по ту сторону горы, в бесконечную равнину, пересечь которую нам стоило трех дней пути, хотя замыкавшая ее с противоположной стороны горная цепь Джебель-Гада ясно обрисовывалась перед нами.

Мы попадали то в унылую полосу песков, или, вернее, земляной пыли, то в целый океан кустиков альфы, в беспорядке разбросанных по равнине, из-за которых нашим лошадям приходилось все время петлять.

Поразительны эти африканские равнины.

Они кажутся голыми и плоскими, как паркет, а между тем их поверхность волниста, как море после бури, которое издали кажется совершенно спокойным и гладким, хотя по нему идут друг за другом широкие ровные валы. Песчаные волны почти неприметны, никогда не теряешь из виду гор на горизонте, но в двух километрах от вас, за параллельной складкой, могла бы укрыться целая армия, и вы не заметили бы ее.

Вот почему так трудно преследовать Бу-Амаму на заросших альфою плоскогорьях Южного Орана.

Каждое утро с зарею отправляемся в путь через эти бесконечные суровые просторы и каждый вечер встречаем группу всадников, закутанных в белое, которые отводят нас в заплатанные устланные коврами палатки. Изо дня в день ешь одно и то же, перекидываешься двумя—тремя словами, а затем спишь или мечтаешь.

И если бы вы знали, как далеко-далеко чувствуешь себя от мира, от жизни, от всего на свете под этим маленьким низким шатром, где сквозь дыры видны звезды, а из-под приподнятых краев — огромные пространства бесплодных песков.

Она однообразна, всегда неизменно та же, всегда сожжена и мертва, эта земля. И, однако, там ничего не желаешь, ни о чем не сожалеешь, ни к чему не стремишься. Этот спокойный, струящийся светом безрадостный пейзаж удовлетворяет зрение, ум, утоляет чувства и мечты, потому что он завершен, *абсолютен,* потому что по-иному его нельзя себе представить. Даже скупая зелень там кажется неуместной, как нечто фальшивое, раздражающее, грубое.

Каждый день в те же часы то же зрелище: пламя, пожирающее мир. И как только зайдет солнце, над безбрежной пустыней встает луна. Но с каждым днем молчание пустыни мало-помалу покоряет вас, проникает в вашу душу, подобно тому, как неумолимое солнце сжигает вам кожу; и хочется стать кочевником, таким же, как эти люди, которые меняют место, никогда не покидая родины, и бродят среди этих бесконечных и почти одинаковых просторов.

Ежедневно офицер, объезжающий военный округ, посылает вперед туземного всадника предупредить каида, у которого он завтра будет есть и ночевать, чтобы тот мог заранее заготовить в своем племени провиант для людей и корм для животных. Это обычай, соответствующий во Франции постою у городских жителей, становится довольно разорительным для туземцев в том виде, как он проводится в жизнь.

Сказать «араб» — все равно, что сказать «вор»; исключений нет. И вот как происходит тут дело. Каид обращается к предводителю какого-нибудь колена своего племени и требует от его людей выполнения этой повинности.

Чтоб избавиться от таких налогов и тягот, предводитель откупается. Каид прикарманивает выкуп и обращается к другому предводителю, который зачастую отделывается таким же способом. Но в конце концов кому-нибудь нужно же исполнить приказание.

Если у каида есть враг, то повинность падает на не-

го, и тот поступает с простыми арабами точно так же, как каид с шейхами.

Таким образом, налог, который выразился бы в двадцати — тридцати франках на каждое племя, неизменно обходится ему в четыреста — пятьсот франков.

Пока еще невозможно изменить все это по множеству причин, о которых здесь было бы слишком долго распространяться.

Как только вы подъезжаете к привалу, вдали показывается приближающаяся к вам группа всадников. Один из них движется впереди, отдельно от других. Все едут шагом или рысью. Затем вдруг они пускаются в галоп, в такой бешеный галоп, которого наши северные лошади не вынесли бы более двух минут. Это галоп скаковых лошадей, не уступающий в скорости экспрессу. Араб при этом сидит почти прямо в седле, его белые одежды развеваются. И вдруг на всем скаку он осаживает коня, который оседает на ноги. Одним прыжком араб соскакивает на землю и, почтительно подойдя к офицеру, целует ему руку.

Каково бы ни было звание араба, его происхождение, могущество и состояние, он почти всегда при встрече с офицерами целует им руку.

Затем каид опять садится в седло и провожает путников к шатру, который он велел для них приготовить. Принято думать, что арабские шатры — белые, сверкающие на солнце. На самом деле они грязно-коричневого цвета с желтыми полосами. Ткань, из которой они сделаны,— очень плотная, из верблюжьей или козьей шерсти,— выглядит грубой. Шатер низок (в нем с трудом можно стоять во весь рост) и очень широк. Он притянут к кольям довольно неровно, и края его приподняты, так что воздух со всех сторон проникает внутрь.

Несмотря на эти предосторожности, днем в этих матерчатых жилищах удушливая жара; зато ночью в них превосходно, и чудесно спишь на мягких роскошных коврах Джебель-Амура, хотя они и кишат насекомыми.

Ковры составляют единственную роскошь богатых арабов. Их накладывают один на другой, нагромож-

дают целыми грудами и относятся к ним с величайшей бережливостью; поэтому, когда надо пройти по ковру, все снимают обувь, словно у дверей мечети.

Как только гости рассядутся, или, вернее, разлягутся на земле, каид приказывает подать кофе. Этот кофе удивительно вкусен. Между тем способ его приготовления несложен. Его не мелют, а толкут, затем прибавляют изрядное количество амбры и кипятят в воде.

Нет ничего забавнее арабской посуды. Когда вас принимает у себя богатый каид, его шатер украшен бесценными тканями, великолепными подушками, роскошными коврами,— и вот подается старый жестяной поднос, а на нем четыре надбитых, треснутых, отвратительных чашки, словно их купили в плохонькой лавчонке на окраине Парижа. Чашки все разнокалиберные — и английский фарфор, и имитация под японский, и рыночная крейльская посуда, самый безобразный грубый фаянс, когда-либо производившийся на свете.

Кофе подают в старом чугуне, или в солдатском котелке, или, наконец, в неописуемом оловянном кофейнике, искалеченном, помятом, видавшем виды на своем веку.

Странный это народ, ребячливый и до сих пор еще примитивный, как в первобытные времена. Он проходит свой земной путь, не привязываясь ни к чему, не стараясь обосноваться поудобнее. Вместо жилья у него тряпье, натянутое на палки; нет даже самых нужных вещей, без которых мы, кажется, не могли бы существовать. Ни кроватей, ни простынь, ни столов, ни стульев, ни одной из тех необходимых мелочей, которые доставляют удобства в жизни. Нет ни мебели для хранения имущества, нет ни ремесла, ни искусства, ни каких бы то ни было навыков. Арабы едва способны сшить из козьих кож мехи для воды и во всех случаях жизни прибегают к таким примитивным приемам, что приходится только поражаться.

Они не умеют даже починить свой шатер, изорванный ветром; бурая ткань его вся в дырках, сквозь которые беспрепятственно льет дождь. Эти кочевники

словно не чувствуют привязанности ни к земле, ни к жизни и отмечают место, где покоятся их мертвецы, просто каким-нибудь камнем, большим камнем, принесенным с соседней горы. Их кладбище напоминает поле, где некогда обрушилось здание европейского типа.

У негров есть хижины, у лапландцев землянки, у эскимосов юрты, у самых диких из дикарей есть какое-нибудь жилище, вырытое в земле или кое-как сколоченное на ее поверхности. Они привязаны к своей матери-земле. Арабы нигде не оседают, вечно странствуют, не чувствуя ни привычки, ни нежности к этой земле, которую мы себе подчиняем, оплодотворяем, которую мы любим всеми фибрами души, всем нашим человеческим сердцем; они не приспособлены к нашему труду, равнодушны к тому, о чем мы привыкли заботиться, и вечно скачут галопом на своих лошадях, как будто стремясь куда-то, куда им никогда не доехать. Их обычаи все так же первобытны. Наша культура скользит по ним, не оставляя следа.

Они пьют прямо из козьего меха, но иностранцам подают воду в целой коллекции невообразимых сосудов. Тут имеется все — от жестяной кастрюльки до продавленного бидона. Если бы при каком-нибудь набеге среди добычи им попался парижский цилиндр, они, наверное, сохранили бы его и подали бы в нем воду первому же генералу, проезжающему по их землям.

Их кухня состоит всего из четырех — пяти блюд. Порядок их следования всегда один и тот же.

Сначала подают барашка, зажаренного на костре. Его приносят целиком на плече, прихватив острием деревянного кола, который служит вертелом; вид этой ободранной, висящей туши невольно вызывает мысль о какой-то средневековой казни. Вечером на фоне красного неба эта туша и несущий ее суровый человек в белом производят впечатление зловещей и шутовской нелепости.

Барана кладут в плоскую, плетенную из альфы корзину, вокруг которой, поджав по-турецки ноги, располагаются едоки. Вилок нет и в помине; мясо рвут пря-

мо руками или отрезают маленьким туземным ножом с роговой ручкой. Поджаренная, подрумяненная на огне, хрустящая кожа считается самым тонким яством. Ее отдирают длинными пластами и жуют, запивая или водой, всегда мутной, или верблюжьим молоком пополам с водою, или кислым молоком, перебродившим в козьем мехе, что придает ему сильный привкус мускуса. Этот посредственный напиток арабы называют «лебен».

За первым блюдом подается в миске, или в умывальном тазу, или в старой лоханке нечто вроде похлебки с вермишелью. Основу этого варева составляет желтоватый сок, с примесью индийского и красного перца; в этом соку плавают сухие абрикосы и финики. Не рекомендую гурманам подобного бульона.

Если угощающий вас каид в достаточной мере гостеприимен, то затем подают *хамис:* это замечательное блюдо. Я, может быть, доставлю кому-нибудь удовольствие, приведя здесь способ его приготовления.

Оно изготовляется из кур или баранины. Нарезав мясо на мелкие куски, его поджаривают в масле. Вслед за этим обдают мясо горячей водой и сливают полученный таким образом жиденький бульон (мне кажется, что лучше было бы употреблять для этого дела слабый бульон, приготовленный заранее). Наконец кладут в бульон много красного перца, чуточку индийского, небольшое количество обыкновенного перца, соли, луку, фиников, сухих абрикосов и все это варят до тех пор, пока абрикосы и финики не разварятся совершенно. Тогда этим соусом заливают мясо. Получается восхитительное блюдо.

Обед заканчивается неизменным национальным блюдом кус-кус, или кус-кусу. Арабы приготовляют кус-кус из крошечных шариков теста величиной с дробинку, которые они скатывают руками. Эти шарики варят особым способом и обливают каким-то специальным бульоном. Но я воздержусь от дальнейшей передачи рецептов, иначе меня обвинят в том, что я говорю только о кухне.

Иногда подают еще медовые слоеные пирожки, чрезвычайно вкусные.

Всякий раз, когда вы пьете, хозяин каид говорит вам: «Saa!» («на здоровье»). Ему следует отвечать: «Allah y selmeck!», что соответствует нашему «благослови вас бог». Эти формулы повторяются за обедом раз десять.

Каждый вечер около четырех часов мы располагаемся в новом шатре, то у подошвы горы, то среди безграничной равнины.

Но весть о нашем приезде уже разнеслась по всему племени, и вскоре повсюду на бесплодных равнинах и на холмах появляются вдали белые точки, которые движутся по направлению к нам. Это арабы спешат лицезреть офицера и предъявить ему свои жалобы и требования. Почти все верхом, но есть среди них и пешие; многие на маленьких ослнках. Они сидят верхом на крупе, у самого хвоста животного, которое трусит мелкой рысью; длинные голые ноги седока волочатся с обеих сторон по земле.

Спрыгнув на землю, они тотчас же подходят и садятся на корточки вокруг шатра, а затем застывают в неподвижности, устремив глаза в одну точку и дожидаясь. Наконец каид делает знак, и прием посетителей начинается. Ведь каждый совершающий объезд офицер чинит суд, как полновластный правитель.

Жалобы подают самые невероятные, потому что ни у одного народа нет такого сутяжничества, склочничества, крючкотворства и мстительности, как у арабов. О том, чтобы добиться истины, рассудить по справедливости, нечего и думать. Каждая сторона приводит с собой фантастическое количество лжесвидетелей, которые клянутся прахом своих отцов и матерей и утверждают под присягой самую наглую ложь.

Вот несколько примеров.

Кади (корыстолюбие этих мусульманских чиновников заслуженно вошло в пословицу) призывает какого-нибудь араба и делает ему следующее предложение:

— Ты дашь мне двадцать пять дуро и приведешь семь свидетелей, которые подтвердят в письменном виде, что Икс должен тебе семьдесят пять дуро. Ты их получишь.

Араб приводит свидетелей, которые дают это показание и подписывают его. Тогда кади вызывает Икса и говорит ему:

— Ты дашь мне пятьдесят дуро и приведешь ко мне девять свидетелей, которые покажут, что Б (первый араб) должен тебе сто двадцать пять дуро. Ты их получишь.

Второй араб приводит своих свидетелей.

Тогда кади вызывает первого араба и на основании показаний семерых свидетелей приказывает второму выплатить ему семьдесят пять дуро. Но второй араб, в свою очередь, предъявляет свои требования, и кади на основании показаний его девяти свидетелей заставляет первого араба заплатить сто двадцать пять дуро.

Доля чиновника в этом деле равна, таким образом, семидесяти пяти дуро (тремстам семидесяти пяти франкам), полученным с обеих его жертв.

Это достоверный факт.

И, несмотря на это, арабы почти никогда не обращаются к судье-французу — его ведь нельзя подкупить,— между тем как кади за деньги готов на все что угодно.

Кроме того, они испытывают непреодолимое отвращение к сложным формам нашего судопроизводства. Всякая письменная процедура приводит их в ужас, так как в них до крайности развит суеверный страх перед бумагой, на которой может быть начертано имя бога или же какие-нибудь колдовские знаки.

В начале французского господства, когда мусульманам случалось находить какую-нибудь исписанную бумажку, они набожно прикладывались к ней губами, зарывали ее в землю или засовывали в какую-нибудь дыру в стене или в стволе дерева. Это обыкновение приводило так часто к неприятным неожиданностям, что арабы очень скоро от него избавились.

Вот еще пример арабского мошенничества.

Вблизи Богара в одном племени совершено убийство. Подозрение падает на чужака-араба, но прямых улик против него нет. Действительно, среди этого пле-

мени находился в то время один бедняк, недавно пришедший из соседнего племени по своим денежным делам. Какой-то свидетель обвиняет его в убийстве. За ним другой, потом третий. Их набирается девяносто человек, дающих самые точные показания. Человек из чужого племени приговорен к смерти и обезглавлен. Спустя немного времени устанавливают полную невиновность казненного. Арабы просто-напросто хотели отделаться от стеснявшего их иноплеменника и помешать тому, чтобы человек их племени оказался *опороченным!*

Тяжбы длятся годами, причем решительно нет возможности пролить свет на истинное положение дела из-за показаний лжесвидетелей. Тогда прибегают к очень простому средству: представителей тяжущихся семейств, равно как и всех свидетелей, сажают в тюрьму. Затем, по истечении нескольких месяцев, их выпускают, и обычно они успокаиваются примерно на год. Потом все начинается сначала.

У племени улад-алан, которое мы встретили на своем пути, есть одна тяжба, которая длится уже три года без какой-нибудь надежды на окончание. Оба истца время от времени садятся ненадолго под замок, а потом принимаются за прежнее.

Впрочем, арабы всю жизнь обворовывают, обманывают и убивают друг друга. Но они самым тщательным образом скрывают от нас все дела, от которых пахнет порохом.

В племени улад-мохтар к нам приходит высокого роста человек и просит, чтобы его взяли на излечение во французский госпиталь.

Офицер расспрашивает его о болезни. Тогда араб распахивает одежду, и мы видим глубокую рану в области печени, уже застаревшую и гноящуюся. Попросив раненого повернуться, мы увидели другую рану на спине, на том же уровне, окруженную опухолью величиной с детскую голову. При надавливании по краям из нее вышли обломки костей. Этот человек, очевидно, был ранен выстрелом из ружья, причем пуля, пробив грудь, вышла через спину, раздробив два — три ребра. Но он решительно отрицал это, упорствовал и клялся, что болезнь его — «дело божье».

Впрочем, в этой стране с ее сухим климатом раны никогда не бывают особенно опасны. Гнилостные и воспалительные процессы, вызванные микробами, здесь не имеют места, так как эти микроскопические организмы водятся только во влажном климате. От ран здесь всегда излечиваются, конечно, если выстрел не убивает наповал или не поражает какой-нибудь важный орган.

На следующий день мы приехали к каиду Абд-эль-Кадир-бель-Хуту. Он из выслужившихся арабов. Племя, которым он мудро управляет, менее воровато и менее других заражено сутяжничеством. Существует, быть может, особая причина этого относительного спокойствия.

Так как водные источники имеются только на южном, совершенно необитаемом склоне Джебель-Гада, то естественно, что вода поступает из водоемов, составляющих общую собственность всего племени. Поэтому здесь не могут иметь места *отводы источников,* что является главной причиной ссор и вражды по всему югу.

Здесь к нам опять обратился туземец, желающий попасть во французский госпиталь. Когда его спросили, какой болезнью он страдает, он поднял полы «гандура» и показал свои ноги. Они были испещрены синими пятнами, слабы, вялы, дряблы, как перезревший плод, и так отекли, что палец погружался в тело, как в тесто, надолго оставляя маленькую вдавлину. Словом, у бедняги были все признаки ужасающего сифилиса. На вопрос, каким образом он получил эту болезнь, араб поднял руку и поклялся памятью своих предков, что это — «дело божье».

Поистине бог у арабов совершает весьма своеобразные дела.

Выслушав все заявления, мы пробуем уснуть немного в ужасной духоте шатра.

Затем наступает вечер; мы ужинаем. Глубокая тишина нисходит на раскаленную землю. Вдали в дуарах начинают выть собаки, им отвечают шакалы.

Мы располагаемся на ковре под открытым небом, усеянным звездами, которые блестят так трепетно, что

кажутся влажными; и вот начинается долгая-долгая беседа. Нас обступают воспоминания, сладкие, отчетливые, которые так и просятся на язык в эти теплые звездные ночи. Вокруг офицерской палатки лежат на земле арабы, а в стороне, в один ряд, стоят стреноженные лошади, и каждую охраняет караульный.

Лошадь не должна ложиться, она всегда должна быть на ногах: ведь конь начальника не может устать. Как только лошадь собирается лечь, араб сейчас же заставляет ее подняться.

Ночь все темнеет. Мы укладываемся на пышных шерстяных коврах и, проснувшись иногда, видим вокруг на голой земле спящие белые фигуры, похожие на трупы в саванах.

Однажды, после десятичасового перехода по раскаленной пыли, когда мы только что прибыли на привал у колодца с мутной и солоноватой водой, которая показалась нам, тем не менее, восхитительной, я было собрался улечься в шатре, как вдруг лейтенант схватил меня за плечи и спросил, показывая на южный край горизонта:

— Вы там ничего не видите?

Вглядевшись, я ответил:

— Серенькое облачко.

Лейтенант улыбнулся.

— Так вот, сядьте и последите за этим облачком.

Удивленный, я спросил, зачем это. Мой спутник объяснил:

— Если не ошибаюсь, надвигается песчаный ураган.

Было около четырех часов дня, и жара в шатре держалась еще на сорока восьми градусах. Воздух точно заснул под косыми нестерпимыми лучами палящего солнца. Ни дуновения, ни звука; только слышно, как жуют ячмень наши стреноженные лошади да доносится неясный шепот арабов, которые в каких-нибудь ста шагах дальше готовят нам обед.

Казалось, однако, что вокруг нас сгущается зной иного свойства, чем обычная жара, зной, более тяжелый, более удушливый, вроде того, какой стесняет дыхание, когда находишься вблизи большого пожара.

Это не было горячее, резкое, порывистое дуновение, огненная ласка, предвещающая приближение сирокко: это было какое-то таинственное накаливание всего сущего до последнего атома.

Я смотрел на облако, которое быстро росло, но имело вид самого обыкновенного облака. Теперь оно было грязно-бурого цвета и поднималось очень высоко над горизонтом. Потом оно растянулось вширь, как грозовые тучи у нас на севере. Право, я не замечал в нем решительно ничего особенного.

Наконец облако заволокло всю южную сторону. Нижняя его часть стала иссера-черной, а вершина медно-красного цвета казалась прозрачной.

Я услышал шум у себя за спиной и обернулся. Арабы закрывали вход в наш шатер и накладывали на его края тяжелые камни. Все бегали, звали друг друга и суетились, как это бывает на войне перед началом атаки.

Мне вдруг показалось, что стало темнеть. Я взглянул на солнце. Оно подернулось желтой дымкой и стало лишь бледным, круглым пятном, которое все тускнело и тускнело.

И я увидел поразительное зрелище. Вся южная сторона небосвода исчезла, и туманная масса, поднявшись до самого зенита, надвигалась на нас, поглощая предметы, с каждым мгновением уменьшая поле зрения и все собой закрывая.

Я инстинктивно отступил к шатру. И как раз вовремя. Ураган приближался к нам желтой громадной стеной, он несся с быстротой поезда, и вдруг нас втянуло в яростный вихрь песка и ветра, в свирепую бурю взметенных, невесомых частиц земли, обжигающую, слепящую, оглушающую и удушливую.

Наш шатер, укрепленный огромными камнями, трепало, как парус в бурю, но он все-таки устоял. А шатер наших спаги, укрепленный хуже, вздрагивал несколько секунд под порывами ветра, вздувавшего ткань, и вдруг сорвался с земли и улетел, тотчас же исчезнув во мраке окружавших нас облаков пыли.

В десяти шагах уже ничего не было видно сквозь эту песчаную ночь. Песком дышали, песок пили, песок

ели. Он наполнял глаза, засыпал волосы, попадал за воротник, в рукава, даже в обувь.

Так продолжалось всю ночь. Нас мучила жгучая жажда. Но вода, молоко, кофе — все было полно песка, хрустевшего на зубах. Жареный барашек был посыпан им, как перцем; кус-кус казался сваренным из одного мелкого песка; мука превратилась в мелко истолченный камень.

К нам в гости явился большой скорпион. Такая погода по вкусу этим животным, и все они выползают наружу. Собаки в соседнем дуаре не выли в эту ночь.

Затем к утру все кончилось, и солнце, великий смертоносный тиран Африки, встало во всем своем великолепии на ясном небе.

Тронулись в путь довольно поздно, так как это песчаное наводнение помешало нам выспаться.

Перед нами возвышалась горная цепь Джебель-Гада, через которую предстояло перейти. С правой стороны открывалось ущелье; мы шли вдоль хребта, пока не достигли прохода. Тут мы опять наткнулись на заросли альфы, ужасной альфы. Вдруг мне показалось, что я набрел на стершийся след дороги, на дорожную колею. Я остановился удивленный. Дорога? Здесь? Что за чудо! Мне тут же дали объяснение. Бывший каид этого племени, заразившись примером европейцев, живущих в Алжире, захотел побаловать себя в пустыне роскошью — каретой. Но чтобы ездить в карете, необходимы дороги, и потому сей мудрый правитель заставил в течение многих месяцев всех своих подданных трудиться над прокладкой пути. Несчастные арабы, работая без заступов, без лопат, без всяких орудий, рыли землю почти исключительно руками и, тем не менее, проложили дорогу длиною в несколько километров. Этого было достаточно для их владыки, и он стал кататься по Сахаре в необычайном экипаже вместе с туземными красавицами, за которыми он посылал в Джельфу своего фаворита, арабского юношу лет шестнадцати.

Надо видеть Алжир — страну обнищавшую, голую, разутую, надо знать арабов с их невозмутимой важ-

ностью, чтобы понять всю смехотворность этой картины: развратник и щеголь с ястребиным профилем катает по пустыне босоногих кокоток, усадив их в грубую деревянную повозку на разнокалиберных колесах, которую пустил во весь опор... его возлюбленный в роли кучера. Это щегольство под тропиками, этот разврат среди Сахары, этот шик в глубине Африки поразили меня своим незабываемым комизмом.

Наш отряд в то утро был многочислен. Кроме каида с сыном, нас сопровождали два всадника-туземца и худощавый старик с остроконечной бородой, крючковатым носом, крысиной физиономией, подобострастными манерами, согбенной фигурой и лживым взглядом. Это был тоже каид, прежний каид этого племени, смещенный за лихоимство. Он должен был служить нам проводником на следующий день, так как предстоящая нам дорога малоизвестна даже арабам.

Между тем мы понемногу приближались к выходу из ущелья. Отвесная скала закрывала вид, но как только мы ее обогнули, я остановился, пораженный неожиданностью, несомненно, самой сильной из всех испытанных мною за это путешествие.

Перед нами расстилалась широкая равнина, а за нею ослепительно сверкало под солнечными лучами озеро, огромное озеро, противоположный берег которого не был виден, уходя куда-то влево, а ближайший западный берег был почти прямо передо мною. Озеро в этой стороне, посреди Сахары? Озеро, о котором никто не сказал мне ни слова, о котором не упоминал ни один путешественник? Не сошел ли я с ума?

Я обратился к лейтенанту.

— Что это за озеро? — спросил я его.

Он засмеялся и ответил:

— Да это не вода, это соль. Впрочем, всякий ошибся бы, до того обманчив ее вид. Это озеро Себкра; его здесь называют Зар'эш (Зар'эш-Шерги), и оно имеет около пятидесяти — шестидесяти километров длины на двадцать, тридцать или сорок ширины в зависимости от места. Цифры, разумеется, приблизительные, так как через эту страну проезжают очень редко

и второпях, как, например, мы сейчас. От соляных озер (их два, другое дальше на западе) получил название и весь этот край, который зовут здесь Зар'эш. Начиная от Бу-Саады равнина носит название Ходна, по имени соляного озера, находящегося у Мсилы.

Я смотрел, удивленный, зачарованный, на громадную соляную скатерть, сверкавшую под яростным африканским солнцем. Вся эта ровная кристаллическая поверхность блестела, как зеркало необъятной величины, как кусок стали; для воспаленных глаз невыносим был блеск этого необычайного озера, хотя оно еще отстояло от нас километров на двадцать, чему с трудом можно было поверить, до того оно казалось мне близким.

Мы спустились по ту сторону Джебель-Гада и приблизились к заброшенной крепости под названием «Пост у источника» (Бордж-эль-Хаммам), где должны были сделать привал, так как переход против обыкновения был на этот раз очень короткий.

Крепость с зубчатыми стенами, построенная в начале покорения страны, чтобы можно было занять эту пустынную местность в случае восстания и разместить там отряд в относительной безопасности, ныне пришла в совершенный упадок. Сравнительно хорошо сохранилась, впрочем, крепостная стена, да несколько комнат поддерживались в годном для жилья виде.

Как и в предыдущие дни, к нам до самого вечера шли вереницы арабов, излагавших офицеру свои необыкновенно запутанные дела и воображаемые обиды единственно из желания поговорить с французским начальником.

Вокруг нас все время бродила какая-то сумасшедшая женщина; неизвестно было, откуда она взялась и каким образом существовала в этой безотрадной пустыне. Выходя из дома, мы всякий раз натыкались на ее полуголую, скорченную в странной позе, отталкивающую фигуру.

Поэтически настроенные путешественники много рассказывали об уважении, которым арабы окружают сумасшедших. Так вот вам пример такого уважения: сумасшедших убивают... их же родственники! В этом

признались нам многие каиды, прижатые к стене нашими расспросами. Иногда, действительно, какой-нибудь из этих несчастных и почитается за святого именно в силу своего слабоумия. Такие случаи не составляют исключения в Африке. Обычно же семья старается поскорее освободиться от сумасшедшего. А так как жизнь племени, управляемая туземными начальниками, остается скрытым от нас миром, мы чаще всего и не подозреваем о таких исчезновениях.

Днем я был в пути недолго и потому часть ночи провел за писанием. Было очень жарко, и около одиннадцати часов я вышел, чтобы разостлать ковер у двери и поспать под открытым небом.

Полная луна заливала пространство сияющим светом, от которого блестели, точно лакированные, все озаренные ею предметы. Горы, желтые и при свете солнца, желтые пески, желтый горизонт, были еще желтее под ласковым шафрановым сиянием ночного светила.

Там, передо мною, Зар'эш, обширное озеро окаменевшей соли, казалось раскаленным добела. От него словно исходил фантастический, фосфоресцирующий свет, который зыбился сверкающей сказочной дымкой; это зрелище было так необычайно, так нежно, так пленительно для глаз и воображения, что я больше часу любовался им, не решаясь закрыть глаза.

А повсюду вокруг меня бурнусы уснувших арабов тоже сверкали под лаской луны и казались громадными хлопьями белого снега.

На рассвете мы тронулись в путь.

Равнина по дороге в Себкру была слегка полога и усеяна худосочными, ржавыми кустиками альфы. Старый араб с крысиным лицом шел впереди, мы следовали за ним скорым шагом. Чем ближе мы подходили к соленому озеру, тем полнее была иллюзия. Разве это не вода, не огромная водная поверхность? С левой стороны она занимала в ширину все пространство между двумя горами, то есть от тридцати до сорока километров. Мы шли прямо к озеру, так как намеревались пересечь его в самом узком месте.

По другую сторону Зар'эша я различал нечто вроде золотисто-желтого холма, или, вернее, вала, кото-

рый как бы отделял озеро от горы. По левую руку от нас эта линия тянулась вдоль белой полосы соли до самого горизонта; по правую руку, где расстилалась бесконечная, голая, зажатая между двумя горами равнина, я видел ту же желтую черту, теряющуюся вдали. Лейтенант сказал мне:

— Это дюны. Эта песчаная полоса тянется больше чем на двести километров, причем ширина ее все время меняется. Мы завтра перейдем ее.

Почва становилась какой-то странной и была покрыта корочкой селитры, которую разбивали копыта лошадей. Стали попадаться травы, тростники; чувствовалось, что где-то невдалеке расстилается водная гладь. Эта равнина, замкнутая горами, впитывающая четыре реки (пересыхающие реки), служащая стоком для неистовых зимних ливней, превратилась бы в огромное болото, если б не свирепое солнце, иссушающее, несмотря ни на что, ее поверхность. Иногда в углублении почвы виднелись мутные лужи солоноватой воды, и гаршнепы взлетали перед нами, быстро описывая характерные для них петли.

Вдруг мы очутились на самом берегу Себкры и двинулись по этому высохшему океану.

Все белело снежно-серебристой, воздушно-легкой, переливчатой белизной. И даже продвигаясь по кристаллической поверхности, занесенной, точно легким снегом, соленою пылью, поддающейся под ногами лошадей, как рыхлый лед, мы все еще не могли отделаться от странного впечатления, что перед нами водная гладь. Одно только разве доказывало опытному глазу, что это не водная поверхность: горизонт. Обычно черта, отделяющая воду от неба, ясно видна, так как цвет воды бывает несколько темнее. Правда, подчас все как будто стушевывается; море приобретает тогда окраску и неопределенность тающей голубой дымки, которая теряется в бледнеющей синеве бездонного неба. Но стоит приглядеться внимательно в течение нескольких мгновений, чтобы все же различить линию раздела, как она ни бледна и ни затуманена. Здесь же ничего нельзя было увидеть: горизонт был скрыт белым туманом, каким-то молочным паром, непередаваемо лег-

ким, ласкающим взор, и мы искали земную грань в воздушном пространстве или она чудилась нам гораздо ниже, посреди соляной пустыни, над которой колыхались эти белесые странные облака.

Пока мы были над Зар'эшом, у нас оставалось точное представление о расстояниях и предметах, но как только очутились внизу, наши зрительные впечатления потеряли всякую отчетливость; нас внезапно окутала фантасмагория миража.

Порою горизонт, казалось, отходил от нас необычайно далеко, и посреди застывшего озера, которое только что представлялось нам ровным, гладким и плоским, как зеркало, вырастали причудливые громадные скалы, непомерно большие тростники, острова с утесистыми берегами. Затем, по мере того как мы приближались, эти странные видения разом исчезали, точно театральная декорация, а на месте нагроможденных скал обнаруживалось несколько мелких камешков. Тростники при ближайшем рассмотрении превращались в засохшие травы, вышиною с вершок, выросшие до невероятной величины благодаря любопытному оптическому обману. Крутые берега становились небольшими буграми соляной коры, а горизонт, который, казалось, лежал на расстоянии тридцати километров, затягивался не дальше как в ста метрах завесою зыбкого тумана, поднимавшегося над раскаленными пластами соли под действием жестокого солнца пустыни.

Так продолжалось около часа, потом мы достигли другого берега.

Сначала мы пересекли небольшую поляну, изрытую дождевыми потоками, покрытую корой пересохшей глины с примесью селитры.

Мы ехали по едва ощутимому склону. Показались травы, за ними нечто вроде камышей, потом мелкие голубые, напоминающие полевую незабудку цветочки на высоких тоненьких, как нити, стебельках, такие душистые, что все кругом благоухало. Этот нежный запах произвел на меня впечатление освежающей ванны. Мы глубоко вдыхали его, и грудь точно расширялась, впивая этот упоительный аромат.

Наконец перед нами предстал ряд тополей, целая тростниковая роща, дальше — другие деревья, а за ними наши шатры, раскинутые на границе зыбучих песков, неровные волны которых, вздыбившись, застыли на высоте восьми — десяти метров.

Зной становился невыносимым, усиливаясь, без сомнения, от отраженных Себкрой лучей. В шатрах, душных, как баня, оставаться было невозможно, и, едва сойдя с лошади, мы отправились искать тени под деревьями. Сначала надо было пройти сквозь рощу тростников. Я шел впереди и вдруг пустился в пляс, испуская радостные крики. Я увидел перед собой виноградные лозы, абрикосовые, финиковые, гранатовые деревья, усыпанные плодами, ряд фруктовых садов, некогда цветущих, а теперь занесенных песком; они принадлежали джельфскому аге. Завтрак без жареной баранины! Какое счастье! Без кус-куса! Какое блаженство! Виноград! винные ягоды! абрикосы! Все это не вполне созрело, но что за беда,— это была настоящая оргия, сошедшая, помнится, не вполне безболезненно. Что касается воды, то она оставляла желать многого. Это была жидкая грязь, в которой плавали личинки. Ее, конечно, совсем не пили.

Все забрались в тростник и заснули. Внезапно я вскочил от ощущения холода: громадная лягушка пустила мне в лицо струю воды. В этих краях следует быть начеку и неблагоразумно спать таким вот образом в редко встречающихся зарослях, особенно вблизи песков, где во множестве водится лефа, прозванная рогатой гадюкой, укус которой смертелен и действует почти мгновенно. Агония в большинстве случаев не длится и часа. Впрочем, эта змея сама по себе очень ленива и становится опасной, только если на нее случайно наступить или лечь поблизости. Найдя ее на дороге, можно даже при некотором навыке и осторожности взять ее в руки, быстро схватив за голову позади ушей.

Я лично воздержался от такого эксперимента.

Это маленькое страшное животное живет и в альфе и среди камней — всюду, где может найти себе приют. Когда впервые ложишься спать на земле, мысль об этом пресмыкающемся сильно тревожит, но потом о

нем думаешь меньше, а под конец и совсем забываешь. Что касается скорпионов, то к ним относятся с полным пренебрежением. Они там так же обычны, как у нас пауки. Когда скорпиона обнаруживали около нашей стоянки, его обкладывали сухой травой и поджигали. Обезумевшее насекомое, чувствуя близкую гибель, поднимало хвост, загибало его над головой и само наносило себе смертельный укол. По крайней мере, меня уверяли, что скорпион себя убивает, я же видел лишь, как он погибал в пламени.

Вот при каких обстоятельствах я впервые увидел рогатую гадюку.

Однажды в полдень, когда мы проезжали через огромную равнину, заросшую альфой, моя лошадь стала вдруг проявлять явные признаки беспокойства. Она опускала голову, фыркала, останавливалась, косилась на каждый куст. Признаюсь, я очень плохой наездник, а от этих внезапных остановок я не только всякий раз натыкался животом на огромную острую луку арабского седла, но и боялся окончательно потерять равновесие. Лейтенант, мой спутник, хохотал от души. Вдруг лошадь моя сделала скачок и уперлась на месте, разглядывая на земле что-то такое, чего я не мог различить. Предчувствуя катастрофу, я предпочел слезть и стал искать причину ее испуга. Передо мной был тощий куст альфы. Я на всякий случай ударил по нему палкой; оттуда выползла какая-то змейка и исчезла в соседнем кусте.

Это была лефа.

В тот же вечер на скалистой и голой равнине лошадь моя снова шарахнулась в сторону. Я спрыгнул на землю в уверенности, что увижу опять рогатую гадюку. Но ничего не нашел. Когда же я сдвинул с места ближайший камень, из-под него выбежал длинноногий паук песочного цвета, ловкий и необыкновенно проворный, и исчез под скалой, прежде чем я успел его поймать. Подошедший ко мне спаги назвал его «ветровым скорпионом» — образный термин, подчеркивающий его прыть. По-моему, это был тарантул.

Как-то раз, ночью, во время сна, что-то леденящее коснулось моего лица. Я вскочил в испуге: но песок, шатер — все терялось во мраке, и я различал только

большие белые пятна — арабов, спавших вокруг нас. Не укусила ли меня лефа, проползшая мимо меня? Или, быть может, скорпион? Откуда это холодное прикосновение? Взволнованный, я зажег фонарь и стал оглядывать землю, подняв ногу для удара; тут я увидел перед собой безобразную жабу, одну из тех фантастических белых жаб, что водятся в пустыне: она смотрела на меня, раздув брюхо и расставя лапы. Отвратительная тварь, видимо, пробиралась своей обычной дорогой и случайно задела меня по щеке.

В отместку я заставил ее выкурить папиросу, от чего она тут же околела. Вот как это делается: насильно открывают ее узкую пасть, суют в нее конец скрученной тонкой бумаги, набитой табаком, и зажигают сигарету с другого конца. Жаба, задыхаясь, пыхтит изо всей силы, чтобы избавиться от этого орудия пытки, но волей-неволей ей приходится втянуть в себя воздух. Тогда животное опять начинает пыхтеть, раздуваясь, умори-тельно задыхаясь; но ему приходится выкурить сигарету до конца, разве что над ним сжалятся. Обыкновенно жаба околевает от удушья, раздувшись, как шар.

В качестве особого вида спорта, который можно наблюдать в Сахаре, иностранцам часто показывают поединок между лефой и вараном.

Кто из нас не встречал на юге Франции маленьких бесхвостых ящериц, бегающих вдоль старых каменных стен? Прежде всего спрашиваешь себя: в чем тут секрет, почему они без хвоста? Но вот однажды вы читаете в тени изгороди и вдруг видите, что из расщелины стены выползает уж и бросается на безвредного милого зверька, греющегося на камне. Ящерица спасается бегством, но уж, более проворный, хватает ее за хвост, за длинный извивающийся хвост, и половина его остается в острых зубах врага, а изуродованное животное исчезает в какой-нибудь щели.

Так вот варан, тот самый земноводный крокодил, о котором упоминается у Геродота, разновидность большой ящерицы, живущей в Сахаре, мстит за свою породу страшной лефе.

Бой между этими животными чрезвычайно интересен. Его устраивают обычно в старом ящике из-под мы-

ла. Туда сажают варана, который начинает метаться с необыкновенной быстротой, ища выхода, но как только в ящик вытряхнут из мешочка змею, он затихает. Лишь глаза его так и бегают. Потом он делает несколько проворных движений, как бы скользя навстречу неприятелю, затем снова выжидает. Лефа со своей стороны наблюдает за ящерицей, чует опасность и готовится к бою; потом одним броском кидается на врага. Но варан уже далеко, он несется, как стрела, за ним едва можно уследить. Теперь настает его очередь, и, метнувшись назад, он нападает с поразительной быстротой. Лефа оборачивается и протягивает маленькую раскрытую пасть, готовясь поразить его своим смертоносным укусом. Но враг, задев змею, уже ускользнул на недосягаемое расстояние в противоположный конец ящика и снова смотрит на нее оттуда.

И так продолжается четверть часа, двадцать минут, иногда и дольше. Лефа, вне себя, свирепеет, подползает к варану, который постоянно убегает, так проворно, что за ним и глазом не поспеешь, или возвращается, кружится, останавливается и ускользает вновь, доводя своего опасного противника до потери сил, до бешенства. Затем вдруг, выбрав минуту, он стремительно бросается на лефу, и видишь уже только, как корчится змея, схваченная сильной треугольной челюстью ящерицы за шею позади ушей, как раз за то место, за которое ее берут арабы.

Глядя на борьбу этих маленьких животных на дне ящика из-под мыла, невольно думаешь о бое быков в Испании в величественных цирках. Однако опаснее было бы потревожить этих ничтожных на вид бойцов, чем столкнуться с яростью громадного ревущего животного, вооруженного острыми рогами.

В Сахаре часто можно встретить змею отвратительного вида, длиной нередко больше метра и не толще мизинца. В окрестностях Бу-Саады это безобидное пресмыкающееся внушает арабам суеверный ужас. По их уверениям, эта змея, как пуля, пробивает самое твердое тело, и ничто не может устоять перед ней, когда она прыгнет, завидев какой-нибудь блестящий предмет. Один араб рассказывал мне, что брат его был пронзен такой змеею, которая заодно погнула и его стремя. Оче-

видно, этот человек был прострелен пулей в ту самую минуту, когда увидел вблизи гадину.

В окрестностях же Лагуата такие змеи, напротив, не внушают никакого страха, и дети ловят их руками.

Мысль об этих ужасных обитателях пустыни некоторое время мешала мне спать в тростниковых зарослях Райян-Шерги. Услышав малейший шорох, я тут же вскакивал.

Приближался вечер; я разбудил своих спутников, чтобы прогуляться по дюнам и попробовать отыскать лефу или же песочную рыбу.

Животное, именуемое песочной рыбой и прозванное арабами dwb (произносится «доб»),— другая разновидность большой ящерицы. Она живет в песке, вырывает в нем себе нору и, говорят, довольно приятна на вкус. Мы часто нападали на ее след, но поймать ее так и не удавалось. В песке водится еще одно крошечное насекомое, отличающееся очень своеобразным нравом,— муравьиный лев. Он роет воронку чуть пошире монеты в сто су и соответствующей глубины, а затем садится на дно в засаду. Едва только какое-нибудь насекомое — паук, личинка или другая букашка — подползет к обрывистому краю его норы, он забрасывает свою жертву песком, оглушает, ослепляет ее, и она скатывается на дно воронки. Тут он схватывает ее и поедает.

В этот день муравьиный лев был нашим главным развлечением. Вечером, по обыкновению, последовали жареный барашек, кус-кус и кислое молоко. Теперь, когда наступает время обеда, я часто мечтаю об Английском кафе.

Затем мы улеглись на коврах перед шатрами, так как из-за жары оставаться внутри было невозможно. И мы наблюдали странное соседство двух явлений: зыбких, подобно волнующемуся морю, песков впереди нас и гладкой, подобно спокойному морю, поверхности соли позади.

На следующий день мы перешли через дюны. Казалось, что это океан, воды которого в разгар урагана обратились в песчаную пыль; казалось, что это — безмолвное бушевание громадных неподвижных волн желтого песка. Они высоки, как холмы, эти волны, неров-

ные, непохожие одна на другую; они вздымаются, совсем как бушующие валы, но еще выше их, и отливают муаром. А на это разъяренное, немое и недвижное море льет свой безжалостный, неотразимый огонь всепожирающее южное солнце.

Надо взбираться по этим холмам золотого пепла, скатываться вниз, взбираться снова, взбираться неустанно, не зная отдыха и нигде не находя тени. Лошади тяжело дышат, проваливаются по колено или скользят, спускаясь по склонам этих удивительных гор.

Мы молчали, измученные зноем и жаждой, как сама знойная пустыня.

Иногда, говорят, среди этих песчаных холмов вас поражает необъяснимое явление, которое арабы считают верным предзнаменованием смерти.

Подле вас, неизвестно где, бьет барабан, таинственный барабан дюн. Он бьет отчетливо, то громче, то тише, то замолкая, то опять возобновляя свой фантастический грохот.

Причины этого поразительного шума никто, кажется, не знает. Его приписывают эху, которое усиливает, многократно повторяет и непомерно увеличивает благодаря волнистой поверхности дюн шорох песчинок, уносимых ветром и ударяющихся о заросли высохших трав; и действительно, это явление неизменно повторяется по соседству с сожженными на солнце растениями, затвердевшими, как пергамент.

Следовательно, этот барабанный бой не что иное, как своего рода звуковой мираж.

Выйдя из полосы дюн, мы увидели трех всадников, скачущих нам навстречу. На расстоянии ста шагов первый из них спешился и подошел к нам, немного прихрамывая. Это был человек лет шестидесяти, довольно полный (что редкость в этих краях), с резкими чертами, суровым, почти свирепым лицом арабского типа, изборожденным морщинами. Он носил орден Почетного легиона. Его звали Си-Шерид-бен-Вабейци, каид племени улад-диа.

Он произнес длинную речь, сердито приглашая нас войти к нему в шатер и подкрепиться.

Впервые пришлось мне проникнуть в жилище вождя кочевников.

Груда богатых пышных ковров устилала пол. Другие ковры висели, прикрывая голые матерчатые стены; третьи, натянутые над головой, образовали плотный непроницаемый потолок. Сиденья вроде диванов или, скорее, тронов тоже были покрыты восхитительными тканями; перегородка из восточной материи, делившая шатер пополам, отгораживала нас от половины, занимаемой женщинами, и порой было слышно, как они перешептывались.

Мы уселись. Двое сыновей каида расположились рядом с отцом; по временам он вставал, кратко обращался к кому-то поверх перегородки, и невидимая рука передавала ему дымящееся блюдо, которое вождь тотчас же ставил перед нами.

Слышно было, как маленькие дети играли и кричали около матерей. Что это были за женщины? Они, должно быть, рассматривали нас сквозь незаметные щели, но мы не могли их видеть.

Арабские женщины в большинстве случаев маленького роста, кожа у них молочно-белая, а лицо смиренной овечки. Они стыдливы только в отношении своего лица. Часто встречаешь женщин из народа, идущих на работу с тщательно закутанными лицами, но тело у них покрыто только двумя шерстяными полотнищами, которые висят одно спереди, другое сзади и позволяют видеть сбоку всю фигуру.

В пятнадцать лет эти бедняжки, которые могли бы быть красавицами, уже обезображены, изнурены тяжелым трудом. С утра до ночи трудятся они не покладая рук и ходят за водой с ребенком на спине за несколько километров. В двадцать пять лет они выглядят старухами.

Лицо у них, которое удается иногда увидеть, татуировано голубыми звездами на лбу, на щеках и на подбородке. Волосы на теле уничтожаются ради опрятности. Видеть жен богатых арабов удается очень редко.

Подкрепившись, мы сейчас же отправились в путь и вечером уже были у соляной скалы Ханг-эль-Мелах.

Это нечто вроде горы, не то серой, не то зеленой, не то голубой, с металлическим отблеском, очень оригинальной формы. Гора из соли! У ее подножия бьют

источники, более соленые, чем вода в океане, и, испаряясь от безумного солнечного зноя, оставляют на земле белую накипь, соляной налет, похожий на пену морской волны. Самой земли не видно, она скрыта под тонким порошком, словно какой-нибудь великан шутки ради стал тереть гору на терке и рассыпал этот порошок повсюду вокруг. Во впадинах валяются большие оторвавшиеся глыбы, глыбы соли!

Под этой необычайной скалой, говорят, образовались очень глубокие колодцы, в которых живет множество голубей.

На следующий день мы были в Джельфе.

Джельфа — скверненький городишко французского типа, но он служит местом жительства симпатичнейшим офицерам, и благодаря им там можно отлично провести время.

После короткого отдыха мы опять пустились в путь.

Мы снова возобновили наше длинное путешествие по длинным голым равнинам. Время от времени нам попадались навстречу стада. То это были целые полчища овец песочного цвета, то вдруг на горизонте вырисовывались странные животные, которые издали казались маленькими; их можно было принять по горбатым спинам, по длинным изогнутым шеям и по медленной походке за стаю крупных индюков. Затем, подойдя ближе, мы узнавали верблюдов, животы которых, раздувшиеся, как двойной пузырь, как огромные мехи, вмещают до шестидесяти литров воды. Верблюды тоже цвета пустыни, как и все существа, рожденные в этих желтых просторах. Лев, гиена, шакал, жаба, ящерица, скорпион, даже сам человек принимают здесь разные оттенки раскаленной почвы, от огненно-рыжего цвета движущихся дюн до каменной серости гор. А маленький жаворонок пустыни до того сходен по цвету с пыльной землей, что его видно только тогда, когда он взлетает.

Чем живут в этих бесплодных краях животные? Ведь они все-таки живут.

В период дождей здешние равнины покрываются за несколько недель травами, затем солнце за несколько дней иссушает, выжигает всю эту скороспелую растительность. Тогда растения сами приобретают цвет поч-

вы; они ломаются, крошатся, рассыпаются по земле, похожие на мелко изрубленную солому. Но стада умеют находить этот корм и питаются им. Они бродят повсюду, разыскивая порошок из сухих трав. Может показаться, что они гложут камни.

Что подумал бы нормандский фермер при виде столь своеобразного пастбища?

Затем мы прошли через такую область, где даже не встретишь птиц. Источников уже нельзя было найти.

Мы наблюдали, как вдали двигались странные маленькие столбы пыли, похожие на дым, то вертикальные, то наклонные, то спиральные, вышиной в несколько метров, широкие сверху и узкие у основания, быстро бегущие по земле.

Движение воздуха, образуя воронки, поднимает и мчит эти прозрачные, прямо-таки фантастические облака пыли, которые одни лишь вносят оживление в безнадежно пустынные равнины.

В пятистах метрах впереди нашего маленького отряда ехал всадник, наш проводник, который вел нас по угрюмой и голой пустыне. Минут десять он ехал шагом, неподвижно сидя в седле, распевая на своем языке тягучую песню, очень своеобразную по ритму. Мы ехали тем же аллюром. Потом вдруг он пускался рысью, чуть подскакивая в седле в своем развевающемся бурнусе, выпрямивши корпус, стоя на стременах. И мы пускались за ним, пока он не останавливался, чтобы перейти на более медленный ход.

Я спросил соседа:

— Как может проводник вести нас через эту пустыню, где нет никаких знаков, указывающих дорогу?

Он мне ответил:

— Были бы только кости верблюдов.

И действительно, почти через каждые четверть часа мы натыкались на кучу громадных костей, обглоданных зверями, обожженных солнцем, выделявшихся белым пятном на песке. Иногда это была часть ноги, иногда часть челюсти, иногда кусок позвоночника.

— Откуда все эти останки? — спросил я.

Мой собеседник ответил:

— Караваны бросают по дороге животных, которые не в силах идти дальше, а шакалы растаскивают не все кости.

В течение нескольких дней мы продолжали это однообразное путешествие, следуя за тем же арабом, в том же порядке, все время верхом, почти не разговаривая.

И вот однажды после полудня, в тот день, когда мы должны были добраться до Бу-Саада, я увидел далеко впереди нас коричневую тушу, впрочем, сильно увеличенную миражем, форма которой меня удивила. При нашем приближении с нее взлетели два ястреба. Это была падаль, осклизлая, несмотря на жару, покрытая блестевшей на солнце запекшейся кровью. Оставалось одно туловище: конечности, видимо, были унесены прожорливыми истребителями мертвечины.

— Впереди нас едут путешественники,— сказал лейтенант.

Несколько часов спустя мы вошли в нечто вроде глубокого оврага или ущелья — в ужасающее пекло между рядами скал, зубчатых, как пила, острых, угрожающих, возмутившихся, казалось, против немилосердно жестокого неба. Здесь опять валялся труп. Глодавший его шакал убежал при нашем приближении.

Затем, когда мы опять выходили на равнину, какая-то серая масса, лежащая впереди, зашевелилась, и я увидел, как голова издыхающего верблюда медленно приподнялась на непомерно длинной шее. Вероятно, он валялся здесь уже дня три-четыре, погибая от усталости и жажды. Его длинные ноги, как будто переломленные, безжизненные, разбитые, неподвижно лежали на огненной почве. Заслышав наше приближение, он поднял голову, как сигнальный фонарь. Его лоб, спаленный безжалостным солнцем, обратился в сплошную кровоточащую рану. Верблюд проводил нас покорным взглядом. Он не издал ни звука, не сделал ни одного усилия, чтобы подняться. Казалось, он все понимал и, помня, как умирали подобным же образом многие из его братьев в своих странствиях по пустыням, хорошо знал бессердечие людей. Теперь его черед — вот и все. Мы прошли мимо.

И, спустя долгое время, обернувшись назад, я все еще различал поднимавшуюся над песком длинную шею покинутого животного, следившего, как исчезают на горизонте последние живые существа, которых ему суждено было видеть. А еще через час мы заметили прижавшуюся к скале собаку, с открытой пастью, с оскаленными зубами; она не могла пошевелить даже лапой, и взгляд ее был прикован к двум ястребам, которые невдалеке чистили себе перья в ожидании ее смерти. Она была охвачена таким ужасом перед терпеливыми птицами, жадными до ее мяса, что не повернула даже головы и не заметила камней, которые бросал в нее один из спаги, проезжая мимо.

И вдруг по выходе из следующего ущелья я увидел перед собой оазис.

Это была незабываемая картина. Вы только что прошли через бесконечные равнины, пробирались по островерхим, оголенным, выжженным горам, не встретив ни единого дерева, ни единого растения, ни единого зеленого листка,— и вот перед вами, у ваших ног, сплошная масса темной зелени, словно озеро почти черной листвы, раскинувшееся среди песков. А дальше, за этим большим пятном, опять начинается пустыня, уходя в бесконечную даль, к неуловимой линии горизонта, где она сливается с небом.

Город спускается по склону до самых садов.

Ну и города же — эти поселения в Сахаре! Какое-то нагромождение кубиков прязи, высушенных солнцем. Все эти четырехугольные лачуги из затвердевшего месива лепятся одна к другой, так что между их прихотливыми рядами едва остается нечто вроде узких галерей, и эти улицы подобны тем ходам, какие прокладывают животные, утаптывая землю там, где они постоянно пробираются.

Да, впрочем, и все эти поселения, жалкие, слепленные из глины, похожи на постройки каких-то животных, на жилища бобров, на бесформенные сооружения, сработанные без инструментов, теми способами, которые природа предоставляет существам низшего порядка.

То здесь, то там великолепная пальма распускает свою верхушку метрах в двадцати над землей. Потом

вдруг попадаешь в лес, аллеи которого заключены между двумя высокими глиняными стенами. Направо и налево множество финиковых пальм раскрывают свои широкие зонтики над садом, защищая их густой и свежей листвой нежные плодовые деревья. Под прикрытием этих гигантских пальм, колышимых ветром, как огромные опахала, произрастают абрикосовые, фиговые, гранатовые деревья, виноград и превосходные овощи.

Речная вода, собираемая в глубоких водохранилищах, распределяется среди обитателей, как газ в наших краях. Строгая администрация ведет учет воды на каждого жителя, который пользуется источником при помощи желобов в течение одного или двух часов в неделю, в зависимости от размеров своего владения.

Богатство каждого определяется количеством пальм. Эти деревья, хранители жизни, защитники влаги, подножием своим постоянно погружены в воду, тогда как чело их купается в пламени.

Долина Бу-Саада, по которой река протекает к садам, прекрасна, как пейзажи сновидений. Заросшая финиковыми пальмами, фиговыми деревьями, великолепными мощными растениями, она расстилается между двух гор с красными вершинами. Всюду вдоль быстрой речки арабские женщины с покрытыми лицами и голыми ногами стирают белье, приплясывая на нем. Они сваливают его в кучу в воде и топчут ногами, грациозно покачиваясь.

Река течет быстро и шумит на всем протяжении долины. По выходе из оазиса она еще полноводна; но пустыня, которая ее подстерегает, желтая и томимая жаждой пустыня, выпивает всю воду сразу тут же за оградой садов, внезапно поглощая речку своими бесплодными песками.

Когда при закате солнца взбираешься на мечеть, чтобы полюбоваться общим видом города, открывается одна из самых необычайных картин. Плоские четырехугольные крыши образуют как бы лестницу слепленных из глины шахматных досок или грязных платков. На крышах лачуг кишит все население, которое вылезает на них, как только наступает вечер. На улицах

никого не видно, ничего не слышно; но стоит вам взглянуть сверху на крыши — и перед вами откроется необыкновенно оживленное зрелище. Готовят ужин. Кучи ребят в белых лохмотьях копошатся во всех углах; арабские женщины из народа, похожие на бесформенные свертки грязного тряпья, варят кус-кус или заняты какой-нибудь другой домашней работой.

Наступает ночь. Тогда на крыше расстилают джебельамурские ковры, тщательно очистив ее от скорпионов, которые во множестве плодятся в таких лачугах; затем вся семья засыпает на открытом воздухе под мириадами сверкающих звезд.

Оазис Бу-Саада хотя и небольшой, но один из самых очаровательных в Алжире. В окрестностях можно охотиться на газелей, которые водятся там во множестве. Часто попадается также страшная лефа и даже отвратительный длинноногий тарантул, огромную бегущую тень которого по вечерам можно увидеть на стенах хижин.

В этом ксаре ведется довольно значительная торговля, так как неподалеку проходит мзабская дорога. Мозабиты и евреи — единственные торговцы, единственные купцы, единственные промышленники во всей этой части Африки.

Путешествуя по югу страны, наблюдаешь евреев в такой отвратительной роли, что становятся понятны и жестокая ненависть к этим людям со стороны некоторых народов и даже недавние избиения. Европейские евреи, евреи, живущие в столице Алжира, евреи, которых мы знаем, с которыми встречаемся каждый день, наши соседи и друзья,— люди культурные, образованные, интеллигентные, часто обаятельные. И мы страстно возмущаемся, когда узнаем, что жители какого-нибудь неизвестного, отдаленного городка перерезали и утопили несколько сот детей Израиля. Теперь я больше не удивляюсь этому, так как наши евреи ничуть не похожи на тамошних.

В Бу-Сааде можно видеть, как они сидят на корточках в грязных лачугах, заплывшие жиром, зловещие, подстерегая араба, как паук муху. Они зазывают его к себе и навязывают ему взаймы сто су под расписку. Араб сознает опасность, колеблется, отказывает-

ся, но его терзает желание выпить и еще другие желания. Для него эти сто су таят в себе столько наслаждений.

В конце концов он сдается, берет серебряную монету и подписывается на засаленной бумажке.

Через три месяца он будет должен заимодавцу десять франков, через год — сто франков, через три года — двести франков. Тогда еврей продаст его землю, если таковая есть, а если нет, то верблюда, лошадь, осла — словом, все его имущество.

Начальники, каиды, аги и бах-аги — тоже попадают в когти этих хищников, которые являются бичом, язвой нашей колонии, большой помехой для проникновения цивилизации и для благосостояния арабов.

Когда французские войска отправляются усмирять какое-нибудь непокорное племя, множество евреев следует за ними, покупая за бесценок отобранное добро и перепродавая его арабам, как только удалится военный отряд.

Если случается, например, захватить в какой-нибудь области тысяч шесть овец, что делать с животными? Гнать их в города? Они передохнут в пути. Да и чем их кормить, чем поить на предстоящем перегоне в двести — триста километров по бесплодной земле? И потом, чтобы гнать и охранять такой караван, потребовалось бы людей вдвое больше, чем в самом отряде.

В таком случае убивать их? Бесполезное избиение и какой убыток! И вот евреи уже тут как тут, они предлагают скупить по два франка за штуку овец, стоящих по двадцати. Что ж, все-таки казна выручит хотя бы двенадцать тысяч франков. На продажу соглашаются.

Неделю спустя прежние владельцы опять приобретают своих овец по три франка за штуку. Месть французов недорого стоит.

Евреи — хозяева всего юга Алжира. И действительно, нет араба, у которого не было бы долгов, так как арабы не любят возвращать занятых денег. Они предпочитают переписать вексель из расчета ста и даже двухсот процентов. Арабу кажется, что он спасается,

оттягивая время. Нужен был бы специальный закон, чтобы изменить это плачевное положение.

Впрочем, всюду на юге евреи заняты исключительно ростовщичеством в самых бесчестных формах, какие только возможны; настоящие же коммерсанты — это мозабиты.

Когда приезжаешь в какое-нибудь селение в Сахаре, сразу же замечаешь там особую породу людей, захвативших в свои руки все местные дела. Лавки держат только они; они торгуют и европейскими товарами и товарами местного производства; они смышлены, деятельны, коммерсанты по духу. Это бени-мзаб, или мозабиты. Их прозвали «евреями пустыни».

Араб, настоящий араб, житель шатра, считающий всякий труд позорным, презирает коммерсанта-мозабита, но в определенные сроки приходит за запасами к нему в лавку, а также поручает ему на хранение ценные вещи, которые не может брать с собою во время кочевья. Между ними существует своего рода постоянный договор.

Мозабиты захватили всю торговлю Северной Африки. Их встречаешь как в наших городах, так и в селениях Сахары. Накопив состояние, купец возвращается в Мзаб, где должен подвергнуться своего рода очищению, чтобы быть восстановленным в своих политических правах.

Эти арабы, которых можно распознать по их фигуре, более низкорослой и коренастой, чем у других арабских племен, по их лицу, большею частью плоскому и очень широкому, по толстым губам и по глазам, обычно глубоко сидящим под прямыми и очень густыми бровями, являются схизматиками мусульманства. Они принадлежали к одной из трех диссидентских сект Северной Африки и, по мнению некоторых ученых, являются потомками последних приверженцев хариджизма.

Страна этого народа — может быть, самая своеобразная на всей африканской земле.

Отцы их, изгнанные из Сирии мечом пророка, переселились в Джебель-Нефусу, к западу от берберийского Триполи.

Но последовательно вытесненные изо всех мест, где бы они ни устраивались, вызывая повсюду зависть своей смышленостью и ловкостью, окруженные подозрительностью, как иноверцы, мозабиты обосновались наконец в самом бесплодном, в самом знойном, в самом ужасном крае. Он называется по-арабски Хаммада (раскаленный) и Шебка (сеть), потому что похож на огромную сеть из скал и черных камней.

Страна мозабитов находится километрах в полутораста от Лагуата.

Вот как майор Коин, человек, превосходно знающий весь южный Алжир, описывает в интереснейшей брошюре свой приезд в Мзаб:

«Приблизительно по средине Шебки находится нечто вроде котловины, ограниченной цепью блестящих известняковых скал с почти отвесными внутренними склонами. С двух сторон, с северо-запада и с юга, имеются две расщелины, через которые протекает уэд Мзаб. В этой котловине, длиною километров в восемнадцать и шириной не больше двух, лежат пять городов округа Мзаб и земли, возделываемые жителями этой долины исключительно под сады.

«Извне, с северной и восточной стороны, этот скалистый пояс выглядит беспорядочным многоярусным нагромождением четырехугольных надгробных камней, словно громадный арабский некрополь. Сама природа кажется мертвой. Нет никакой растительности, которая бы радовала взор: хищные птицы — и те, казалось, избегают эти безотрадные места. Только лучи неумолимого солнца, озаряя серовато-белую поверхность скал, отбрасывают тени самых причудливых очертаний.

«Каково же должно быть удивление,— я бы сказал, даже восторг,— путешественника, когда, взобравшись на гребень этой гряды утесов, он обнаруживает внутри нее пять многолюдных городов, окруженных садами с пышной растительностью, выделяющихся своей темно-зеленой окраской на красноватом фоне уэд-мзабского русла.

«Вокруг котловины — голая пустыня, смерть; внутри ее, у подножия скал,— жизнь и явные признаки развитой цивилизации».

Мзаб — это республика или, вернее, коммуна, вроде гой, которую пытались основать в 1871 году парижские революционеры.

Никто во Мзабе не имеет права оставаться без дела: ребенок, как только он может ходить и нести что-нибудь, уже помогает отцу в поливке садов, составляющей постоянное и важнейшее занятие жителей. С утра до вечера мул или верблюд вытягивает в кожаном ведре воду, которую затем выливают в желоб, искусно устроенный таким образом, что не пропадает ни одна капля драгоценной влаги.

В Мзабе, кроме того, насчитывается значительное количество запруд для собирания дождевой воды. Эта республика, стало быть, бесконечно далеко опередила наш Алжир.

Дождь! Для мозабитов это счастье, источник благополучия, спасение урожая. Поэтому, как только начинаются ливни, жителей охватывает какое-то безумие. Они высыпают на улицы, стреляют из ружей, поют, бегут в сады, к реке, вновь начинающей течь, и к плотинам, забота о которых лежит на обязанности всех граждан. Как только какой-нибудь плотине угрожает опасность, все население должно немедленно туда бежать.

Неустанный труд людей, их разум, их мастерство превратили самую дикую и безотрадную часть Сахары в цветущий край, где возделанные земли ожили и семь богатых городов раскинулись под лучами солнца.

Поэтому мозабиты ревниво оберегают свою родину и по мере возможности запрещают европейцам туда проникать. В некоторых городах, как, например, Бени-Исгеме, иностранец не имеет права даже переночевать.

Полицейские обязанности исполняются здесь всеми. В случае необходимости никто не откажется оказать вооруженную помощь. В этой стране нет ни бедных, ни нищих. Нуждающиеся получают поддержку от своих фракций.

Почти все умеют читать и писать.

Повсюду здесь видишь школы, крупные коммунальные постройки. И многие мозабиты, прожив некоторое

время в наших городах, возвращаются к себе со знанием французского, итальянского и испанского языков.

Брошюра майора Коина содержит множество поразительных подробностей об этом любопытном народе.

В Бу-Сааде, как и по всем оазисам и городам, в руках мозабитов находится торговля и обмен, они держат всевозможные лавки и занимаются всякого рода профессиями.

Пробыв четыре дня в этом городке Сахары, я пустился в обратный путь по направлению к побережью.

Горы, встречающиеся по дороге к морю, имеют необычайный вид. Они напоминают чудовищные крепости, зубчатые стены которых тянутся на целые километры. Это правильной формы параллелепипеды, высеченные с математической точностью. Самая высокая из них — с плоской вершиной и кажется недоступной. За свою форму она прозвана «Бильярдом». Незадолго до моего приезда двум офицерам впервые удалось на нее взобраться. На вершине они обнаружили два громадных римских водоема.

ИЗ КАБИЛИИ В БУЖИ

Вот мы и в самой богатой и самой населенной части Алжира. Страна кабилов гориста, покрыта лесом и полями.

Выехав из Омаля, спускаешься к большой долине Сахель.

Там вырастает громадная возвышенность Джуржура. Самые высокие ее вершины серого цвета, как будто покрыты пеплом.

Повсюду на менее высоких вершинах виднеются селения, похожие издали на кучи белых камней. Другие лепятся по склонам. Во всей этой плодородной области между европейцами и туземцами идет жестокая борьба за землю. Плотность населения в Кабилии больше, чем в самом населенном из французских департаментов. Кабилы не кочевники, они домоседы и труженики. А французы только о том и думают, как бы их ограбить.

Вот различные способы, которые применяются, чтобы согнать с места и обобрать несчастных туземных землевладельцев.

Какое-нибудь частное лицо, покидая Францию, является в бюро по распределению земель и просит отвести ему землю в Алжире. Будущему колонисту предлагают шляпу с билетиками, и он вытягивает номер, соответствующий тому или иному участку земли. С этого момента участок делается его собственностью.

Он уезжает. А там, в туземном селении, он застает

целую семью, обосновавшуюся на его наделе. Члены семьи расчистили новь и добились того, что земля на участке стала приносить урожай. Это их единственное достояние. Иностранец выгоняет их. Они покоряются, потому что *таков французский закон.* Но эти люди, потеряв все, что у них было, уходят в пустыню и превращаются в мятежников.

Иногда стороны приходят к соглашению. Европейский колонист, испугавшись жары и сурового вида страны, вступает в переговоры с туземцем, который становится его фермером.

И туземец, оставшись на *своей* земле, посылает ежегодно, смотря по урожаю, тысячу, полторы, а то и две европейцу, вернувшемуся во Францию.

Такой участок приносит не меньше дохода, чем взятая на откуп табачная лавка.

А вот и другой метод.

Палата голосует за кредит в сорок или пятьдесят миллионов на колонизацию Алжира.

На что пойдут эти деньги? Без сомнения, на постройку плотин, на посадку лесов, чтобы задерживать влагу в почве, на удобрение бесплодных земель?

Ничего подобного! На обирание арабов. Дело в том, что земля в Кабилии приобрела значительную ценность. В лучших местах она доходит до *тысячи шестисот франков за гектар,* а обычно стоит восемьсот.

Кабилы-землевладельцы спокойно живут на обрабатываемых участках. Имея хороший достаток, они не восстают, им ничего не нужно, лишь бы только их оставили в покое.

Что же происходит? В наличии имеется пятьдесят миллионов. Кабилия — самая прекрасная из областей Алжира. И вот кабилов обирают в пользу неведомо откуда явившихся колонистов.

Как же их обирают? Им платят *сорок франков* за гектар, который стоит по крайней мере *восемьсот франков.*

И глава семьи уходит, не говоря ни слова (таков закон), уходит куда глаза глядят со своими домочадцами — мужчинами, лишившимися работы, женщинами и детьми.

У этого народа нет ни торговцев, ни промышленников, одни только земледельцы.

Стало быть, семья может существовать только до тех пор, пока остается хоть что-нибудь от смехотворно ничтожной суммы, которую ей выплатили. Потом наступает нищета. Мужчины берут ружья и идут за каким-нибудь Бу-Амамой, словно подтверждая этим, что Алжиром может управлять только военная сила.

Рассуждают так: мы оставляем туземцев в плодородных областях, пока у нас не хватает там европейцев; когда же они появляются, мы выгоняем первых насельников. Очень хорошо. Но если у вас не останется больше плодородных земель, что вы станете делать? Мы будем удобрять неплодородные, черт возьми! Ну, так почему же вы не приметесь за удобрение теперь же, когда у вас имеется пятьдесят миллионов?

Как! Вы видите, что частные компании возводят гигантские плотины, обеспечивая водой целые области; вы знаете по замечательным трудам талантливых инженеров, что довольно было бы посадить леса на некоторых горных вершинах, чтобы отвоевать для земледелия целые километры земель, лежащих ниже,— и вы не находите другого способа, кроме изгнания кабилов?!

Справедливости ради следует отметить, что сейчас же за Теллем почва становится голой, почти непригодной для обработки. Только арабы, питающиеся двумя горстями муки в день и несколькими винными ягодами, могут существовать в этом выжженном крае. Европеец не сможет там прожить. Так что действительно остаются лишь весьма ограниченные пространства для поселения колонистов, и приходится... выгонять туземцев, что и делается.

Таким образом, колонисты бедствуют, за исключением счастливых землевладельцев в равнине Митиджи и тех, кто приобрел землю в Кабилии одним из описанных выше способов, а также за исключением всех поселившихся вдоль моря на узкой полосе земли, отграниченной Атласом. Вот почему в Алжир можно еще переселить очень незначительное количество новоселов. В противном случае там не прокормиться.

К тому же эта колония чрезвычайно трудна для управления, и по вполне понятным причинам.

Алжир равен по величине европейскому государству и состоит из весьма разнородных областей, население которых существенно отличается друг от друга. Этого до сих пор не могло, кажется, понять ни одно правительство.

Нужно глубоко изучить каждую из областей, прежде чем браться управлять ею, так как каждая из них нуждается в совершенно особых законах, постановлениях, характере управления и мерах предосторожности. Между тем губернатор, как правило, совершенно незнаком с местными обычаями и бытовыми условиями и, значит, может опираться только на чиновников, действующих в качестве его представителей.

Кто эти чиновники? Колонисты? Люди, выросшие в стране, осведомленные обо всех ее нуждах? Ничуть! Это просто молодые люди, приехавшие из Парижа в свите вице-короля.

И вот один из таких молодых невежд управляет пятьюдесятью или ста тысячами человек. Он делает глупость за глупостью и разоряет страну. И это в порядке вещей.

Бывают исключения. Иногда всемогущий представитель губернатора трудится, учится, старается понять. Ему понадобилось бы десять лет, чтобы немного освоиться с делом. Через полгода его сменяют. По причинам семейного характера, по личным или иным обстоятельствам его переводят с тунисской границы на марокканскую, и там он принимается управлять теми же способами, к каким прибегал здесь, доверчиво полагаясь на свой небольшой опыт, применяя к совершенно различным народностям одни и те же правила и приемы.

Следовательно, нужен прежде всего не отличный губернатор, а отличные сотрудники губернатора.

Чтобы исправить это плачевное положение, эти гибельные порядки, пытались создать школу администраторов, где целому контингенту молодых людей преподавались бы элементарные знания, необходимые для управления данной страной. Дело не удалось. Прибли-

женные г-на Альбера Греви провалили это начинание. Система фаворитизма победила и на этот раз.

Итак, административный персонал набирается самым странным способом. Правда, среди него попадаются люди интеллигентные и работящие. Наконец ввиду недостатка подходящих кандидатов правительство обращается с предложениями к бывшим офицерам из бюро по арабским делам. Эти-то по крайней мере хорошо знают туземцев; но трудно допустить, что с переменой одежды они сразу изменят свои административные методы, да и незачем было в таком случае безжалостно увольнять их, пока они носили мундир, чтобы принять обратно, как только они переоделись в сюртук.

Раз я уже коснулся сложной проблемы управления Алжира, мне хочется сказать еще несколько слов по поводу чрезвычайно важного вопроса, требующего немедленного разрешения: речь идет о крупнейших туземных вождях, которые в действительности являются единственными правителями, всемогущими правителями части нашей колонии, лежащей между Теллем и пустыней.

В начале французской оккупации наиболее надежных вождей — аги и бах-аги — облекли весьма широкой властью над племенами на значительной части территории. Наше воздействие грозило оказаться бессильным; мы заменили его воздействием арабских вождей, перешедших на нашу сторону, хотя заранее приготовились к возможным изменам; да они и были нередки. Эта мера была политически разумной и в общем дала отличные результаты. Некоторые аги нам значительно помогли, и благодаря им была сохранена жизнь многих тысяч французских солдат.

Но из того, что эта мера была превосходна в свое время, не следует, что она остается совершенной, несмотря на все изменения, возникающие в стране с дальнейшим развитием колонизации.

В настоящее время наличие этих владык,— единственно пользующихся среди племен влиянием и почетом,— служит источником постоянной опасности для нас и непреодолимым препятствием для развития цивилизации среди арабов. Однако военная партия, по-

видимому, энергично защищает институт туземных вождей от попыток гражданской партии его уничтожить.

Я не могу обсуждать этот важный вопрос, но достаточно совершить поездку по Алжиру и познакомиться с различными племенами, как это сделал я, чтобы убедиться в громадных недочетах существующего положения вещей. Я ограничусь простой передачей нескольких фактов.

Длительное сопротивление Бу-Амамы объясняется почти исключительно действиями саидского аги.

В начале восстания этот ага собирался присоединиться с подчиненными ему племенами к французскому войску. Он встретил по пути отряд трафи, двигавшийся с той же целью, и соединился с ним.

Но саидский ага обременен долгами, которых он не в состоянии выплатить. И вот, вероятно, ночью ему пришла мысль совершить нападение: он собрал свои гумы и напал на трафи. Разбитые в первой схватке, те все же одержали затем победу, и саидский ага принужден был бежать со своими людьми.

Ну, а так как саидский ага — наш союзник, наш друг, наш наместник, ибо он является представителем французской власти, трафи решили, что в этом деле не обошлось без нашего участия, и вместо того, чтобы присоединиться к французскому войску, они перешли на другую сторону и немедленно отправились к Бу-Амаме, которого с тех пор уже не покидали, составляя его главную силу.

Пример характерный, не правда ли? А саидский ага остался нашим верным другом. Он служит под нашими знаменами!

Рассказывают также об одном знаменитом аге, которому наши военачальники оказывают большое уважение, так как он пользуется значительным влиянием среди многих племен.

Он то помогает нам, то предает нас, смотря по тому, что выгоднее. Открыто выдавая себя за союзника французов, которые поддерживают его авторитет, он втайне содействует всем восстаниям. Но, сказать по правде, он в равной мере изменяет тем и другим, если представляется возможность пограбить.

Он принимал несомненное участие в убийстве полковника Бопретра, но это не мешает ему быть в настоящее время с нами. Имеются сильные подозрения, что целый ряд понесенных нами неудач не обошелся без его участия.

Наш неизменный союзник, френдский ага, не раз предупреждал нас о двойной игре этого властителя. Но мы пропускали все это мимо ушей, потому что саидский ага, когда это ему выгодно, оказывает услуги военным властям, хотя одновременно он помогает и нашим врагам.

Особое положение этого вождя, открытое покровительство, которым он пользуется у нас, обеспечивает ему безнаказанность за множество преступлений, совершаемых изо дня в день.

Вот что происходит.

Арабы по всему Алжиру обворовывают друг друга. Не проходит ночи, чтоб нам не сообщали о покраже двадцати верблюдов здесь, сотни баранов там, об угоне быков под Бискрой, лошадей под Джельфой. Воров никогда не удается обнаружить. А между тем нет ни одного офицера из бюро по арабским делам, который не знал бы, куда девался краденый скот! Его переправляют к этому аге, который служит укрывателем краденого для всех разбойников пустыни. Похищенных животных присоединяют к его огромным стадам; часть их он оставляет себе в уплату за свою любезность, а остальное возвращает по прошествии некоторого времени, когда опасность преследования уже миновала.

На юге это всем известно.

Но этот ага, получивший при нашей помощи такое огромное влияние, вдобавок увеличивающееся изо дня в день благодаря покровительству, которое он оказывает всем грабителям, остается нужным человеком, и на него смотрят сквозь пальцы.

Вот почему этот вождь несметно богат, между тем как ага Джельфы, например, наполовину разорился, служа интересам колонизации, устраивая фермы, расчищая под пашни новые земли и т. д.

Помимо всего прочего, существование туземных владык, управляющих племенами, порождает ряд дру-

гих, еще более серьезных затруднений. Чтобы дать себе в этом ясный отчет, нужно иметь точное представление о современном Алжире.

Территория и население нашей колонии делятся на четко разграниченные части.

Это прежде всего приморские города, имеющие с внутренним Алжиром не больше связи, чем города самой Франции.

Жители приморских алжирских городов безвыездно сидят на месте. События, происходящие внутри страны, доходят до них лишь в виде отголосков, и их влияние на арабское население совершенно ничтожно.

Вторая зона — Телль — частично занята европейскими колонистами. Колонист же усматривает в арабе только врага, у которого надо оттягать землю. Он ненавидит его всеми фибрами души, постоянно преследует и при каждой возможности обирает. Араб платит ему тем же.

Открытая вражда арабов и колонистов мешает таким образом первым поддаваться цивилизаторскому влиянию вторых. В зоне Телль это еще полбеды. Ввиду того, что европейцы постоянно стремятся вытеснить туземцев, не потребуется долгого времени, чтобы разорившиеся или лишенные своих владений арабы отступили дальше к югу.

Но ведь необходимо, чтобы эти побежденные соседи всегда сохраняли спокойствие. Для этого нужно постоянно поддерживать среди них наш авторитет, держать их под постоянным наблюдением и прежде всего пользоваться среди них безраздельным влиянием.

Что же происходит в настоящее время?

К племенам, рассеянным на огромной территории страны, европейцы и не заглядывают. Только офицеры из бюро по арабским делам время от времени совершают инспекторские поездки и довольствуются расспросами у каидов о том, что делается в племени.

Но каид подчинен туземному вождю — аге или бах-аге.

Если этот вождь происходит из «большого шатра», из знатного рода, пользующегося уважением в пустыне, то его влияние безгранично. Все каиды ему пови-

нуются, как они это делали бы, не будь французской оккупации; и, что бы ни происходило, ничто не доходит до сведения военных властей.

Ведь племя — особый мир, совершенно замкнутый в своем уважении и страхе перед агой, который, следуя обычаям своих предков, обкладывает всяческими поборами своих подданных арабов. Он господин, он забирает, что ему угодно: то сотню овец, то две сотни,— словом, ведет себя, как маленький тиран. И так как его власть нами поддерживается, все это является продолжением старого арабского режима под покровительством французского правительства, иерархическим грабежом и т. д., не считая того, что мы не пользуемся среди племен никаким влиянием и совершенно ничего не знаем о состоянии страны.

Только благодаря этому положению мы не подозреваем о готовящемся восстании до тех пор, пока оно не вспыхнет.

Следовательно, власть крупных туземных вождей препятствует подлинному и непосредственному влиянию французской администрации на племена, которые так и остаются для нас замкнутым миром.

Чем тут можно помочь? А вот чем. Почти все вожди, за исключением двух или трех, нуждаются в деньгах. Им следует предоставить десять, двадцать, тридцать тысяч ливров годового дохода, принимая во внимание их влияние и некогда оказанные нам услуги, и заставить поселиться либо в столице Алжира, либо в каком-нибудь другом приморском городе. Некоторые военные утверждают, что эта мера вызвала бы недовольство. На это у них свои доводы... всем известные. Другие офицеры, живущие внутри страны, наоборот, утверждают, что это привело бы к умиротворению.

Это еще не все. Туземных владык следовало бы заместить гражданскими чиновниками, которые постоянно жили бы среди племен и были бы непосредственными начальниками над каидами. После того как это важное препятствие будет устранено, цивилизация постепенно проникнет и в эти области.

Но полезные реформы заставляют себя долго ждать как в Алжире, так и во Франции.

Проезжая по Кабилии, я удостоверился в полном бессилии нашего правления, даже когда дело касается племен, живущих среди европейцев.

Я ехал к морю по длинной долине, ведущей из Бени-Мансур в Бужи. Вдали перед нами странное густое облако закрывало горизонт. Небо над головой было молочно-голубое, каким оно бывает иногда летом в этих жарких странах. Но вдалеке бурое облако с желтоватыми отблесками, не похожее ни на грозовую тучу, ни на туман, ни на один из тех густых песчаных вихрей, которые проносятся с яростью урагана, отбрасывало на всю местность серую тень. Это плотное облако, тяжелое, почти черное внизу и несколько более прозрачное в вышине, заслоняло, точно стеной, всю широкую долину. Затем вдруг в неподвижном воздухе потянуло чуть слышным запахом гари. Но какой гигантский пожар мог вызвать эту массу дыма?

То был действительно дым. Горели все кабильские леса.

Вскоре мы вступили в удушливый полумрак. В ста метрах ничего не было видно. Лошади тяжело дышали. Казалось, наступил вечер; едва ощутимый бриз, один из тех слабых бризов, от которых чуть шевелится листва, гнал к морю эту зыбкую ночь.

Два часа простояли мы в деревне, ожидая известий; наша маленькая повозка тронулась в путь, лишь когда настоящая ночь, в свою очередь, раскинулась над землей.

Неясный, еще отдаленный свет горел, подобно небесному пожару. Он все усиливался, поднимался над горизонтом, скорее кроваво-красный, чем огненный. Но внезапно при крутом повороте долины я очутился словно перед огромным освещенным городом. Это была целая обгоревшая гора, где кустарники уже почернели, а множество дубов и оливковых деревьев продолжали тлеть, торча, как огромные головни; они больше не дымились и, словно колоссальные светильники, вытянувшиеся в ряд или причудливо разбросанные, создавали впечатление нескончаемых бульваров, огромных площадей, извилистых улиц, случайного беспорядка или преднамеренной стройности, кото-

рые видишь, глядя издали ночью на освещенный город.

Мы подъезжаем все ближе к громадному пожару, и свет становится ослепительным. В течение одного этого дня огонь охватил двадцать километров леса.

Когда передо мной открылась полоса пламени, я остановился в ужасе и в восторге перед этим зрелищем, самым страшным и самым захватывающим, какое я когда-либо видел. Пожар подвигался, как волна, по неизмеримому пространству. Наступая быстро и безостановочно, он оголял землю на своем пути. Кустарники пылали и гасли. Подобно факелам, медленно горели большие деревья, качая высокими огненными султанами, а впереди по зарослям бежали мелкие языки пламени.

Всю ночь шли мы по следам чудовищного пожара. С наступлением дня мы достигли моря.

Замкнутый поясом причудливых гор с красивыми зубчатыми гребнями и лесистыми склонами, Бужийский залив, голубеющий молочной голубизною и вместе с тем светлый, невероятно прозрачный, раскинулся под небом, сияющим лазурью, той неизменной лазурью, которая кажется как бы застывшей.

В конце побережья, налево, по крутому склону горы, устланному зеленью, город сбегает к морю потоком белых домов.

Когда вы попадаете в самый город, он производит впечатление прелестной и неправдоподобной оперной декорации, какие мерещатся иногда в разгоряченной мечте о волшебных странах.

Здесь и мавританские дома, и французские, и руины, вроде тех, которые видишь на первом плане театральных декораций рядом с картонным дворцом.

При въезде в город у самого моря, на набережной, где пристают океанские пароходы и привязаны местные рыбацкие лодки с парусами, похожими на крыло, стоят посреди сказочного пейзажа такие великолепные развалины, что они кажутся искусственными. Это древние сарацинские ворота, увитые плющом.

И вокруг города, на лесистых склонах — повсюду руины, обломки римских стен, части сарацинских зданий, остатки арабских сооружений.

Кончился безветренный и жгучий день; наступила ночь. И вокруг залива открылось поразительное зрелище. По мере того как сгущались тени, другой свет, уже не дневной, охватывал горизонт. Пожар, как осаждающее войско, окружал город и кольцом стягивался вокруг него. Новые очаги, зажженные кабилами, вспыхивали один за другим, чудесно отражаясь в спокойных водах широкого залива, окаймленного пылающими горами. Огонь то походил на гирлянду венецианских фонарей, то на змею из огненных колец, извивающуюся, ползущую по горным склонам, то рвался вверх, напоминая извержение вулкана, ослепительное у основания или же с огромным султаном красного дыма — в зависимости от того, пожирал ли огонь густой кустарник или высокоствольный лес.

Я пробыл шесть дней в этой пылающей местности, а потом отправился по неравненной дороге, которая огибает залив и идет по склонам горной цепи, где над нею тянутся леса, а под нею другие леса и бесконечные пески, золотые пески, омываемые спокойными волнами Средиземного моря.

Иногда пожар подходил к самой дороге. Приходилось выскакивать из экипажа, чтобы оттащить горящие деревья, упавшие поперек нашего пути; иногда мы мчались, гоня галопом четверку лошадей, между двумя волнами огня, из которых одна спускалась на дно оврага, где протекал быстрый поток, а другая взбиралась до горных вершин, обгладывая и оголяя их порыжелую поверхность. Обгоревшие берега, уже потухшие и остывшие, казалось, были покрыты черным, траурным покрывалом.

Нам случалось проезжать по местности, еще не тронутой пожаром. Обеспокоенные колонисты, стоя у дверей домов, расспрашивали нас о пожаре, как во Франции во время прусской войны справлялись о движении неприятеля.

Мы видели шакалов, гиен, лисиц, зайцев, сотни разных зверей, бегущих от бедствия, обезумевших от страха перед огнем.

На повороте одной долины я заметил вдруг пять телеграфных проводов, которые были до такой степени

усеяны ласточками, что прогнулись под их тяжестью, образуя между каждыми двумя столбами пять птичьих гирлянд.

Но вот возница щелкнул длинным бичом. Целая туча птиц взвилась, разлетелась в разные стороны, и толстые металлические провода, внезапно освобожденные от тяжести, вздрогнули и натянулись, как тетива лука. И они еще долго дрожали, словно по ним проходили длинные, постепенно стихающие волны.

Скоро мы углубились в ущелье Шабет-эль-Акра. Оставляя по левую руку море, проникаешь в открывшийся горный проход. Это ущелье — одно из самых величественных, какие существуют. Расстояние между горами часто суживается; гранитные обнаженные кручи, красноватые, коричневые или синие, сближаются, едва оставляя у подножия маленький промежуток для стока воды, а дорога превращается в узкий карниз, высеченный в скале над несущимся потоком.

Вид этого мрачного, дикого и великолепного ущелья меняется каждое мгновение. Две стены, между которыми оно зажато, достигают иногда в высоту двух тысяч метров; солнце проникает в этот глубокий колодец, только когда стоит прямо над ним.

В другом конце, по выходе из ущелья, лежит деревня Керрата. Жители ее в течение недели наблюдали, как черный дым пожара валил из темной расщелины, точно из гигантской трубы.

Алжирские власти впоследствии утверждали, что в этом бедствии, которое им было бы легко предотвратить, проявив хоть немного предусмотрительности и энергии, кабилы не были виновны. Говорили тоже, что сгоревшего леса было не больше пятидесяти тысяч гектаров.

Вот прежде всего донесение супрефекта Филиппвиля:

«Мэр и администратор уведомили меня из Джемапы, что все лесные участки колонистов уничтожены и что пожар опустошил все дуары смешанной общины. Селения Гасту, Айн-Шершар, Джендель были под угрозой.

В Филиппвиле сгорели все лесные массивы.

Стора, Сент-Антуан, Вале, Дамремон едва не сделались добычей огня.

В Эль-Арруше особых потерь нет, если не считать пятисот гектаров земель, выжженных в дуарах племен улад-мессауд, хазабра и эль-гедир.

В Сен-Шарле выжжено около шестисот гектаров земель между уэдом Деб и уэдом Гуди и около восьмисот гектаров в северо-восточном и юго-восточном направлениях. Корма и арабские хижины уничтожены.

В смешанной общине Колло и в Аттии огонь опустошил все.

Погибли целиком или частично владения колонистов Тейсье, Лессепс, Лева, Лефебр, Сидер, Бессер и др. Более *сорока тысяч гектаров* казенного леса, фермы и дома в Зерибане были охвачены пламенем. Насчитывают много человеческих жертв.

Сегодня утром мы похоронили трех зуавов, павших жертвой своей самоотверженности у Вале.

Потери неисчислимы и не могут быть определены даже приблизительно.

Опасность прекратилась главным образом вследствие уничтожения всех лесов. Ветер тоже изменил направление, и я думаю, что можно будет справиться с последними очагами пожара во владениях Бессон, Колло и в Эстайе около Робервиля.

Вчера я отправил полтораста человек солдат в Колло, реквизировав бросивший здесь якорь океанский пароход».

К этому прибавим еще лесные пожары Зерамны, Филь-Филы, Фендека и др.

Г-н Бизерн, в течение четырнадцати лет работающий распределителем поставок в лесах Эль-Милия, писал следующее:

«Мой персонал проявил величайшую энергию; пренебрегая серьезной опасностью, мы дважды справились с огнем, но все это было совершенно бесполезно. Пока мы боролись с ним на одном конце, арабы поджигали на другом и вообще во многих местах».

Вот письмо одного землевладельца:

«Имею честь доложить вам, что в середине ночи с воскресенья на понедельник фермер Рипейр, стороживший мое владение, расположенное над полигоном, был свидетелем четырех поджогов: двух на общинной земле, в нескольких сотнях метров от моего владения, еще одного над Дамремоном и четвертого над Вале. За отсутствием ветра огонь не распространился».

Вот еще телеграмма, из Джиджелли:

«Джиджелли, 23 августа, 3 час. 16 мин. дня.

Огонь опустошает лесной участок Бени-Амрам, принадлежащий г-ну Эдуарду Карпантье из Джиджелли.

В прошлую ночь владение было подожжено в двадцати разных местах. Дорожный рабочий, шедший из рудника Ковальо, явственно видел все очаги пламени.

Сегодня утром почти что на глазах каида Амар-бен-Хабиле из племени бени-фугал был сделан поджог в кантоне Мезреш; а четверть часа спустя огонь появился в другой части кантона, тогда как ветер дул в обратном направлении.

Наконец, одновременно, в четырехстах шагах от группы людей — каида и полсотни арабов из его племени, вспыхнул новый очаг пожара все с той же подветренной стороны.

Не подлежит сомнению, следовательно, что поджоги производились туземцами, выполнявшими при этом чей-то приказ».

Могу прибавить, что и я сам, проведя шесть дней в охваченной пожаром области, видел, видел собственными глазами, как в течение одной ночи пламя внезапно вспыхивало в восьми различных местах посреди леса, километров за десять от какого бы то ни было жилья.

Несомненно, будь с нашей стороны более убедительный надзор над племенами, эти бедствия, повторяющиеся почти каждые четыре — пять лет, не имели бы места.

Правительство считает, что сделало все необходимое, возобновив в связи с приближением периода сильного зноя свои инструкции об установке сторожевых постов, учрежденных согласно статье четвертой закона от 17 июля 1874 года. Эта статья гласит:

«Туземцы лесных областей в период с 1 июля по 1 ноября обязуются под страхом применения к ним мер, указанных в статье восьмой, нести охранную службу, установленную генерал-губернатором».

Туземцев подозревают в поджогах лесов и... им же самим поручают охрану!

Вот поразительная наивность, не правда ли? Эта статья, наверное, была исполнена в точности. Каждый туземец стоял на своем посту. И... поджигал.

Другая статья, правда, предписывает особую охрану, которая должна проводиться в жизнь под наблюдением офицера, назначаемого ежегодно генерал-губернатором.

Статья эта никогда или почти никогда не приводится в исполнение.

Прибавим к этому, что лесное ведомство, самое нелепое, быть может, из всех ведомств Алжира, делает вообще все от него зависящее, чтобы раздражать туземцев.

Словом, если подвести итог по вопросу о колонизации, то правительство, содействуя устройству европейцев, применяет совершенно несправедливые меры по отношению к арабам. Как же колонистам не следовать примеру, который так хорошо согласуется с их интересами?

Надо все же признать, что вот уже несколько лет, как некоторые весьма способные люди, чрезвычайно сведущие во всех вопросах обработки земли, по-видимому, стали направлять колонию по пути значительного улучшения. Благодаря стараниям новых поселенцев Алжир становится производящей страной. Пришлое население работает уже не только ради личных выгод, но и ради интересов Франции.

Вполне очевидно, что в руках этих людей земля будет приносить столько, сколько она никогда не приносила в руках арабов; вполне очевидно также, что коренное население постепенно исчезнет. Несомненно, это исчезновение принесет большую пользу Алжиру, но возмутительно, что оно осуществляется подобными методами.

КОНСТАНТИНА

От Шабета до Сетифа вы едете, кажется вам, по золотой стране. Хлеба, срезанные высоко, а не под корень, как во Франции, истоптанные стадами, примешивают свою светлую соломенную желтизну к темно-красному цвету почвы, придавая земле теплый и богатый тон старой позолоты.

Сетиф — один из самых безобразных городов, какие только можно видеть.

Потом до самой Константины проезжаешь бесконечными равнинами. Зеленые рощицы, разбросанные там и сям, придают им вид еловой доски, на которой расставлены нюрнбергские игрушечные деревья.

Но вот, наконец, чудо-город, город-сказка, Константина, которую, как свернувшийся у ее ног змей, стережет Румель, фантастический Румель, река из поэмы, словно созданная мечтою Данте, река ада, текущая в глубине красной, будто обожженной вечным огнем пропасти. Этот ревнивый и удивительный поток обращает город в остров, окружая его страшной извилистой пропастью с причудливыми и сверкающими скалами, с отвесными зубчатыми стенами.

Самый город, по словам арабов, похож на разостланный бурнус. Они называют его Белад-эль-Хауа — город воздуха, город пропасти, город страстей. Он высится над прелестными долинами, где множество римских развалин, акведуков с гигантскими арками роскошной растительности. Над ним же высятся вершины Мансура и Сиди-Месид.

Константина стоит на скале, охраняемая своим потоком, как королева. Ее прославляет старинная народ-

ная поговорка. «Благословляйте,— говорит она обитателям города,— память ваших предков, построивших этот город на скале. Обычно вороны испражняются на людей, здесь же вы испражняетесь на воронов».

Многолюдные улицы Константины оживленнее улиц Алжира, они кипят жизнью, по ним то и дело снует самый разнообразный люд: арабы, кабилы, бискры, мозабиты, негры, закутанные в покрывала мавританские женщины, красные спаги, синие тюркосы, важные кади, блестящие офицеры. Торговцы погоняют ослов, маленьких африканских осликов ростом с собаку, погоняют лошадей, медлительных и величавых верблюдов.

Привет еврейкам Константины! Они прекрасны здесь величавой, строгой и обаятельной красотой. Они проходят скорее задрапированные, чем одетые, в свои яркие ткани, поражая вас несравненным вкусом, умением подобрать тона и подчеркнуть свою красоту. Они ходят с обнаженными по плечо руками — руками, достойными статуй, и смело подставляют их солнцу, как и свои спокойные лица с правильными и чистыми чертами. И само солнце, кажется, не в силах уязвить их гладкую кожу.

Но радость Константины — это прелестное племя девчушек, совсем еще маленьких. Наряженные, как для маскарада, в длинные волочащиеся по земле платья из голубого или красного шелка, с золотыми или серебряными покрывалами на голове, с наведенными дугообразными бровями, с крашеными ногтями, подчас с нататуированными звездами на щеках и на лбу, они идут мелкими шажками за руку с каким-нибудь высоким слугой-арабом и, чувствительные к вызываемому ими восхищению, бросают прохожим смелые и уже манящие взгляды.

Так и кажется, что это какое-то волшебное, сказочное племя, племя маленьких легкомысленных женщин; ведь они, эти девочки, действительно выглядят женщинами — такой вид придает им костюм, уже пробудившееся кокетство, подкрашенные лица. У них зовущий взгляд, как у взрослых; они очаровывают, волнуют и возбуждают, как что-то прелестное и неестественное. Так и кажется, что это пансион десятилетних куртизанок, едва успевших созреть для любви.

Но вот перед нами дворец Хаджи-Ахмеда, один из характернейших, как утверждают, образцов арабской архитектуры. Все путешественники восхваляли его и сравнивали с чертогами из *Тысячи и одной ночи.*

В нем не было бы ничего исключительного, если бы не внутренние сады, придающие ему красивый восточный характер. И понадобилась бы целая книга, чтобы рассказать о жестокостях, о казнокрадстве, о всех низостях тех, кто его построил из драгоценных материалов, награбленных, похищенных в богатых жилищах города и окрестностей.

Арабский квартал Константины занимает половину города. Крутые улочки, еще более кривые и узкие, чем улицы Алжира, спускаются до самого края обрыва, на дне которого течет уэд Румель.

Восемь мостов были некогда перекинуты через эту пропасть. Шесть из них в настоящее время разрушены. Один только мост, еще воздвигнутый римлянами, может дать представление о том, каким он был раньше. Румель порою исчезает под гигантскими арками, прорытыми им самим. На одной из них и был построен этот мост. Естественный свод, под которым бежит река, имеет в высоту сорок один метр, а толщина его равна восемнадцати метрам; следовательно, фундамент римского сооружения заложен на высоте *пятидесяти девяти* метров над водой: мост построен в два этажа, с двумя рядами арок, воздвигнутых поверх гигантской арки, созданной самой природой.

В настоящее время для въезда в Константину служит железный мост в один только пролет.

Но пора отправляться в путь, надо ехать в Бон, живописный белый город, напоминающий города французского побережья Средиземного моря.

У пристани *Клебер* разводит пары. Шесть часов. Когда пароход отчаливает, солнце уже садится там, за пустыней.

И я остаюсь на палубе до наступления ночи, взор мой прикован к земле, которая исчезает в пурпурном облаке, в апофеозе заката, в золотисто-розовом пепле, рассыпанном по широкой лазурной мантии спокойного неба.

НА ВОДАХ

Дневник маркиза де Розевейра

12 июня 1880 года. В Лоэш! Меня хотят отправить на месяц в Лоэш! Помилосердствуйте! На целый месяц в этот городишко, который считается самым скучным, самым мертвым, самым несносным из курортных городов. Да что я говорю, разве это город? Это просто дыра, которую едва ли можно назвать и деревней. Словом, меня приговорили к месяцу ссылки.

13 июня. Всю ночь думал об этом путешествии, которое приводит меня в ужас. Единственное, что мне остается, это взять с собой женщину! Быть может, это меня хоть немного развлечет. И потом, я испытаю таким образом, достаточно ли я созрел для брачной жизни.

Целый месяц совместного пребывания, месяц общей жизни с другим существом, жизни вдвоем в полном смысле слова, разговоров в любой час, днем и ночью. Черт возьми!

Взять женщину на месяц—это, правда, не так серьезно, как взять ее на всю жизнь; но это уже гораздо сложнее, чем взять ее только на один вечер. Я знаю, что могу ее отправить обратно с сотней — другой луидоров, но тогда я останусь в Лоэше один, а это вовсе не весело.

Выбор — дело не легкое. Я не хочу ни кокетки, ни дуры. Не надо, чтобы она ставила меня в смешное положение, заставляла стыдиться ее. Я хочу, чтобы

говорили: «Маркизу де Розевейру повезло»,— но не хочу, чтоб за моей спиной шушукались: «Бедняга маркиз де Розевейр!»

Словом, моя случайная подруга должна обладать теми качествами, которые я желал бы найти в подруге всей моей жизни. Единственное допустимое различие между ними — это то, которое существует между новой вещью и вещью, купленной по случаю. Баста! Я найду, надо заняться этим!

14 июня. Берта!.. Вот как раз то, что мне нужно. Двадцать лет, хорошенькая, кончила консерваторию, ждет предоставления роли, будущая звезда. Хорошие манеры, чувство собственного достоинства, ум и... любовь. Вещь, приобретенная по случаю, но сойдет за новую.

15 июня. Она свободна. Не связанная ангажементом, ни деловым, ни сердечным, она согласна; я сам заказал все ее платья, чтобы она не была похожа на содержанку.

20 июня. Базель. Она спит. Начну свои путевые заметки.

Она совершенно очаровательна. Когда мы встретились на вокзале, я почти не узнал ее,— это была настоящая светская женщина. Конечно, эту девочку ждет блестящее будущее... в театре.

Мне показалось, что у нее стали другие манеры, походка, позы, жесты, улыбка, голос — словом, все безупречно. А прическа! О, прическа восхитительная, очаровательная и простая, как у женщины, которой не надо больше привлекать к себе внимание, не надо больше нравиться всем, роль которой уже не в том, чтобы с первого взгляда кружить голову каждому, кто ее видит, но которая хочет нравиться одному, тайно от всех, только одному. И это сквозило во всех ее движениях. Это выражалось так тонко и так несомненно, превращение показалось мне настолько полным и искусным, что я предложил ей руку, как предложил бы своей жене. И она непринужденно взяла меня под руку, будто и в самом деле была моей женой.

В купе, с глазу на глаз, мы сначала сидели неподвижно и молча. Потом она приподняла вуалетку и улыбнулась. И только. Улыбка хорошего тона. О, я опа-

сался поцелуев, комедии нежности, неизбежной и пошлой игры кокотки, но нет, она воздержалась. Она с характером.

Потом мы болтали, не то как молодожены, не то как чужие. Это было прелестно. Она часто улыбалась, глядя на меня. Теперь уже мне самому хотелось расцеловать ее. Но я сохранил спокойствие.

На границе чиновник в галунах внезапно открыл дверцу и спросил меня:

— Ваше имя, сударь?

Я был удивлен и ответил:

— Маркиз де Розевейр.

— Куда вы едете?

— На воды в Лоэш, в Валэ.

Чиновник записывал. Он продолжал:

— Эта дама... ваша жена?

Что делать? Как ответить? Я посмотрел на нее в замешательстве. Она была бледна и глядела куда-то вдаль... Я почувствовал, что сейчас нанесу ей незаслуженное оскорбление. И в конце концов я же взял ее себе в подруги на целый месяц!

Я произнес:

— Да, сударь.

Я видел, как она сразу покраснела. Я почувствовал себя счастливым.

Но и здесь, в отеле, когда мы приехали, хозяин подал ей книгу для приезжающих. Она сейчас же передала ее мне; и я знал, она смотрит, что я напишу. Это был наш первый интимный вечер!.. Ну, кто там станет читать эту книгу? Страница перевернута — и дело с концом. Я начертал: «Маркиз и маркиза де Розевейр, проездом в Лоэш».

21 июня. Шесть часов утра. Базель. Мы едем в Берн. Мне решительно повезло!

21 июня. Десять часов вечера. Странный день. Я немного взволнован. Это глупо и смешно.

Дорогой мы мало говорили. Она встала слишком рано, казалась утомленной, дремала.

Приехав в Берн, мы сейчас же решили полюбоваться на альпийскую панораму, которой я никогда еще не видел, и отправились по городу как молодожены.

Вдруг мы увидели необозримую равнину, а там, да-

леко-далеко, ледяные вершины. Так, издали, они не казались громадными, и, однако, от этого зрелища у меня захватило дыхание. Нас заливали лучи заходящего солнца, жара была ужасная. Они же стояли холодные и белые, эти ледяные глыбы. Юнгфрау, Девственница, возвышалась над своими братьями, являя взору широкие снеговые склоны, и вокруг нее, насколько мог видеть глаз, толпились белоголовые великаны, вечные ледяные вершины, посветлевшие, словно посеребренные в свете угасающего дня, на темной лазури неба.

Их исполинское недвижное нагромождение вызывало мысль о начале какого-то чудесного нового мира, мертвой утесистой страны, оледеневшей, но исполненной таинственного очарования и манящей, как море. Воздух, который ласкал эти покрытые вечными снегами вершины, казалось, долетал к нам по узким цветущим лугам совсем иным, чем воздух, животворно веющий над долинами. В нем было нечто терпкое, сильное и бесплодное, как бы очарование недосягаемых просторов.

Берта смотрела, потрясенная, и не могла произнести ни слова.

Она взяла мою руку и крепко сжала ее. Я и сам был охвачен тем лихорадочным трепетом, тем чувством восторга, которое мы испытываем иногда при виде неожиданного зрелища. Я взял эту дрожащую ручку и поднес к губам. И, право же, я поцеловал ее с любовью.

Я был немного взволнован. Чем же? Бертой или ледниками?

24 июня. Лоэш, десять часов вечера.

Все путешествие было восхитительным. Мы провели полдня в Туне, любуясь суровой цепью гор, через которую нам надлежало перейти на другой день.

С восходом солнца мы переехали через озеро, может быть, самое красивое во всей Швейцарии. Мулы уже ожидали нас. Мы уселись верхом и отправились в путь. Позавтракав в маленьком городке, мы начали восхождение, медленно поднимаясь по лесистому ущелью, все время уходившему вверх под сенью высоких гор. Местами на склонах, которые спускаются точно с самого неба, видны были разбросанные белые точки — швейцарские хижины, попавшие туда неведо-

мо как. Мы переправлялись через горные потоки и видели иногда, между двумя высокими, поросшими елью утесами, огромные снежные пирамиды, казавшиеся совсем близкими; можно было поклясться, что доберешься туда в двадцать минут, а до них, пожалуй, не дойти и за двадцать четыре часа.

Иногда мы перебирались через какой-то хаос камней, через узкие долины, загроможденные сорвавшимися глыбами,— как будто две горы столкнулись в поединке на этом ристалище, усеяв место битвы обломками своих гранитных тел.

Берта в изнеможении дремала в седле, по временам открывая глаза, чтобы поглядеть еще раз. В конце концов она заснула, и я поддерживал ее одной рукой, счастливый этой близостью, чувствуя сквозь платье нежную теплоту ее тела. Настала ночь, а мы все продолжали подниматься. Остановились у двери маленькой гостиницы, затерянной в горах.

И мы заснули. Как мы спали!

На рассвете я подбежал к окну и вскрикнул. Берта подошла ко мне и остановилась в изумлении и восторге. Мы провели ночь среди снегов.

Повсюду нас окружали громадные и бесплодные горы в белых мантиях, из-под которых торчали серые ребра скал, горы без единой сосны, угрюмые и оледенелые; они вздымались так высоко, что казались недосягаемыми.

Через час после того, как мы снова двинулись в путь, мы увидели в глубине воронки из гранита и снега черное, мрачное озеро, совершенно гладкое, без малейшей ряби; мы долго ехали по его берегу. Проводник принес нам несколько эдельвейсов, бледных цветов, растущих вблизи ледника. Берта приколола их букетиком к корсажу.

Вдруг скалистое ущелье расступилось перед нами, открывая необычайную панораму: всю цепь Пьемонтских Альп по ту сторону долины Роны.

Там и сям над множеством меньших гор поднимались высокие вершины. Это были Мон-Роза, величавая и грузная, Сервен — правильная пирамида, на которой погибло столько людей, Дан-дю-Миди и сотни других белых вершин, блестевших на солнце, как алмазные.

Тропинка, по которой мы ехали, внезапно оборвалась у края пропасти, и в самой бездне, на дне черного колодца глубиной в две тысячи метров, мы увидели между отвесных бурых и диких скал ковер зеленой травы с несколькими белыми точками, напоминающими барашков на лугу. Это были дома Лоэша.

Пришлось сойти с мулов, так как дорога становилась опасной. Тропинка спускается по скале, вьется, кружит, бежит вперед, возвращается, но все время тянется над пропастью и над лежащей в ней деревней, которая все увеличивается по мере приближения. Это-то и есть так называемый перевал Жемми, если и не самый красивый в Альпах, то все же один из красивейших.

Берта опиралась на меня, вскрикивала от радости, вскрикивала от страха, радостная и пугливая, как дитя. Когда мы отстали на несколько шагов от проводника, скрывшегося за выступом скалы, она поцеловала меня. Я обнял ее...

Я сказал себе: «В Лоэше я обязательно дам понять, что она мне вовсе не жена».

Но ведь всюду я обращался с ней, как с женой, всюду я выдавал ее за маркизу де Розевейр. Не мог же я теперь записать ее под другим именем! И вдобавок я этим смертельно оскорбил бы ее, а она такая очаровательная. Я сказал ей:

— Дорогая, ты носишь мое имя, меня считают твоим мужем; надеюсь, ты будешь вести себя крайне осторожно и крайне сдержанно. Никаких знакомств, никакой болтовни, никаких отношений. Пусть тебя считают гордой, но веди себя так, чтобы мне никогда не пришлось раскаиваться в том, что я сделал.

Она ответила:

— Не беспокойся, мой милый Рене.

26 июня. Лоэш вовсе не скучное местечко. Нет. Дико, но очень красиво. Эти скалистые стены вышиною в две тысячи метров, по которым, подобно струйкам серебра, бегут сотни горных потоков, этот вечный шум текущей воды, затерявшаяся в альпийских горах деревушка, откуда, как со дна колодца, смотришь на движущееся по небу далекое солнце, на соседний ледник,

весь белый в расщелине горы, эта спускающаяся к Роне, изрезанная ручейками долина, где столько деревьев, свежести и жизни, и, наконец, этот вид на далекие снеговые вершины Пьемонта — все здесь меня прельщает и приводит в восторг. А может быть... если бы Берты не было здесь...

Это милое дитя — совершенство; она сдержанна и изящна, как никто. Я постоянно слышу:

— Как мила эта молоденькая маркиза!..

27 июня. Первая ванна. Прямо из спальни спускаешься в бассейн, где мокнет человек двадцать купальщиков, уже закутанных в длинные шерстяные халаты, мужчины и женщины вместе. Кто ест, кто читает, кто разговаривает. Перед каждым — маленький плавучий столик, который можно толкать перед собой. Иногда затевается игра в веревочку, что не всегда прилично. С высоты галереи, окружающей купальню, мы похожи на больших жаб в лоханке.

Берта пришла в эту галерею поболтать со мной. Она обратила на себя всеобщее внимание.

28 июня. Вторая ванна. Четыре часа в воде. Через неделю я буду сидеть по восемь часов. Мои товарищи по купанию — князь Ванорис (Италия), граф Левенберг (Австрия), барон Самуил Вернэ (Венгрия), или что-то в этом роде, плюс десятка полтора менее значительных особ, но все дворяне. На этих курортах только и встречаешь, что дворян.

Все они один за другим просят представить их Берте. Я отвечаю: «Да» — и уклоняюсь. Прослыл ревнивцем, вот глупая история!

29 июня. Черт возьми! черт возьми! Когда мы возвращались в гостиницу, княгиня Ванорис сама подошла ко мне, желая познакомиться с моей женой. Я представил Берту, но попросил ее тщательно избегать встреч с этой дамой.

2 июля. Вчера князь затащил нас к себе: у него собралась за чаем вся курортная знать. Без сомнения, Берта была лучше всех женщин. Как же быть?

9 июля. Эх, будь что будет! Ведь из этих тридцати аристократов, по крайней мере, десять вымышленных. Из шестнадцати — семнадцати женщин найдется ли больше двенадцати по-настоящему замужних, а из этих

двенадцати хотя бы больше половины безупречных? Тем хуже для них! Сами виноваты!

10 июля. Берта — королева Лоэша! Все без ума от нее, ее чествуют, балуют, обожают! Она действительно способна восхищать своей грацией и прекрасными манерами. Мне завидуют.

Княгиня Ванорис спросила меня:

— Ах, маркиз, где вы нашли такое сокровище!

Мне так и хотелось ответить: «Берта получила первую награду в консерватории, по классу комедии, приглашена в Одеон, свободна с пятого августа тысяча восемьсот восьмидесятого года».

Вот бы гримасу скорчила княгиня Ванорис! Боже милосердный!

20 июля. Берта прямо-таки удивительна. Ни одной бестактности, ни одного промаха. Чудо!

10 августа. Париж... Все кончено. На сердце тяжело. Накануне отъезда я думал, что все расплачутся.

Решили посмотреть восход солнца на Торенгорне и вернуться обратно к нашему отъезду. В путь отправились около полуночи верхом на мулах. Проводники держали в руках фонари, и длинный караван тянулся по извилистым дорогам соснового леса. Потом проехали пастбище, где пасутся на воле стада коров. Потом достигли каменистой области, где даже трава, и та не растет.

Иногда во мраке мы различали то по одну, то по другую сторону дороги белые груды — залежи снега в расселинах горы.

Холод становился резким, пощипывал лицо, шею. С гор дул сухой ветер; он обжигал горло, принося с собой морозное дыхание стомильной гряды ледяных круч.

Была еще ночь, когда мы достигли вершины. Распаковали провизию, чтобы выпить шампанского при восходе солнца.

Небо над головою бледнело. У самых ног мы уже различали пропасть, а там, в нескольких сотнях метров, другой горный кряж.

Весь небосклон казался синевато-бледным, но еще ничего не было видно вдали.

Вскоре мы разглядели слева огромную вершину, Юнгфрау, потом другую, потом третью. Они появля-

лись мало-помалу, как будто вставая вместе с рассветом. С изумлением видели мы себя в кругу этих колоссов, в этой безотрадной стране вечных снегов. И вдруг развернулась гигантская цепь Пьемонтских Альп. Другие вершины показались на севере. Да, перед нами действительно была необъятная страна великих гор с обледенелым челом, от Ринденгорна, тяжеловесного, как и его имя, до едва различимого призрака — альпийского патриарха Монблана.

Одни были гордые и стройные, другие приземистые, иные бесформенные, но все одинаково белые, как будто некий бог раскинул по бугристой земле незапятнанно-чистое покрывало.

Некоторые казались в такой близи, как будто можно было вспрыгнуть на них, другие были так далеко, что их едва можно было различить.

Небо стало красным, и горы все стали красными.

Облака как бы источали на них свою кровь. Это было великолепно, почти страшно.

Но вскоре пламенеющие облака побледнели, и вся рать горных вершин постепенно стала розовой, нежно-розовой, как платье молодой девушки.

И над покровом снегов появилось солнце. Тогда вся семья ледяных вершин побелела, заискрилась, словно множество серебряных куполов поднялось над горизонтом.

Женщины смотрели в восторге.

Вдруг они вздрогнули: хлопнула пробка от шампанского, и князь Ванорис, протягивая бокал Берте, воскликнул:

— За здоровье маркизы де Розевейр!

Все закричали:

— За здоровье маркизы де Розевейр!

Она встала на стременах и ответила:

— За здоровье всех моих друзей!

Три часа спустя мы были в долине Роны и садились в женевский поезд.

Едва мы остались одни, Берта, только что такая счастливая и такая веселая, закрыла лицо руками и разрыдалась.

Я бросился к ее ногам:

— Что с тобой? Что с тобой? Скажи, что с тобой?

Она пролепетала сквозь слезы:

— Вот и... вот и... вот и покончено с жизнью порядочной женщины!

Право, в эту минуту я готов был сделать глупость, большую глупость!.. Но я ее не сделал.

Как только мы приехали в Париж, я расстался с Бертой. Позднее, может быть, у меня не хватило бы на это сил.

(Дневник маркиза де Розевейра не представляет никакого интереса в течение двух последующих лет. Но под датой 20 июля 1883 года мы находим следующую запись.)

20 июля 1883 года. Флоренция. Недавно — грустное воспоминание. Я гулял по парку Кашины, когда какая-то женщина остановила коляску и подозвала меня. Это была княгиня Ванорис. Не успел я подойти к коляске, как она заговорила:

— О маркиз, дорогой маркиз, как я рада, что встретила вас! Скорее, скорее расскажите мне про вашу жену. Это, право, самая очаровательная из всех женщин, каких я только знавала в жизни.

Я был смущен, не знал, что сказать, пораженный в самое сердце. Я пробормотал:

— Никогда не напоминайте мне о ней, княгиня, вот уже три года, как я потерял ее.

Она взяла меня за руку.

— О, как мне жаль вас, друг мой!

Мы расстались. Я вернулся домой грустный, недовольный, думая о Берте, как будто мы с ней только что разлучились.

Судьба часто совершает ошибки!

Сколько порядочных женщин родилось на свет, чтобы быть кокотками, и они доказывают это на каждом шагу.

Бедная Берта! Сколько других родилось, чтобы быть порядочными. И она... может быть... больше, чем кто бы то ни было... Но что поделаешь!.. Не надо об этом думать...

В БРЕТАНИ

Июль 1882 года

Вот и пора путешествий, пора ясных дней, когда влечет к новым горизонтам, к широким просторам синего моря, где отдыхает глаз, где успокаивается мысль, к лесистым и свежим долинам, где часто чувствуешь себя растроганным неведомо чем, сидя под вечереющим небом у дороги, на бархатно-зеленом откосе и глядя на отражения заходящего солнца в лужице бурой стоячей воды у самых твоих ног, в колее, вдавленной колесами двуколок.

Я люблю до безумия эти странствия по свету, который как бы заново открываешь, удивляясь нравам, о которых и не подозревал, люблю свою пробудившуюся жадную любознательность, новые виды, радующие глаз, неослабную работу мысли!

Только одно портит мне прелесть исследования незнакомых мест — это чтение путеводителей. Написанные коммивояжерами сих дел, полные пошлых и всегда лживых описаний, неизменно ошибочных справок, чистейшего вымысла в указаниях дороги, все они, за исключением одного превосходного немецкого путеводителя, могут еще, пожалуй, служить утехой лавочникам, предпринимающим увеселительные железнодорожные поездки и знакомящимся со страной по Жоанну, но приводят в отчаяние настоящих туристов, шагающих с мешком на спине и палкой в руке по тропинкам, по оврагам и по берегу моря.

Путеводители лгут, ничего не знают, ничего не понимают и уродуют своей напыщенной и дурацкой прозой самые живописные местности; они осведомлены только о главных проезжих дорогах и, право, стоят так называемых карт генерального штаба, на которых до сих пор не помечены плотины Сены, сооруженные вот уже почти тридцать лет.

А между тем как приятно во время путешествия познакомиться заранее с той местностью, куда направляешься! Какое удовольствие найти книгу, где какой-нибудь скиталец набросал свои мимолетные впечатления! Это только введение, оно лишь подготовляет вас к знакомству со страной. Но иногда это нечто большее. Когда, путешествуя по Алжиру, углубляешься до оазиса Лагуат, надо ежедневно, ежечасно читать чудесную книгу Фромантена *Лето в Сахаре*. Она открывает вам глаза, пробуждает мысль, как бы еще ярче освещает эти равнины, эти горы, эти огненные безлюдные пространства, она показывает вам самую душу пустыни.

Во Франции повсюду найдутся уголки, почти неизвестные и очаровательные. Не притязая на составление нового путеводителя, я хотел бы только время от времени рассказывать о некоторых коротких экскурсиях, о путешествиях в течение десяти — пятнадцати дней, постоянно совершаемых любителями, но совсем неведомых домоседам.

Никогда не следовать по большим дорогам, а всегда лишь по тропинкам, ночевать в ригах, если вблизи нет гостиницы, питаться хлебом и водой, когда негде найти другой пищи, не бояться ни дождя, ни расстояния, ни долгих часов непрерывной ходьбы — вот что нужно, чтобы познакомиться со страной, проникнуть в самое ее сердце, чтобы обнаружить уже неподалеку от городов, так хорошо знакомых туристам, тысячу вещей, о которых раньше и не подозревал.

Среди старых провинций Франции одна из самых любопытных — это Бретань. Достаточно десяти дней, чтобы ознакомиться с нею, чтобы изучить ее характер; ведь у каждой страны, как и у каждого человека, есть свой собственный характер.

Бросим на нее беглый взгляд. Пройдем хотя бы только из Ванна до Дуарненеза вдоль берега, настоя-

щего бретонского берега, пустынного и плоского, усеянного рифами, где постоянно рокочут волны, точно отвечая на свист ветра в ланде.

Морбиан — нечто вроде внутреннего моря, поднимающегося и опускающегося под действием приливов и отливов в океане,— простирается перед ваннской пристанью. Его надо пересечь, чтобы выйти в открытое море.

На нем множество островов, друидических островов, таинственных, словно посещаемых привидениями. На этих островах могильные насыпи, менгиры и долмены, все те странные камни, которым поклонялись некогда почти как богам. По словам бретонцев, этих островков столько, сколько дней в году. Морбиан — море, полное символов и суеверий.

И в этом — главное очарование страны; она родина легенд. Старые верования, уже умершие повсюду, продолжают корениться в ее гранитной почве. Старинные сказания тоже сохранились здесь в полной неприкосновенности, и какой-нибудь крестьянин так расскажет вам о событиях, происшедших пятнадцать веков назад, будто они совершились вчера, будто его отец или дед были их очевидцами.

Бывают подземелья, где тело мертвеца сохраняется нетронутым, в том виде, в каком его сковала смерть, и только высыхает оттого, что кровь остановилась в жилах. Так и воспоминания вечно живут в этом уголке Франции, воспоминания и даже образ мыслей предков.

Я вышел из Ванна в самый день прибытия туда, чтобы осмотреть исторический замок Сюсиньо, а оттуда отправиться в Локмарьакер, потом в Карнак и дальше по берегу, в Пон-л'Аббе, Пенмар, на мыс Ра и в Дуарненез.

Дорога шла сначала вдоль Морбиана, потом по бесконечной ланде, изрезанной канавами с водой, без единого дома, без единого деревца, без единого живого существа, сплошь заросшей утесником, который со свистом качался от яростного ветра, гнавшего по небу обрывки как бы стонущих туч.

Потом я прошел через маленькую деревушку, где бродили босиком три грязных крестьянина и девушка лет двадцати с черными от навоза ногами, а дальше —

опять ланда, пустынная, голая, болотистая; она тянулась до самого океана, серая полоса которого уходила за горизонт, сверкая кое-где барашками пены.

Посреди этих диких просторов возвышались развалины: квадратный замок с башнями по бокам, одинокий между двумя пустынями — морем и ландой.

Старый замок Сюсиньо, построенный в тринадцатом веке, знаменит. Здесь родился великий коннетабль де Ришмон, который отвоевал Францию у англичан.

Ворот уже нет. Я вошел на широкий пустой двор, где лежат кучи камня от рухнувших башенок. И, подымаясь по остаткам лестниц, взбираясь по развороченным стенам, хватаясь за плющ, за гранитные наполовину вывалившиеся глыбы, за все, что попадалось под руку, я добрался, наконец, до верхушки башни, откуда стал смотреть на Бретань.

Прямо против меня, за невозделанной равниной — океан, мутный, шумящий под черным небом, а всюду кругом — ланда! Далее, направо, Морбиан с его изрезанными берегами, а еще дальше едва видимая белая полоска земли — Ванн, озаренный лучом солнца, не знаю как пробравшимся между тучами. А там, совсем уж далеко, огромный мыс — Киберон!

И все такое грустное, меланхоличное, унылое. Ветер плакал, пробегая по этим мрачным пространствам; я действительно находился в стране призраков; в этих стенах среди низкорослого, свистящего утесника, в этих ямах со стоячей водой,— я чувствовал,— витали легенды.

На следующий день я прошел через Сен-Жильдас, где словно бродит тень Абеляра. В Пор-Навало матрос, перевозивший меня через пролив, рассказывал мне о своем отце-шуане, о старшем брате-шуане, о дяде-священнике, тоже шуане. Все трое погибли... Его вытянутая рука показывала на Киберон.

В Локмарьакере я вступил на родину друидов. Один бретонец показал мне стол Цезаря, гранитное чудище, поддерживаемое колоссами; потом он заговорил со мной о Цезаре, словно о каком-то старике, которого знавал лично.

Продолжая свой путь вдоль берега между ландой и

океаном, к вечеру с вершины кургана я увидел перед собой усеянные камнями поля Карнака.

Они казались живыми, эти выстроившиеся нескончаемыми рядами камни, то исполинские, то крошечные, четырехугольные, продолговатые, плоские, похожие на тощие или пузатые тела. Если долго на них смотреть, начинает казаться, что они шевелятся, наклоняются, живут!

Среди них можно заблудиться. Иногда эту гранитную толпу разделяет стена; обойдешь ее, а там опять те же странные фигуры, похожие то на ряды деревьев по бокам аллей, то на солдат в строю, то на страшные привидения.

Сердце начинает биться, вас охватывает волнение, вы уноситесь мысленно в прошлое, предаетесь суеверным настроениям.

Я стоял неподвижно, изумленный и очарованный, как вдруг меня испугал внезапный шум за спиною, и я мгновенно обернулся. Старик, одетый в черное, с книгой под мышкой, поклонившись, сказал мне:

— Так вы, сударь, осматриваете наш Карнак?

Я поделился с ним своим восхищением и признался, что он напугал меня. Он продолжал:

— Здесь, сударь, самый воздух так насыщен поверьями, что все боятся сами не зная чего. Вот уж пять лет, как я произвожу раскопки под этими камнями: почти каждый из них скрывает какую-нибудь тайну, и подчас мне думается, что у них у всех есть душа. Попадая на парижские бульвары, я посмеиваюсь над своей глупостью, но стоит мне вернуться в Карнак,— и я опять верующий; я верую бессознательно, у меня нет определенной религии, но я принимаю их все.

И, ударив ногой о землю, он добавил:

— Религия владеет этой землей. Никогда не надо шутить над угасшими верованиями, ибо ничто не умирает. Мы, сударь, находимся с вами у друидов, будем же уважать их веру.

Солнце опустилось в море, но небо еще хранило красный отблеск, отливавший кровью на больших камнях вокруг нас.

Старик улыбнулся.

— Представьте себе, эти ужасные верования так

сильны здесь, что у меня вот на этом самом месте было видение! Да что там — мне явился настоящий призрак! Вот здесь, на этом долмене, однажды вечером, в этот самый час, я ясно увидел волшебницу Коридвен, варившую чудодейственное снадобье.

Я прервал его вопросом, кто такая волшебница Коридвен.

Он возмутился:

—Как, вы не знаете жены бога Гю и матери корриганов?

— Нет, признаюсь. Если это легенда, расскажите мне ее.

Я уселся рядом с ним на менгир.

Он начал:

— У бога Гю, отца друидов, была жена, волшебница Коридвен. Она родила ему троих детей: Мор-Вро, Крейз-Виу, самую прекрасную на свете девушку, и Аравик-Дю, отвратительнейшее из живых существ.

Коридвен, по материнской любви своей, захотела хоть чем-нибудь одарить этого безобразного сына и решила напоить его зельем, от которого он получит дар прорицания.

Снадобье должно было вариться целый год. Волшебница поручила охрану сосуда с напитком слепому, по имени Морда́, и карлику Гвиу.

Когда год подходил к концу, у сторожей ослабело усердие; немного драгоценной влаги пролилось, и три капли упали на палец карлика, который, поднеся его к губам, тут же получил дар провидения. Сосуд тотчас сам собой разбился, а появившаяся Коридвен бросилась на Гвиу, который пустился бежать.

Погоня уже настигала его, и, чтобы бежать быстрее, он обернулся зайцем; но волшебница тотчас превратилась в гончую собаку и понеслась за ним. Она чуть не схватила его на берегу реки, но, обернувшись рыбой, он нырнул в воду. Тогда появилась громадная выдра, которая совсем было нагнала его, так что ему удалось спастись, только превратясь в птицу. Но вот с высоты небес ринулся большой ястреб, раскинул крылья, раскрыл клюв: это была все та же Коридвен, и Гвиу, содрогаясь от страха, упал хлебным зернышком на кучу пшеницы.

Тогда прибежала большая черная курица и проглотила его. Отомщенная Коридвен отдыхала, когда вдруг почувствовала, что будет снова матерью.

Хлебное зерно проросло в ней, и родился ребенок, которого Гю пустил по воде в камышовой люльке. Но ребенок, спасенный сыном короля, Гуидно, стал гением, духом ланды, корриганом. Таким образом, все маленькие сказочные существа, карлики, блуждающие духи, которые водятся в этих камнях, произошли от Коридвен. Говорят, что они живут под землей, в ямках, и по вечерам выходят побегать в утеснике. Посидите здесь подольше, сударь, среди этих зачарованных памятников; всмотритесь попристальней в какой-нибудь лежащий на земле долмен, и скоро вы услышите шорох, увидите, как шевелится камень, и задрожите от страха, разглядев лицо корригана, который смотрит на вас из-под гранитной глыбы, приподняв ее головой. А теперь пойдемте обедать.

Наступила ночь, безлунная, совершенно черная, наполненная шумом ветра. Протянув руки, я шел ощупью, натыкаясь на высокие камни; выслушанный рассказ, эта местность, мои мысли — все приняло такую сверхъестественную окраску, что я совсем бы не удивился, если бы вдруг какой-нибудь корриган прошмыгнул у меня под ногами.

На другой день я возобновил свой путь через ланды, деревушки и города — Лориен, Кемперле, такой красивый на фоне долины, и Кемпер!

От Кемпера большая дорога идет берегом, пересекает долины, проходит мимо угрюмого, заросшего травой озера и приводит наконец в Пон-л'Аббе, маленький городок, самый что ни на есть бретонский среди всей этой старозаветнобретонской Бретани, которая тянется от Морбиана до мыса Ра.

При входе в город стоит старинный замок с башнями, купающий подножие своих стен в унылом-унылом пруду, над которым летают дикие птицы. Здесь берет начало река, по которой мелкие суденышки могут подыматься до города. По узким улицам с вековыми домами проходят мужчины в громадных широкополых шляпах, в роскошно расшитых жилетах и в четырех куртках, надетых одна на другую: верхняя, величиной

с ладонь, едва закрывает лопатки, а нижняя спускается чуть ли не до колен.

У девушек, рослых, красивых, свежих, суконный лиф стягивает стан наподобие лат и так уродует грудь, что и не догадываешься о пышных формах бретонок. На головах у них чрезвычайно странные уборы. Две расшитые пестрые розетки на висках обрамляют лицо и придерживают волосы, которые спущены вниз, а потом подобраны на макушке под своеобразный чепец, нередко затканный золотом и серебром.

Дорога снова выходит из этого маленького позабытого здесь средневекового городка. Она идет через ланду, кое-где поросшую утесником. Там и сям пасутся у дороги три — четыре коровы, всегда вместе с бараном. Вот уже несколько дней вы спрашиваете себя, почему коров непременно сопровождает баран. Этот вопрос надоедливо встает перед вами, донимает вас, становится навязчивой мыслью. Вы ищете человека, который мог бы дать объяснение. Найти его не просто, так как случается, что, бродя целую неделю по деревням, вы не встретите никого, кто бы знал хоть слово по-французски. Наконец какой-нибудь кюре, идущий размеренным шагом с требником в руках, вежливо объяснит вам, что этот баран является долей, предназначенной для волка.

Баран стоит меньше коровы, а так как схватить его можно, не подвергаясь опасности, волк всегда его и предпочитает. Но часто случается, что храбрые коровы образуют каре вокруг своего невинного товарища и принимают на острые рога воющего зверя, пожелавшего отведать свежатины.

Волк! Здесь вы услышите и о том легендарном волке, которым нас всех пугали в детстве, о белом волке, большом белом волке, которого видел каждый охотник, но никто никогда не убивал.

По утрам его не встречают. Он появляется зимой около пяти часов, на закате солнца, бежит по оголенной вершине холма, скользит длинной тенью на фоне неба и исчезает.

Почему никто не убил его до сих пор? А вот почему. Впрочем, это только догадка. Плотные охотничьи завтраки начинаются около часу дня и кончаются в

четыре. Пьют много, толкуют о белом волке. Не мудрено, что, выйдя из-за стола, охотники его нередко видят. И удивительно ли, что его не убивают?

Я шел все вперед по серой, окованной гранитом дороге, блестевшей под лучами солнца. По обеим сторонам плоская, кое-где поросшая утесником равнина. При взгляде на большие повалившиеся камни в памяти оживает воспоминание о друидах, а ветер, дующий понизу, свистит в колючем кустарнике. Иногда земля вздрагивает от глухого шума, как бы от далекого пушечного выстрела: это значит, что я уже близко от Пенмара, где море плещется в гулких пещерах. Обрушиваясь в эти провалы, волны сотрясают весь берег, и в бурную погоду грохот их слышен даже в Кемпере.

Давно уже стала видна широкая полоса серых волн, которые словно высятся над этой низкой и голой местностью. Скалы, груды подводных острых камней, разбивая волны, повсюду высовывают из воды свои черные головы, окруженные кольцом пены и как будто истекающие слюною; а дальше, у самой воды, несколько продрогших домиков стараются укрыться за небольшими кучами камней от вечного урагана водных просторов и от соленых брызг океана.

Высокий маяк, вздрагивающий на своем скалистом подножии, врезывается в самые волны, и сторожа рассказывают, что иногда, в неспокойные ночи, его высокий гранитный столб качает, как корабль, башенные часы плашмя летят на землю, и все висящие на стенах предметы срываются, падают и разбиваются.

От маяка до Конкета тянется полоса кораблекрушений. Здесь, точно в засаде, притаилась смерть, ужасная морская смерть, Утопительница. Ни один берег не представляет бо́льшей опасности, не внушает бо́льших страхов, не пожирает столько человеческих жизней.

В низеньких рыбацких домиках, в грязи, вместе со свиньями, ютятся старуха-мать, взрослые дочери с голыми и грязными ногами и сыновья, из которых старшему не более тридцати. Почти никогда вы не увидите здесь отца, редко — старшего сына. Не спрашивайте, где они, так как старуха протянет руку к

бушующему, вздувшемуся морю, точно всегда готовому обрушиться на этот берег.

Не только коварное море пожирает здесь людей. У него есть всемогущий, еще более коварный союзник, который помогает ему каждую ночь в прожорливых поисках человеческого мяса,— алкоголь. Рыбаки знают это, сознаются в этом. «Когда бутылка полна,— говорят они,— видны подводные камни; но когда бутылка опустеет, их больше не видать».

Берег Пенмара страшен. Сюда-то, должно быть, морские разбойники и заманивали сбившиеся с пути корабли: надев корове путы, чтобы она хромала, они прикрепляли к ее рогам фонарь, внушавший обманчивую мысль, будто с этой стороны идет какой-то другой корабль.

А вот, немного правее, скала, получившая известность после ужасающей драмы. Жена одного из последних префектов Морбиана сидела на этом камне, держа на коленях маленькую дочку. Море, в нескольких метрах у ее ног, казалось спокойным, безобидным, спящим.

Вдруг одна из тех странных волн, которые носят название одиночных, поднялась из глубины, бесшумно подкралась, вздулась хребтом, вползла на утес и, как коварный злодей, унесла обеих, поглотив их в одно мгновение. Таможники, проходившие вдалеке, видели только розовый зонтик, мирно плывущий по морю, уже утихшему, да высокую голую скалу, по которой струилась вода.

В течение года врачи и адвокаты спорили, доказывали, препирались, чтобы определить, кто из двух, мать или ребенок, унесенные волной, умер раньше. Топили кошек с котятами, сук со щенками, крольчих с крольчатами, чтоб устранить всякое сомнение, ибо от этого зависел вопрос о крупном наследстве. Состояние должно было перейти к той или другой семье, в зависимости от того, в маленьком тельце или в теле взрослой женщины предсмертные судороги кончились позднее.

Почти против этого рокового места стоит гранитный холм с крестом, распятие, какие встречаешь на каждом шагу в этом благочестивом крае, где кресты,

очень древние, так же многочисленны, как еще более древние долмены. Но это распятие возвышается над удивительным барельефом, изображающим в грубом и смешном виде разрешение девы Марии от бремени. Один приезжий англичанин пришел в восторг от столь наивной скульптуры и велел установить над памятником навес, чтобы предохранить его от непогоды в этом суровом климате.

Далее вы следуете берегом, бесконечным берегом, вдоль всего залива Одьерн. Надо перебраться вброд или вплавь через две небольшие речушки, тащиться по глубокому песку или по залежам сухих водорослей, идти все время между двумя пустынями, одной движущейся, другой неподвижной, между морем и ландой.

Вот и Одьерн, маленькая унылая пристань; ее оживляют только пристающие и отчаливающие лодки, занятые ловлей сардин.

Утром перед уходом вместо обычного кофе с молоком вы завтракаете маленькими свежими рыбками, чуть посыпанными солью, нежными и душистыми, настоящими морскими фиалками. И вы отправляетесь на мыс Ра, этот край света, эту конечную точку Европы.

Вы поднимаетесь все выше и выше и вдруг видите перед собой два моря — налево океан, направо Ламанш.

Здесь идет беспрестанная борьба, сталкиваются два течения и волны, всегда грозные, опрокидывают корабли, глотают их, как мелкие конфеты.

> О волны, сколько тайн зловещих вам известно!
> Вы ниц повергнутых страшите матерей...

На далеко выступающем мысу нет ни единого дерева, ничего, кроме кустиков травы. На самом конце его — два маяка, и вдали на скалах повсюду торчат другие маяки. Один из них никак не удается достроить вот уже десять лет. Ярость моря разрушает упорную работу людей, по мере того, как она подвигается.

Там, напротив, остров Сен, священный остров, глядит на горизонт, туда, где за Брестским рейдом вырастает из воды его опасный товарищ — остров Уэссан.

Уэссан увидать —
Свою кровь проливать,—

говорят матросы. Остров Уэссан самый неприступный из всех бретонских островов, и моряки приближаются к нему с содроганием.

Высокий мыс сразу обрывается, его берег отвесно спускается в море, где бьются друг с другом волны. Но его все же огибает узенькая тропа; то она ползет по наклонным гранитным глыбам, то извивается по их гребню шириной в ладонь.

Вдруг под вами раскрывается ужасная пропасть, по стенам которой, черным, точно вымазанным чернилами, гулко передается ожесточенный шум битвы морей, происходящей внизу, в глубине этой бездны, прозванной Адом.

Хотя я стоял в ста метрах над морем, до меня долетали плевки пены, и, наклонясь над пропастью, я любовался этим бушеванием волн, как бы вздымаемых непонятной яростью.

Это был действительно ад, не описанный ни одним поэтом. И ужас охватывал меня при мысли о людях, которые низвергались туда, которых кидало волнами, кружило водоворотом, втягивало в эту бурю между четырьмя каменными стенами, швыряло на выступ утеса, опять подхватывало прибоем и снова выбрасывало кипучими чудовищными валами.

И я продолжал путь, преследуемый этими образами, измученный сильным ветром, хлеставшим одинокий мыс.

Минут через двадцать я был в маленькой деревушке. Старый священник, читавший требник под сенью каменной стены, поклонился мне. Я спросил его, где можно переночевать; он предложил мне ночлег у себя.

Час спустя, когда мы сидели вдвоем у порога его дома и говорили об этой унылой стране, наводящей тоску, мимо нас прошел мальчик-бретонец, босой, с развевающимися по ветру длинными белокурыми волосами.

Священник окликнул его на местном наречии, и малыш подошел к нам; вдруг оробев, он потупил глаза и неловко опустил руки.

Худ. Андре Сюреда, 1902. «ПРОВИНЦИЯ АЛЖИР».

Худ. Андре Сюреда. 1902. «ИЗ КАБИЛИИ В БУЖИ».

— Он прочтет нам наизусть духовную песню,— сказал мне священник.— Парнишка одарен большой памятью; надеюсь, из него будет толк.

И ребенок начал лепетать непонятные слова тем жалобным голосом, каким маленькие девочки читают заученные басни. Он говорил, не останавливаясь на точках и запятых, слитно произносил слога, точно весь отрывок состоял из одного бесконечного слова, останавливался на секунду, чтобы перевести дух, и снова принимался быстро и невнятно бормотать.

Вдруг он умолк. Он кончил. Священник ласково потрепал его по щеке.

— Хорошо, ступай.

И мальчуган убежал.

— Он прочел вам старинную духовную песню, сложенную в этой стране,— сказал мой хозяин.

— Старинную песню? — спросил я.— Известна ли она?

— О, нет! Если хотите, я вам ее переведу.

И старик громким голосом, оживляясь, как будто он произносил проповедь, угрожающе подняв руку и отчеканивая слова, прочел эту наивную и прекрасную духовную песню, слова которой я записал под его диктовку:

БРЕТОНСКАЯ ДУХОВНАЯ ПЕСНЯ

Ад, ад! Знаете ли вы, грешники, что такое ад?

Это печь огненная, где воет пламя, печь, рядом с которой огонь кузнечного горна, огонь, докрасна раскаляющий печные плиты, не более, как дым!

Там никогда не увидишь света! Огонь пылает невидимо, как лихорадка. Туда никогда не войдет надежда, ибо двери запечатлены божьим гневом.

Пламя над головами вашими, пламя вокруг вас! Вы голодны? Ешьте огонь! Вас мучит жажда? Пейте из этой реки, где расплавлено железо и сера.

Вы будете плакать целую вечность, слезы ваши сольются в целое море, и это море будет для ада ничтожнее капли воды! Ваши слезы лишь будут под-

держивать пламя, а не угашать его, и вы почувствуете, как кипит мозг ваших костей.

Потом снимут вам головы с плеч, и все же вы будете жить! Демоны станут играть вашими головами, словно мячом, поджаривать ваши тела на горящих углях, вы почувствуете, как обугливается ваша плоть, и все же будете жить.

И будут там еще иные муки. Вы услышите упреки, проклятия, хулу.

Отец скажет сыну своему: «Будь проклят, сын от плоти моей, ибо это для тебя я собирал богатства хищением!»

И сын ответит: «Будь проклят, проклят, отец мой, ибо это ты вселил в меня гордыню и привел меня сюда».

И дочь скажет матери своей: «Горе тебе тысячу раз, мать моя! Горе тебе, вместилище порока, ибо ты предоставила мне свободу, и я отреклась от бога!»

Мать больше не узнает детей своих, и она ответит: «Да будет проклятье на дочерях моих и на сыновьях моих, проклятье на сыновьях дочерей моих и на дочерях сыновей моих!»

И вопли ее будут раздаваться вечно. И муки ее пребудут без конца. А этот огонь!.. Этот огонь!.. Божий гнев зажег его, этот огонь!.. Он вечно будет гореть, неугасимый, бездымный; не ослабевая, будет проникать он до глубины ваших костей.

Вечность!.. Горе!.. Никогда не перестанешь умирать, никогда не перестанешь тонуть в океане мучений.

О *никогда!* — это слово необъятно, как море. О *никогда*! Сколько в тебе воплей, слез и отчаяния. *Никогда!* Как ты безжалостно! Страх вселяешь ты!

Старик-священник умолк.

— Не правда ли, это ужасно? — спросил он, помолчав.

Издали до нас доносился неумолчный шум волн, остервенело бивших о мрачный скалистый берег. Я вспомнил зловещую ревущую бездну, полную кипящей пены, настоящее пристанище смерти, и чувство, близкое к мистическому страху, от которого содрогаются богомольцы, сдавило мне сердце.

С восходом солнца я отправился дальше, рассчитывая до наступления ночи достигнуть Дуарненеза.

Когда я разыскивал тропинку таможенников, ко мне подошел какой-то человек, говоривший по-французски,— он в течение четырнадцати лет плавал на судах государственного флота,— и мы спустились вместе к бухте Мертвых, ограниченной с одной стороны мысом Ра.

Вид на этот огромный песчаный амфитеатр незабываемо грустен, тревожен, печален; он вселяет в вас непобедимое желание уйти, отправиться дальше. Голая, поросшая мелким утесником долина с мрачным озером, с озером, которое кажется мертвым, прилегает к жуткому песчаному берегу.

Все это выглядит подлинным преддверием адской обители. Желтый песок тянется унылой и ровной полосой до длинного, расположенного напротив Ра гранитного мыса, о который разбиваются бешеные волны.

Издали мы увидели трех мужчин, неподвижно стоящих на песке. Мой спутник казался удивленным, потому что никто никогда не посещает эту мрачную бухту. Но, подойдя ближе, мы увидели, что рядом с ними лежит что-то длинное, будто врытое в прибрежный песок; иногда они наклонялись, дотрагивались до этого предмета и опять выпрямлялись.

Это был мертвец, утопленник, матрос из Дуарненеза, пропавший на прошлой неделе с четырьмя товарищами. С неделю их ждали у этого места, куда течение приносит трупы. Он первым из четырех прибыл на последнее свидание.

Но моего проводника занимало другое; утопленники не редкость в этом краю. Он повел меня к унылому озеру и, предложив наклониться над водой, показал

мне стены города Ис. Это были едва различаемые обломки каких-то древних каменных построек. Потом я напился из родника, бежавшего тоненькой струйкой,— по его словам, это была лучшая вода во всем крае. Потом он рассказал мне историю исчезнувшего города, как будто это событие случилось не так давно и произошло по крайней мере на глазах его деда.

У одного доброго и слабохарактерного короля была дочь, порочная и прекрасная, столь прекрасная, что все мужчины, увидав ее, сходили по ней с ума, и столь порочная, что она отдавалась всем, а потом приказывала убивать своих любовников, сбрасывать их в море с вершины соседних скал.

Ее необузданные страсти были, говорят, неистовей бешеных морских волн и неутолимей их. Ее тело было, точно очаг, на котором сгорали души, уносимые потом сатаной.

Бог потерял терпение и открыл свою волю святому старцу, жившему в этой стране. Святой поведал об этом королю; тот не решился наказать и запереть свою любимую дочь, но предупредил ее о божьем гневе. Она оставила его слова без внимания и, наоборот, стала предаваться такому распутству, что весь город, подражая ей, превратился в город сладострастия, откуда были изгнаны всякий стыд и добродетель.

Однажды ночью бог разбудил святого, чтобы возвестить ему о наступившем часе возмездия. Святой поспешил к королю, который один во всей стране оставался добродетельным. Король велел оседлать коня, а другого дал святому, и тот сел на него. Послышался сильный шум, и испуганные всадники увидели море, которое, бушуя и рокоча, все ближе надвигалось на берег. Тогда королевская дочь показалась в своем окошечке, взывая: «Отец мой, ужели вы допустите мою гибель?» И король посадил ее на лошадь позади себя и умчался через одни городские ворота, в то время как море вливалось в другие.

Они скакали в ночном мраке, но волны догоняли их с ревом и страшным грохотом. Вот уже скользкая пена стала касаться лошадиных копыт, и святой старец сказал королю:

— Государь, сбросьте дочь вашу с седла, иначе вы погибнете.

А дочь кричала:

— Отец, отец, не покидайте меня!

Но святой привстал на стременах, голос его загремел, как гром, и он возвестил:

— Это господняя воля!

Тогда король оттолкнул от себя дочь, которая цеплялась за него, и сбросил ее с крупа коня. Волны тотчас же подхватили ее и затем обратились вспять.

А печальное озеро, в которое погружены эти развалины,— это воды, затопившие некогда осквернённый и разрушенный город.

Эта легенда, как видите, похожа на историю Содома в переделке для дам.

Событие же, о котором говорится точно о случившемся вчера, произошло, кажется, в четвертом веке после рождества Христова.

К вечеру я пришел в Дуарненез.

Это рыбацкий городишко, который был бы самым знаменитым из морских курортов Франции, если бы не его уединенное местоположение.

Что составляет всю красоту и прелесть Дуарненеза, это залив. Город расположен в глубине его и как будто любуется на мягкие волнистые очертания берегов: изгибы их очаровательны, а вдалеке гребни скал тонут в бело-голубых легких и прозрачных туманах, которые наплывают с моря.

На другой день я отправился в Кемпер, а ночевал уже в Бресте, чтобы на рассвете вернуться поездом в Париж.

ЛЕ-КРЁЗО

Небо синее, совершенно синее, залитое солнцем. Поезд только что проехал Моншанен. Вдали перед нами поднимается сплошное черное облако, которое точно выползает из-под земли и затемняет ясную дневную лазурь,— тяжелое, неподвижное облако. Это дым Ле-Крёзо. Мы приближаемся и видим город отчетливее. Множество гигантских труб извергает змеящиеся струи дыма; другие трубы, менее высокие, пыхтя, выплевывают клубы пара; все это смешивается, стелется, плавает в воздухе, окутывает город, наполняет улицы, скрывает небо, гасит солнце. Здесь почти темно. Угольная пыль проникает всюду, щиплет глаза, чернит кожу, пачкает белье Дома черны, как будто вымазаны сажей, мостовые черны, оконные стекла запорошены угольной пылью. В воздухе носится запах дыма, смолы, каменного угля, от него саднит горло, стесняет грудь; в терпком смраде железа, кузницы, раскаленного металла, пылающего горна иной раз так спирает дыхание, что вы невольно поднимаете глаза в поисках ясного неба, вам хочется глотнуть чистого, вольного, здорового воздуха, а над вами нависла густая и темная туча, а вокруг летают мелкие осколки каменного угля, от которых рябит в глазах.

Это Ле-Крёзо.

Глухой несмолкаемый шум сотрясает землю, шум, слившийся из тысячи шумов и прерываемый время от времени громовым ударом, толчком, от которого содрогается весь город.

Войдем на завод господ Шнейдер.

Какая волшебная картина! Это царство Железа, где властвует его величество Огонь!

Огонь! Он везде. Насколько может охватить взор, выстроились в ряд огромные здания, высокие, как горы; они доверху уставлены машинами; здесь что-то вертится, опускается, поднимается, пыхтит, свистит, стонет, скрипит. И всеми машинами движет огонь.

Здесь — пылающий уголь, там — фонтаны пламени; дальше железные раскаленные глыбы, которые движутся, катятся, выходят из печи, попадают в прокатные станы, вновь выходят оттуда, сотни раз возвращаются обратно, меняя форму, все так же раскаленные докрасна. Прожорливые машины поглощают этот огонь, это пылающее железо, дробят его, режут, пилят, сплющивают, вытягивают в проволоку, скручивают, делают из него локомотивы, пароходы, пушки, тысячу разнообразных вещей, тонких, как чеканка художника, чудовищных, как создания великанов, вещей сложных, хрупких, грубых, массивных.

Постараемся увидеть и понять.

Мы входим направо в обширный цех, где стоят четыре громадных машины. Они работают медленно, двигая своими колесами, поршнями, рычагами. Что же они делают? Они заняты не чем иным, как подачей воздуха в плавильные печи, где кипит расплавленный металл. Это — чудовищные легкие исполинских реторт, которые мы сейчас увидим. Они дышат — и только; они поддерживают жизнь и пищеварение чудовищ.

А вот и реторты. Их две, на двух противоположных концах цеха; массивные, как башни, пузатые, ревущие, они выплевывают такую струю огня, что на расстоянии ста метров глаза ослеплены, кожа горит, и вы дышите, как в жарко натопленной бане.

Это похоже на неистовый вулкан. Из жерла реторты вырывается белый огонь, невыносимый для зрения, и бьет с такой силой, с таким шумом, что трудно себе представить.

Здесь кипит бессемеровская сталь, из которой делают рельсы. Красивый, молодой, сильный, серьезный человек в большой черной фетровой шляпе внимательно следит за этим ужасным дыханием. Он сидит перед

колесом, похожим на рулевое колесо парохода, и по временам, подобно лоцману, поворачивает его. Гнев реторты еще больше распаляется, и она извергает ураган пламени; это значит, что главный плавильщик усилил пронизывающий ее чудовищный сквозняк.

И, подобно капитану корабля, человек этот беспрестанно подносит к глазам бинокль, чтобы рассмотреть цвет огня. Он подает знак, подкатывается вагонетка и вливает в ревущее раскаленное жерло другие металлы. Плавильщик опять проверяет оттенки бушующего пламени, ища нужных показателей, и, внезапно повернув другое, совсем маленькое, колесо, накреняет гигантский ковш. Тот медленно поворачивается, выбрасывая до самой крыши цеха ужасающий сноп искр, и осторожно, как слон, старающийся быть грациозным, льет несколько капель пылающей жидкости в подставленную отливочную форму, после чего с ревом выпрямляется.

Другой человек увозит вылившийся из ковша огонь. Теперь это только красный слиток, который кладут под молот, приводимый в движение паром. Молот ударяет, сплющивает, превращает раскаленный металл в тонкий лист, который тотчас же охлаждают в воде. Щипцы подхватывают его, ломают, мастер внимательно проверяет зернистость металла и дает приказание:

— Лейте!

Ковш сейчас же наклоняется снова и, как слуга, наполняющий на столе стаканы, разливает по расставленным вокруг него формам пылающую струю стали, кипящую в его недрах.

Ковш перемещается просто, как бы сам собою, словно он одушевленное существо. Ведь чтобы привести в движение эти фантастические механизмы, чтобы заставить их выполнять нужную работу,— перемещаться туда и обратно, падать, подниматься, повертываться вбок, возвращаться,— достаточно дотронуться до рычагов толщиною с тросточку и нажать на кнопки, вроде тех, что бывают у электрических звонков. Здесь точно витает какая-то сверхъестественная сила, какой-то дух, управляющий тяжеловесными и плавными движениями этих изумительных аппаратов.

Мы выходим с распаренными лицами, с покрасневшими глазами.

Вот две кирпичные башни на открытом воздухе,— они слишком велики, чтобы поместиться под крышей. От них пышет невыносимым жаром. Человек, вооруженный железным ломом, ударяет по подножию башен, откалывает сначала нечто вроде штукатурки, ломает глубже, и вскоре появляется свет, огненная точка. Еще два удара, и целый ручей, целый поток огня вырывается наружу, струится по прорытым в земле каналам, течет, бежит без конца. Это чугун, расплавленный чугун в неочищенном виде. Можно задохнуться, стоя у этой страшной реки; мы убегаем, входим в высокое здание, где строят локомотивы и большие машины для военных судов.

Здесь вы уже ничего не различаете, ничего не понимаете, теряете голову. Лабиринт станков, маховиков, ремней, зубчатых колес, и все это в движении. На каждом шагу — чудовище, работающее над докрасна раскаленным или темным железом. Здесь — пилы, перерезающие пласты толщиною в человеческое тело; там — острия, что вонзаются в расплавленные глыбы и проходят их насквозь, как игла, прошивающая сукно; еще дальше — другое приспособление режет стальные листы, как ножницы лист бумаги. Все это работает одновременно, хоть и движется вразнобой — сказочное скопище злых и рычащих животных. И все время пылает огонь, огонь под молотами, огонь в печах, огонь повсюду, повсюду огонь. И постоянно все тот же оглушительный и равномерный удар, перекрывающий шум колес, котлов, наковален и всякого рода механизмов, сотрясает землю. Это бьет большой паровой молот Ле-Крёзо.

Он помещается в конце громадного здания, в котором находится еще десять или двенадцать молотов. Все они ударяют поминутно по раскаленной добела глыбе, которая брызжет целым дождем искр и малопомалу сплющивается, сжимается, принимает, в зависимости от желания человека, изогнутую, вытянутую или плоскую форму.

Он же, самый большой, весит сто тысяч кило и обрушивается, как гора, на глыбу красной стали, еще

более огромную, чем он сам. С каждым ударом ураган огня вырывается со всех сторон, и видно, как уменьшаются размеры массы, над которой работает чудовище.

Он поднимается и опускается беспрестанно; управляет им изящно и легко человек, осторожно нажимающий на хрупкий рычаг, и невольно вспоминаешь тех чудовищных зверей, которых некогда укрощали дети, как повествуется в сказках.

Мы входим в цех прокатных станов. Это еще более необычайное зрелище. Красные змеи ползут по полу, одни — тонкие, как веревки, а другие — толстые, как канаты. Одни, вот здесь, похожи на земляных червей непомерной длины, другие, вон там,— на ужасающих удавов. Здесь изготовляется проволока, там — рельсы для железных дорог.

Люди с металлической сеткой на лице, в кожаных перчатках и высоких сапогах, то и дело бросают в пасть машины кусок раскаленного железа. Машина хватает его, тянет, вытягивает, еще тянет, бросает, хватает вновь, делает все тоньше и тоньше. Железо извивается, как раненая змея, словно борется, но в конце концов уступает и все растягивается и растягивается, а стальная челюсть все время то выбрасывает его, то хватает.

Вот рельсы. Не имея сил сопротивляться, четырехугольная плотная масса бессемеровской стали, раскаленная докрасна, вытягивается под действием машин и за несколько секунд превращается в рельс. Гигантская пила обрезает его до нужного размера, а вслед идут другие, и так без конца — и ничто не останавливает, не замедляет этой чудовищной работы.

Мы выходим наконец на улицу черные, как кочегары, измученные, ослепленные. И над нашими головами висит густое облако угля и дыма, подымающееся до самых небес.

О, только бы увидеть немного цветов, поляну, ручей и траву, где можно прилечь, не думая ни о чем, не слыша ничего вокруг, кроме журчания воды или далекого пения петуха!

ИВЕТТА

ИВЕТТА

I

Выходя из кафе *Риш,* Жан де Сервиньи сказал Леону Савалю:

— В такую чудесную погоду не стоит брать фиакр. Если ты не возражаешь, пройдемся пешком.

— С удовольствием,— ответил ему друг.

— Сейчас только одиннадцать часов, мы придем в самом начале двенадцатого, спешить нечего,— заметил Жан.

Бульвар заполняла оживленная толпа, та веселящаяся, довольная толпа, что движется, пьет, шумит и струится в летние ночи, точно полноводная река. Местами огни кафе озаряли тротуар и посетителей, которые густым роем облепили столики с бутылками и стаканами, загромождая дорогу. А на мостовой мелькали красные, синие или зеленые глаза фиакров, и в освещенной витриной полосе на миг возникал угловатый контур бегущей рысцой лошади, фигура кучера на козлах и темный кузов кареты. Желтая обшивка юрбеновских фиакров яркими пятнами вспыхивала на свету.

Друзья шли неторопливо, покуривая сигары, перебросив пальто через руку; у обоих в петлице фрака был цветок, а цилиндр небрежно сдвинут набок, как это бывает в теплый вечер после хорошего обеда.

Еще со времен коллежа их связывала тесная, испытанная, прочная дружба.

Жан де Сервиньи, невысокий, стройный, чуть лысе-

ющий, чуть помятый, очень элегантный, светлоглазый, с волнистыми усами над изящной формы ртом, неутомимый, хотя и томный с виду, крепкий, хотя и бледный, был из породы тех полуночников, которые как будто родились и выросли на бульварах, из породы тех хрупких парижан, в которых гимнастика, фехтование, души и паровые ванны искусственно поддерживают нервную энергию. Он славился кутежами не меньше, чем умом, богатством, связями и широким радушием, а приветливость и светская галантность, казалось, были присущи ему от рождения.

Вообще же он был истый парижанин: беспечный, непостоянный, увлекающийся, деятельный и нерешительный, скептик, способный на все и ко всему безразличный; убежденный эгоист с великодушными порывами, он расточал свои доходы не в ущерб капиталу и развлекался не в ущерб здоровью. Холодный и пылкий, он постоянно давал волю чувству и тут же обуздывал его; игрушка противоречивых инстинктов, он уступал каждому из них, но в итоге руководствовался лишь трезвым рассудком прожигателя жизни, той флюгерной логикой, которая велит плыть по течению и пользоваться обстоятельствами, не давая себе труда способствовать им.

Приятель его, Леон Саваль, тоже человек богатый, был из тех красавцев-великанов, которых женщины провожают взглядом на улице. Казалось, что этот великолепный тип мужчины — своего рода оживший монумент, образцовый экземпляр, какие посылают на выставку. Он был не в меру красив, не в меру высок, не в меру плечист, не в меру силен, он грешил избытком всего, избытком достоинств. Любовным победам его не было числа.

Когда друзья подошли к Водевилю, Саваль спросил:

— Ты предупредил эту даму, что придешь со мной?

Сервиньи рассмеялся:

— Предупреждать маркизу Обарди? К чему? Разве ты предупреждаешь кондуктора, что сядешь в омнибус на углу бульвара?

Несколько растерявшись, Саваль переспросил:

— Да кто же, в сущности, эта особа?

И друг пояснил ему:

— Она искательница приключений, содержанка, прелестная распутница, вышла бог весть откуда, бог весть как проникла в мир авантюристов и там сумела создать себе положение. А впрочем, не все ли равно? Говорят, что в девицах она прозывалась Октавией Барден, а значит прозывается и теперь, потому что девкой она осталась во всех смыслах, за исключением невинности. Из слияния заглавной буквы имени и сокращенной фамилии получилось Обарди.

«А все-таки она премилая женщина, и ты, при твоей наружности, неизбежно будешь ее любовником. Нельзя безнаказанно привести Геркулеса к Мессалине. Впрочем, если вход в этот дом свободный, как в любой торговый дом, то вовсе не обязательно покупать предложенный товар. Наживаются там на картах и на любви, но не навязывают ни того, ни другого. Выход тоже свободный.

«Три года назад маркиза поселилась в квартале Этуаль, квартале тоже подозрительном, и открыла двери своего салона для накипи всех материков, которая ищет в Париже применения своим опасным и порочным талантам.

«И я попал к ней. Каким образом? Не припомню. Попал потому же, почему все мы бываем в таких местах, где играют, где женщины не отличаются строгостью, а мужчины честностью. Мне нравится общество этих флибустьеров с фантастическими орденами, все они непременно иностранцы, аристократы, все титулованы и все, за исключением шпионов, не известны послам своих стран. Все разглагольствуют о чести по всякому поводу, вспоминают о своих предках без всякого повода и всегда находят повод рассказать свои похождения; все они хвастуны, лгуны, плуты, все они ненадежны, как колоды их карт, фальшивы, как их титулы, смелы поневоле — смелостью убийц, которые, отправляясь на грабеж, неминуемо рискуют жизнью. Словом, это, что называется, сливки каторги.

«У меня к ним пристрастие. Интересно их распознавать, интересно изучать, забавно слушать, ибо им не чужд юмор, зато чужда бесцветность французских

чиновников. Женщины их круга всегда привлекательны, с пряным чужеземным душком и загадочным прошлым, которое, быть может, наполовину прошло в исправительном заведении. Обычно у них дивные глаза, необыкновенные волосы и вообще наружность, необходимая для их профессии, пьянящая прелесть, чары, толкающие на любые безумства, опасное, неотразимое обаяние. Это завоевательницы с повадками средневековых разбойников, истые самки хищных птиц. К ним у меня тоже пристрастие.

«Маркиза Обарди — образец этих шикарных распутниц. Женщина она зрелая, все еще красивая, вкрадчиво обольстительная; чувствуется, что она порочна до мозга костей. У нее в доме очень приятно: там играют, танцуют, ужинают... словом, проделывают все, что входит в программу светских развлечений.

— И ты состоял или состоишь в ее любовниках? — спросил Леон Саваль.

— Не состоял и не буду состоять. Я бываю там главным образом ради дочери,— отвечал Сервиньи.

— Ах, так! У нее есть дочь?

— И какая дочь! Истинное чудо, друг мой. В настоящее время это главная приманка притона. Рослая, величавая, в самом цвету,— ей восемнадцать лет,— такая же яркая блондинка, как мать — брюнетка, и всегда весела, всегда готова развлекаться, всегда смеется от души и танцует до упаду. Кто будет ее обладателем? Кто был им? Неизвестно. Нас десять претендентов, все мы ждем, все надеемся.

«Такая девушка — сущий клад в руках такой женщины, как маркиза. И обе они, бестии, ведут ловкую игру. Тут ничего не поймешь. Возможно, они ждут случая... повыгоднее, чем я. Ну, а если... случай подвернется мне, уж я им воспользуюсь, поверь.

«Откровенно говоря, сама девушка, Иветта, приводит меня в полное недоумение. Это загадка какая-то. Либо она чудовище коварства и порочности, какое мне еще не встречалось, либо самый удивительный в мире феномен невинности. Живя в такой гнусной среде, она полна невозмутимого, торжествующего спокойствия и великолепна своей безнравственностью или наивностью.

«Кто она — чудесный ли отпрыск авантюристки, пышный цветок, вскормленный гнильем и пробившийся из этой навозной кучи, или же дочь человека голубой крови, большого таланта, большого вельможи, принца или короля, случайно, на одну ночь, попавшего в постель к ее матери? Кто же она наконец, что она думает? Впрочем, посмотришь сам.

Саваль рассмеялся и сказал:

— Ты в нее влюблен.

— Нет. Я домогаюсь ее, а это совсем другое дело. Кстати, я представлю тебе самых серьезных моих соперников. Но у меня есть определенный шанс. Перевес на моей стороне, мне выказывают некоторое благоволение.

— Ты влюблен,— повторил Саваль.

— Нет. Она волнует, соблазняет, смущает меня, влечет меня и отпугивает. Я боюсь ее, как ловушки, и хочу ее, как хочешь щербета, когда томит жажда. Я поддаюсь ее обаянию, но подхожу к ней с опаской, словно к человеку, который слывет ловким вором. Когда я подле нее, во мне говорит безрассудное стремление к ее возможной чистоте и вполне благоразумная осторожность перед ее испорченностью, столь же вероятной. Я чувствую в ней существо не обычное, не согласное с законами природы, пленительное или отталкивающее — сам не знаю.

Саваль произнес в третий раз:

— Уверяю тебя, ты влюблен. Ты говоришь о ней с вдохновением поэта и лиризмом трубадура. Да загляни ты в себя, попытай свое сердце и признайся.

Сервиньи молча прошел несколько шагов, потом заговорил снова:

— Возможно, в конце концов. Уж очень она меня занимает. Может быть, я и влюблен, я слишком много думаю о ней. Думаю, когда засыпаю и когда просыпаюсь, а это серьезный признак... Ее образ следует за мной, преследует меня, постоянно сопутствует мне, он вечно передо мной, вокруг меня, во мне. Неужто это физическое наваждение и есть любовь? Лицо ее так запечатлелось в моей памяти, что едва я закрою глаза, как вижу ее. Я не отрицаю, у меня сильнее бьется сердце, стоит мне встретиться с ней. Должно быть, я люб-

лю ее, но как-то странно. Я страстно желаю ее, однако мысль жениться на ней показалась бы мне безумием, дикой нелепостью. Я и боюсь ее, как боится птица кружащего над ней ястреба. И ревную ее тоже, ревную ко всему, что скрыто от меня в этом непостижимом сердце. И постоянно задаю себе вопрос: кто она— прелестная девочка или чудовищная обманщица? От ее речей шарахнулся бы целый полк,— но ведь и попугай повторяет что попало. Она бывает так безрассудна и бесстыдна, что веришь в ее незапятнанную чистоту, а бывает и так неправдоподобно наивна, что сомневаешься, была ли она когда-нибудь целомудренна. Она дразнит, возбуждает меня, как куртизанка, но при этом блюдет себя, как девственница. Она, по-видимому, любит меня и при этом смеется надо мной; она ведет себя на людях, как моя любовница, а наедине обращается со мной, словно с братом или с лакеем.

«Иногда мне кажется, что у нее не меньше любовников, чем у ее матери. Иногда мне представляется, что она ничего не знает о жизни, понимаешь ты — ничего!

«Между прочим, она рьяная любительница чтения. Пока что я поставляю ей романы. Она называет меня своим библиотекарем.

«По моему поручению, «Современная книга» еженедельно посылает ей все новинки, и, кажется, она читает все подряд.

«Какой же винегрет должен получиться у нее в голове!

«Возможно, что эта литературная каша отчасти и послужила причиной ее экстравагантных манер. Когда смотришь на жизнь сквозь призму пятнадцати тысяч романов, то, наверно, видишь ее в странном свете и создаешь себе обо всем довольно дикое представление.

«Ну, а я... я жду. С одной стороны, бесспорно, что ни одной женщиной я не был так увлечен, как ею.

«Но столь же бесспорно, что я на ней не женюсь.

«Итак, если у нее были любовники, я увеличу их число. Если их не было, я возьму первый билет, как на конке.

«Положение ясное. Она безусловно не выйдет замуж. Ну кто женится на дочери маркизы Обарди, вер-

нее, Октавии Барден? Никто. И причин тому множество. Где найти ей мужа? В свете? Невозможно. Дом ее матери — публичный дом, где дочь — приманка для клиентов. При таких условиях не женятся.

«В буржуазном кругу? Еще менее вероятно. К тому же не в правилах маркизы совершать невыгодные сделки: она отдаст Иветту навсегда лишь человеку с высоким положением, а такого ей не раздобыть.

«Тогда среди простонародья? Совсем невероятно. Значит, выхода нет. Девица эта не принадлежит ни к свету, ни к буржуазии, ни к народу, и она не может посредством брака войти в определенный класс общества.

«Дочь такой матери по своему рождению, воспитанию, наследственности, манерам и привычкам обречена золотой проституции.

«От этого ей не уйти, разве только в монастырь, что маловероятно при ее манерах и вкусах. Значит, ей доступна лишь одна профессия: любовь. И к этому ремеслу она придет, если уже не занимается им. Ей не избежать своей судьбы. Из девушки она станет попросту девкой, и я не прочь способствовать этому превращению.

«Я выжидаю. В поклонниках недостатка нет. Ты увидишь среди них и француза — господина де Бельвиня, и русского, именуемого князем Краваловым, и итальянца — шевалье Вальреали; все они откровенно выставили свои кандидатуры и действуют соответствующим образом. Кроме того, вокруг нее рыщет много охотников помельче.

«Маркиза выжидает. Но, по-моему, у нее виды на меня. Она знает, что я очень богат, и считает, что я надежнее других.

«Салон ее — любопытнейшая из выставок такого сорта. Там попадаются даже вполне порядочные люди, вроде нас с тобой, ведь мы же идем туда, и мы не исключение. Что касается женщин, то маркиза отыскала, или, вернее, отобрала, все самое лучшее из своры потрошительниц карманов. Кто знает, где она их откопала? Их мир обособлен и от настоящих потаскушек и от богемы, обособлен от всего. Кроме того, ей пришла

гениальная идея приглашать тех авантюристок, у которых есть дети, преимущественно дочери. Таким образом, простак может вообразить себя в обществе добродетельных женщин!

Они дошли до авеню Елисейских полей. Легкий ветерок чуть пробегал по листве и порой касался лица, точно нежное дуновение огромного опахала, которое колебалось где-то в поднебесье. Безмолвные тени скользили под деревьями, другие темным пятном выделялись на скамьях. И тени эти шептались между собой, словно поверяли важные или постыдные тайны.

Сервиньи продолжал:

— Ты даже вообразить не можешь, какой подбор невероятных титулов встречаешь в этом притоне. Кстати, имей в виду, что я представлю тебя как графа Саваля; просто Саваль был бы принят неважно, весьма неважно.

Саваль возмутился:

— Ну нет, уволь. Я не желаю, чтобы у меня хотя бы на один вечер, хотя бы в такой компании заподозрили пошлое желание узурпировать титул. Ну нет!

Сервиньи засмеялся:

— Глупости. Меня, например, там окрестили герцогом де Сервиньи. Как и почему — неизвестно. Тем не менее я безропотно ношу герцогский титул. И это ничуть меня не смущает. Иначе меня бы жестоко презирали.

Но Саваль заупрямился:

— Для тебя это куда ни шло, ты дворянин. А мне это не годится, я предпочитаю быть там, в салоне, единственным плебеем. Нет худа без добра. Это будет знаком моего отличия и даже... превосходства.

Сервиньи настаивал:

— Это невозможно, понимаешь, невозможно. Это покажется просто чудовищным. Ты будешь словно тряпичник в сонме императоров. Доверься мне, я тебя отрекомендую как вице-короля Верхнего Миссисипи, и никого это не удивит. Мания величия не знает пределов.

— Говорю тебе, я не желаю.

— Хорошо, согласен. Кстати, бессмысленно убеждать тебя. Ручаюсь, как только ты переступишь порог

этого дома, тебя наградят титулом, как наделяют дам букетиком фиалок при входе в некоторые магазины.

Они свернули вправо на улицу Берри, поднялись во второй этаж красивого нового особняка и отдали свои пальто и трости четырем ливрейным лакеям. Воздух был пропитан душным ароматом празднества, ароматом цветов, духов и женщин, а из соседних покоев неслась непрерывный и невнятный гул голосов: чувствовалось, что там полно народа.

Высокий, прямой, строгий человек с брюшком и седыми бакенбардами, нечто вроде цереммониймейстера, приблизился к вновь прибывшим и, со степенным достоинством отвесив поклон, спросил:

— Как прикажете доложить?

Сервиньи ответил:

— Господин Саваль.

Мажордом распахнул двери и звучным голосом крикнул в толпу гостей:

— Герцог де Сервиньи!!

— Барон Саваль!

Первая гостиная была полна женщин. Прежде всего в глаза бросалась коллекция обнаженных бюстов над волнами ярких тканей.

Хозяйка дома стояла и беседовала с тремя приятельницами; обернувшись, она направилась навстречу входящим величавой поступью, с грацией в движениях и улыбкой на устах.

Блестящие черные волосы густой копной росли над ее узким и невысоким лбом, захватывая даже виски.

Эта статная женщина уже чуть отяжелела, чуть располнела, чуть перезрела, но была еще очень хороша массивной, знойной, властной красотой. Из-под черного шлема волос, который вызывал сладостные мечты и делал ее загадочно-желанной, глядели огромные, такие же черные глаза. Нос был чуть толстоват, а рот, большой, неотразимо соблазнительный, был создан для того, чтобы говорить и покорять.

Но обаятельнее всего у нее был голос. Он лился из ее уст, точно вода из родника, так естественно, так легко, так гармонично, так звучно, что слушать его доставляло физическое наслаждение. Радостно для слуха было внимать изящным речам, когда они текли плав-

но, словно струйки ручья, радостно для глаз смотреть, как приоткрываются при этом прекрасные, пожалуй, слишком румяные губы.

Она протянула Сервиньи руку для поцелуя и, выпустив веер, висевший на цепочке чеканного золота, подала вторую руку Савалю со словами:

— Милости просим, барон, все друзья герцога здесь у себя дома.

При этом она устремила блестящий взгляд на гиганта, склонившегося перед ней. Черный пушок над ее верхней губой — намек на усики — становился заметнее, когда она говорила. От нее приятно пахло крепкими, пьянящими духами, американскими или индийскими.

Входили другие гости — все маркизы, графы и принцы.

С материнской благосклонностью она сказала Сервиньи:

— Мою дочь вы увидите во второй гостиной. Веселитесь, господа, весь дом к вашим услугам.

И она покинула их для новых гостей, бросив Савалю беглый ласкающий взгляд, каким женщины дарят того, кто им понравился.

Сервиньи взял друга под руку.

— Я буду твоим провожатым,— сказал он.— В гостиной, где мы находимся,— женщины: здесь храм Плоти, свежей или с душком. Подержанный товар, но стоит нового и ценится дороже, отдается напрокат. Налево — игра. Это храм Денег. Тут тебе все знакомо. Прямо, где танцуют,— храм Невинности, это святилище — рынок девушек. Там выставлены для осмотра по всем статьям отпрыски здешних дам. Согласны даже на законный брак! Это наше будущее, упование... наших ночей. И вместе с тем самое любопытное здесь, в музее моральных недугов, именно эти девочки: их души развинчены, как тела маленьких клоунов, рожденных от акробатов. Пойдем поглядим на них.

Он кланялся направо и налево, находя для всех галантный комплимент, окидывая зорким взглядом знатока каждую знакомую декольтированную даму.

В другом конце второй гостиной оркестр играл вальс. Друзья остановились на пороге. Посредине кру-

жилось пар пятнадцать: кавалеры с чопорным видом, девицы с улыбкой, застывшей на губах. Они так же щедро, как их матери, показывали свою наготу; у некоторых корсаж держался лишь на ленточке, обхватившей плечо, под мышками то и дело мелькало темное пятно.

Внезапно с другого конца, через всю комнату, к ним устремилась высокая девушка, расталкивая танцующих и придерживая левой рукой длиннейший шлейф платья. Она бежала мелкими шажками, как женщины бегут в толпе, и выкрикивала:

— Вот и Мюскад! Добрый вечер, Мюскад!

Ее черты были полны жизни, озарены счастьем. Кожа золотисто-белая, как у всех рыжеволосых, словно светилась. А подхваченные на затылке тяжелые волны волос, как бы опаленных огнем, пылающих волос, спадали на лоб и на гибкую, еще тоненькую шею.

Как мать ее была создана для беседы, так она была создана для движения, настолько естественны, благородны и просты были ее жесты. Глядеть, как она ступает, движется, склоняет голову, поднимает руку, само по себе уже было духовной радостью и физическим удовольствием.

Она повторяла:

— Ах, Мюскад! Добрый вечер, Мюскад!

Сервиньи крепко, как мужчине, пожал ей руку и представил приятеля:

— Мамзель Иветта, мой друг барон Саваль.

Она поклонилась незнакомцу, потом оглядела его.

— Здравствуйте, сударь. Вы всегда такой большой?

Сервиньи ответил тем шутовским тоном, который усвоил с ней, чтобы скрыть свои подозрения и сомнения.

— Нет, мамзель. Он сегодня принял предельные размеры, чтобы угодить вашей матушке, так как она любит большие масштабы.

Тогда девушка заявила с комической серьезностью:

— Что ж, отлично! Только, когда вы придете для меня, постарайтесь стать немного поменьше: я предпочитаю золотую середину. Вот Мюскад, например, как раз в тех пропорциях, какие я люблю.

И она приветливо протянула ручку новому гостю; потом спросила:

— Мюскад, вы будете сегодня танцевать? Хотите тур вальса?

Вместо ответа Сервиньи быстрым, страстным движением обхватил ее талию, и они тотчас исчезли, увлеченные неистовым вихрем.

Они летели быстрее всех, вертелись, скользили, кружились самозабвенно, слившись воедино, выпрямившись всем телом, почти не сгибая ног, словно под действием какого-то невидимого механизма, скрытого в подошвах.

Казалось, они неутомимы. Другие танцоры понемногу отстали. Они одни вальсировали, вальсировали без конца, как будто забыв, где они, что делают, унесясь в упоении далеко от бальной залы. И музыканты все играли, не спуская глаз с неистовой пары; и гости смотрели на них, а когда они наконец остановились, раздались рукоплескания.

Она немного раскраснелась, и глаза у нее теперь были странные, сверкающие и робкие, не дерзкие, как прежде, а возбужденные, синие-синие глаза, с таким большим черным зрачком, что казались неестественными.

А Сервиньи словно охмелел. Он оперся о косяк двери, чтобы вернуть себе равновесие.

Она сказала ему:

— Бедный Мюскад, у вас головка слаба. Я, оказывается, выносливее.

Он нервно посмеивался и пожирал ее взглядом, в глазах у него и в складке губ было животное вожделение.

Она стояла прямо перед ним, запыхавшись, так что он мог созерцать ее обнаженную вздымающуюся грудь.

Она продолжала:

— Иногда у вас бывает вид, точно у кошки, которая собирается броситься на человека. Лучше дайте мне руку и пойдемте поищем вашего друга.

Он молча подставил руку, и они пересекли залу.

Саваль был уже не один. К нему подошла маркиза Обарди. Она беседовала с ним на светские, на банальные темы тем чарующим голосом, от которого шла

кру́гом голова. Но, проникая взглядом в самые сокровенные его мысли, она, казалось, говорила ему совсем не те слова, какие произносили ее губы. Когда она увидела Сервиньи, на лице ее тотчас появилась улыбка, и, обратясь к нему, она сказала:

— Знаете, дорогой герцог, я сняла на два месяца дачу в Буживале. Надеюсь, вы навестите меня и привезете вашего друга. Да вот, я переселюсь туда в понедельник, а вы оба приезжайте обедать в ближайшую субботу. И я вас оставлю на весь следующий день.

Сервиньи резко повернулся к Иветте. Она улыбалась спокойно, безмятежно и сказала с уверенностью, не допускавшей колебаний:

— Ну, конечно, Мюскад приедет обедать в субботу. Не стоит и спрашивать его. Мы всласть подурачимся на воле.

В ее улыбке ему почудилось обещание, а в ее тоне какой-то скрытый смысл.

Маркиза вскинула большие черные глаза на Саваля:

— А вы, барон?

Улыбка ее не оставляла сомнений. Он поклонился:

— Почту за счастье, сударыня.

Иветта шепнула с наивным, а может быть, коварным лукавством:

— Мы всех там в ужас приведем, правда, Мюскад? А моя гвардия будет беситься.

И она взглядом указала на группу мужчин, издали наблюдавших за ними.

— К вашим услугам, мамзель,— ответил Сервиньи.

В разговоре с ней он никогда полностью не выговаривал «мадмуазель», подчеркивая этим приятельскую фамильярность.

— Почему мадмуазель Иветта зовет моего друга Сервиньи Мюскад? — спросил Саваль.

Девушка приняла простодушный вид:

— Да потому, что он всегда выскальзывает из рук. Вот, кажется, сейчас схватишь его, но не тут-то было!

Явно думая о другом и не отводя взгляда от Саваля, маркиза заметила небрежно:

— До чего забавны эти дети!

Но Иветта рассердилась:

— Я никого не собираюсь забавлять. Я просто откровенна. Мюскад мне нравится, а он всегда ускользает от меня. Вот мне и досадно.

Сервиньи отвесил глубокий поклон.

— Я больше не покину вас, мамзель, ни днем, ни ночью.

Она в ужасе отшатнулась:

— Ну нет! Только этого не хватало! Днем еще ничего, а ночью вы меня стесните.

Он спросил дерзко:

— Почему, собственно?

Она ответила спокойно и смело:

— В дезабилье вы, должно быть, менее привлекательны.

По-видимому, ничуть не встревожась, маркиза воскликнула:

— Послушайте, что они говорят! Такая невинность просто неправдоподобна.

— Вполне с вами согласен, маркиза,— насмешливо подхватил Сервиньи.

Иветта поглядела на него в упор и высокомерным, оскорбленным тоном произнесла:

— Вы совершили сейчас бестактность; за последнее время это стало часто повторяться.

И, повернувшись, она позвала:

— Шевалье, идите защищать меня: меня оскорбляют!

Подошел худощавый, смуглый, медлительный в движениях человек.

— Где же преступник? — с натянутой улыбкой спросил он.

Она кивнула на Сервиньи:

— Вот он; и все-таки я его люблю больше вас всех, потому что он не такой скучный.

Шевалье Вальреали поклонился:

— Каждый старается по мере сил. Возможно, у нас меньше достоинств, но не меньше преданности.

Тут подошел еще один мужчина; этот был высокого роста, с брюшком, седыми бакенбардами и зычным голосом.

— Ваш слуга, мадмуазель Иветта.

— А, господин де Бельвинь! — воскликнула она.

И, обернувшись к Савалю, отрекомендовала:

— Мой присяжный претендент, большой, толстый, богатый и глупый. Таких я и люблю. Настоящий тамбурмажор... от табльдота. Да что это — вы еще выше его! Как же мне вас окрестить? Вот как: я буду звать вас господин Родос-младший... в честь колосса, ведь он, несомненно, был вашим отцом. Но вам, вероятно, есть о чем поговорить друг с другом через головы других людей. До свидания!

И она устремилась к оркестру, чтобы попросить музыкантов сыграть кадриль.

Маркиза Обарди была задумчива. Она обратилась к Сервиньи, медленно роняя слова, лишь бы что-нибудь сказать:

— Вы постоянно дразните ее, портите ей характер и прививаете уйму недостатков.

— Разве вы не закончили ее воспитания? — возразил он.

Она сделала вид, что не поняла, и продолжала благожелательно улыбаться.

Но, увидев, что к ней приближается важный господин в звездах и орденах, она поспешила навстречу:

— Ах, князь, князь, как я рада!

Сервиньи снова взял Саваля под руку и увлек его прочь.

— Это последний из серьезных претендентов, князь Кравалов. А она, правда, прекрасна?

— По-моему, они обе прекрасны. Я вполне удовлетворился бы матерью,— отвечал Саваль.

Сервиньи поклонился ему:

— Можешь располагать ею, мой друг.

Танцоры толкали их, занимая места для кадрили попарно, в два ряда, друг против друга.

— А теперь пойдем взглянем на шулеров,— сказал Сервиньи.

И они вошли в залу, где шла игра.

Зрители кольцом стояли вокруг каждого стола. Здесь говорили мало, и позвякивание денег, которые бросали на сукно или поспешно сгребали, порою примешивалось к говору игроков, как будто голос самого золота вступал в хор человеческих голосов.

Все мужчины были украшены необыкновенными орденами, фантастическими лентами, и хоть лица были разные, но осанка у всех одинаково строгая. Отличить их можно было главным образом по бородам.

Тут был и угловатый американец с бородой-подковой, и надменный англичанин с бородой, веером распущенной на груди, и испанец с черным руном, растущим до самых глаз, римлянин с гигантскими усами, которыми Виктор-Эммануил одарил всю Италию, австриец с бакенбардами и бритым подбородком, русский генерал, у которого над губой грозно торчали два копья, и, наконец, французы с изящными усиками — словом, образцы фантазии парикмахеров всего мира.

— Ты не играешь? — спросил Сервиньи.

— Нет, а ты?

— Здесь никогда. Лучше уйдем и вернемся в другой раз, когда будет поспокойнее. Сегодня здесь слишком много народу, ничего не предпримешь.

— Идем!

И они нырнули за портьеру, скрывавшую выход в вестибюль.

Когда они очутились на улице, Сервиньи спросил:

— Ну вот! Что ты скажешь?

— Любопытно в самом деле. Но женская половина мне больше по душе, чем мужская.

— Еще бы! Ведь здесь для нас отобраны лучшие экземпляры женской породы. Ты не находишь, что атмосфера здесь пропитана любовью, как парикмахерская — духами? И правда, только в таких домах можно как следует повеселиться за свои деньги. А какие они искусницы! Какие мастерицы своего дела! Случалось тебе пробовать пирожные из булочной? На вид — ничего, а по вкусу — дрянь. Тот, кто пек их, умеет делать только булки. Так вот! Любовь женщины нашего общества всегда напоминает мне изделия булочника, меж тем как любовь, что дарят маркизы Обарди,— это настоящее лакомство. Ах! И какие же они знают рецепты — эти кондитерши! Только у них платишь пять су за то, что везде стоит два. Вот и все.

Саваль спросил:

— А кто в настоящее время хозяин здешних мест?

Сервиньи пожал плечами в знак неведения.

— Понятия не имею. Последний, кого я знал, был английский пэр, но он уехал три месяца назад. Теперь она, должно быть, живет на общий счет, на счет игры или же игроков — у нее бывают разные причуды. Но скажи, мы ведь поедем в субботу обедать к ней в Буживаль, не правда ли? В деревне чувствуешь себя вольнее, и я, надеюсь, выведаю, наконец, что́ у Иветты на уме.

— Охотно поеду, у меня как раз этот день свободен.

Шагая по Елисейским полям под огнистой пеленой звездного неба, они вспугнули парочку, расположившуюся на скамейке, и Сервиньи проворчал:

— Какая ерунда и какая серьезная штука — любовь. Как она банальна и занимательна, всегда одинаковая и всегда иная! Оборванец, который платит этой вот девке двадцать су, ждет от нее того же, за что я заплачу десять тысяч франков какой-нибудь Обарди, хотя та, вероятно, не моложе и не умнее этой шлюхи. Что за нелепость!

Он помолчал несколько минут и заговорил снова:

— А все-таки здорово повезет тому, кто станет первым любовником Иветты... Я бы за это дал... я бы дал...

Он так и не придумал, что бы дал за это. И Саваль распрощался с ним на углу улицы Рояль.

II

Стол был накрыт на веранде, выходившей на реку. Снятая маркизой Обарди вилла «Весна» стояла высоко над излучиной Сены, которая поворачивала к Марли у самой ограды парка.

Напротив дачи горизонт зеленым шатром замыкали гигантские деревья острова Круасси, а течение реки открывалось взгляду вплоть до плавучего ресторана Лягушатня, спрятанного в листве.

Спускался вечер — тихий вечер, красочный и мягкий, какие бывают по берегам реки, мирный вечер, который навевает блаженное чувство покоя. Ни малейшего шороха в ветвях, ни малейшей ряби на светлой поверхности Сены. Однако жарко не было, было толь-

ко тепло, было отрадно жить на свете. Благодетельная прохлада поднималась от берегов Сены к ясному небу.

За чащей дерев солнце склонялось к другим странам, и воздух дышал уже негой отходящей ко сну земли, дышал в затихших просторах невозмутимой жизнью вселенной.

Все восхитились, когда вышли из гостиной к столу. Умиленная радость охватила сердца при мысли о том, как приятно будет пообедать здесь, на лоне природы, созерцая речную гладь в свете сумерек и вдыхая чистый, душистый воздух.

Маркиза опиралась на руку Саваля, Иветта — на руку Сервиньи.

Они были только вчетвером.

Обе женщины были совсем не те, что в Париже, особенно Иветта.

Она почти не говорила, казалась томной и задумчивой. Саваль еще не видел ее такой, он спросил:

— Что с вами, мадмуазель? Вы очень изменились с прошлой недели, стали совсем серьезной особой.

Она ответила:

— На меня так действует природа. Я сама не своя; впрочем, у меня всегда день на день не похож. Сегодня я буду казаться сумасбродной, а завтра — воплощенной элегией. Я переменчива, как погода, а почему — сама не понимаю. Знаете, я на все способна, смотря по настроению. Бывают дни, когда я могу убить,— только не животное, животное я бы не убила никогда, а человека, да, могу убить,— а бывает, что я плачу из-за пустяка. Какие только мысли не мелькают у меня в голове! Многое тоже зависит от того, как встанешь. Утром, проснувшись, я уже могу сказать, какой буду до самого вечера. Может быть, сны влияют на нас. У меня еще многое зависит от книги, которую я читаю.

На ней был наряд из белой фланели, и широкие складки ткани мягко обхватывали ее стан. Свободный сборчатый корсаж лишь намечал, не подчеркивая, не облегая, упругую, уже зрелую, ничем не стесненную грудь. А тонкая шея выступала из волны кружев, своей чудесной живой белизной споря с платьем, и порой томно склонялась словно под тяжестью большого узла золотых волос.

Сервиньи долго смотрел на девушку и наконец произнес:

— Вы сегодня очаровательны, мамзель. Я хотел бы, чтобы вы всегда были такой.

Она ответила с оттенком обычного лукавства:

— Только не объясняйтесь мне в любви, Мюскад! Сегодня я приняла бы это всерьез, и вы поплатились бы не на шутку.

Маркиза, казалось, была счастлива, вполне счастлива. Строгое черное платье, благородными линиями задрапированное вокруг полной и крепкой фигуры, скромная красная отделка на лифе, гирлянда красных гвоздик, идущая от пояса и закрепленная у бедра, одна красная роза в темных волосах, все в ее облике, в простоте наряда, на котором цветы алели, точно кровь, во взгляде, тяготевшем на собеседнике, в медлительности речи, в скупости жестов — все таило сдержанный пламень.

Саваль тоже был серьезен и сосредоточен. По временам он привычным движением гладил свою темную остроконечную бородку, думая о чем-то значительном.

Несколько минут никто не произносил ни слова.

Когда подали форель, Сервиньи заметил:

— Хорошо иногда помолчать. Молчание часто сближает больше, чем любые слова. Вы со мной согласны, маркиза?

Она слегка повернулась к нему и ответила:

— О да, вполне согласна. Такая отрада вместе думать о приятном!

Она подняла жаркий взор на Саваля; и несколько секунд они, не отрываясь, смотрели друг на друга.

Под столом произошло чуть заметное движение.

Сервиньи продолжал:

— Мамзель Иветта, если вы все время будете такой скромницей, я решу, что вы влюблены. А в кого вы могли влюбиться? Ну-ка, поищем. Я оставляю в стороне легионы рядовых вздыхателей и беру только главных: в князя Кравалова?

При этом имени Иветта встрепенулась:

— Что вы только не придумаете, Мюскад! Ведь князь — это прямо фигура из паноптикума, да еще получившая медаль на выставке бород.

— Отлично! Долой князя. Значит, ваш избранник — виконт Пьер де Бельвинь.

На этот раз она рассмеялась.

— Вы только представьте себе, как я висну на шее у Рэзине (она всех награждала прозвищами и звала Бельвиня то Рэзине, то Мальвуази, то Аржантейль) и шепчу ему под нос: «Мой миленький Пьер» или: «Мой дивный Педро, мой возлюбленный Пьетри, мой малютка Пьеро, подставь, мой песик, свою славную мохнатую морду твоей женушке, она хочет поцеловать тебя».

Сервиньи провозгласил:

— Снимаем номер второй. Остается шевалье Вальреали, которому явно покровительствует маркиза...

Иветта захохотала еще звонче.

— Это хныкса-то? Да ведь он служит плакальщиком в церкви Мадлен и сопровождает похороны первого разряда. Когда он на меня смотрит, мне кажется, что я покойница.

— Покончено и с третьим. Значит, вы воспылали страстью к барону Савалю, здесь присутствующему.

— К господину Родосу-младшему? О нет! Он для меня слишком грандиозен. Это все равно, что любить Триумфальную арку на площади Звезды.

— Тогда, мамзель, нет сомнений, что вы влюблены в меня, ибо я единственный из ваших поклонников, о котором мы еще не упоминали. Я приберег себя к концу — из скромности и осторожности. Мне остается только поблагодарить вас.

Она возразила с грациозной игривостью:

— Влюблена в вас, Мюскад? Да нет же! Я люблю вас очень... но не люблю по-настоящему... Постойте, я не хочу вас обескураживать... Я не люблю вас... пока что. У вас, пожалуй, есть шансы. Не теряйте терпения, Мюскад, будьте преданны, услужливы, послушны, заботливы, предупредительны, покорны любому моему капризу, готовы на все, чтобы мне угодить, и тогда позднее... будет видно.

— Знаете, мамзель, все, что вы требуете, я предпочел бы предоставить вам «после», а не «до», если вы не возражаете.

Она спросила с наивным видом субретки:

Худ. К. Рудаков. 1936. «ИВЕТТА».

Худ. Кортаццо. 1902. «ИВЕТТА».

Худ. Кортаццо. 1902. «БРОШЕННЫЙ».

— После чего... Мюскад?

— Черт возьми, да после того, как вы докажете мне, что любите меня.

— Ну что ж! Можете поступать так, как будто я вас люблю, и даже верить этому.

— Но все-таки...

— Замолчите, Мюскад, прекратим разговор на эту тему.

Он отдал ей честь по-военному и умолк.

Солнце закатилось за островом, но небо все еще пламенело, точно горн, и мирные воды реки, казалось, превратились в кровь. Отблески заката рдели на домах, на предметах, на людях. И красная роза в волосах маркизы была словно капля пурпура, упавшая из облаков на ее голову.

Иветта загляделась на закат, и тогда мать ее, будто случайно, положила свою обнаженную руку на руку Саваля; в этот миг девушка шевельнулась, и рука маркизы торопливо вспорхнула и стала расправлять складки корсажа.

Сервиньи, наблюдавший за ними, произнес:

— Мамзель, не пройтись ли нам по острову после обеда?

Она радостно ухватилась за это предложение:

— С удовольствием! Вот будет чудесно! Мы ведь одни пойдем, Мюскад?

— Ну да, одни, мамзель.

И снова воцарилось молчание.

Величавая тишина сумеречных далей, дремотный покой вечера убаюкивали души, тела, мысли. Бывают такие тихие, такие мечтательные часы, когда говорить почти невозможно.

Лакеи прислуживали бесшумно. Небесный пожар угасал, и ночь не спеша простирала над землей свои тени.

— Вы долго намерены прожить здесь? — спросил Саваль.

И маркиза ответила, подчеркивая каждое слово:

— Да. До тех пор, пока буду здесь счастлива.

Почти совсем стемнело, и принесли лампы. Посреди окружавшего мрака они пролили на стол странный белесый свет, и тотчас на скатерть посыпался дождь

мошек. Это были совсем крохотные мошки, они пролетали над ламповыми стеклами и, опалив себе лапки и крылышки, усеивали салфетки, приборы, бокалы серой шевелящейся пылью.

Их глотали с вином, с подливками, они копошились на хлебе, несметный рой летучей мошкары щекотал лицо и руки.

Ежеминутно приходилось выплескивать вино, прикрывать тарелки, блюда, есть с бесконечными предосторожностями.

Эта игра забавляла Иветту, а Сервиньи старательно оберегал то, что она подносила ко рту, укрывал ее бокал и, наконец, развернул свою салфетку над ее головой наподобие балдахина. Но маркиза разнервничалась, ей стало противно, и конец обеда был скомкан.

Иветта не забыла предложения Сервиньи, она сказала:

— Ну, теперь идемте на остров.

Мать томно напутствовала их:

— Смотрите, долго не гуляйте. Впрочем, мы проводим вас до перевоза.

И они отправились попарно, девушка и ее приятель шли впереди, по дороге к переправе. Они слышали за спиной торопливый шепот маркизы и Саваля. Кругом стояла тьма, густая чернильная тьма. Но небо искрилось огненными зернами и, казалось, сеяло их по реке — темная вода была вся в звездной россыпи.

Теперь подали голос лягушки, вдоль всего берега разносилось их раскатистое, однозвучное кваканье.

Бессчетные соловьи прорезали легкой трелью неподвижный воздух.

Вдруг Иветта спросила:

— Что это? Позади не слышно шагов. Где же они? Мама! — позвала она.

Никто не ответил.

— Но ведь они не могли уйти далеко,— продолжала девушка,— я только что слышала их.

Сервиньи пробормотал:

— Они, вероятно, возвратились. Вашей маме стало холодно, должно быть.

И он увлек ее дальше.

Впереди мерцал огонек. Это был кабачок Мартине, трактирщика и рыболова. На их зов из дому вышел человек, и они уселись в неповоротливый челн, привязанный в прибрежных травах.

Перевозчик взялся за весла; тяжелая лодка, рассекая воду, пробудила уснувшие на ее глади звезды и закружила их в бешеной пляске, постепенно затихавшей за кормой.

Они пристали к противоположному берегу и вступили под сень больших деревьев.

Прохладой сырой земли веяло под навесом густых ветвей, где, казалось, было не меньше соловьев, чем листьев.

Вдалеке заиграли на фортепьяно какой-то избитый вальс.

Сервиньи вел Иветту под руку, а потом потихоньку обвил ее талию и нежно привлек к себе.

— О чем вы думаете? — спросил он.

— Я? Ни о чем. Мне очень хорошо!

— Так вы меня не любите?

— Да нет же, Мюскад, я вас люблю, очень люблю; только не надоедайте мне этим. Здесь так хорошо, не хочется слушать вашу болтовню.

Он прижимал ее к себе, как ни старалась она стряхнуть его руку, и сквозь пушистую, мягкую на ощупь ткань к нему проникала теплота ее тела. Он пролепетал:

— Иветта!

— Ну что?

— Да ведь я-то вас люблю.

— Неправда, Мюскад!

— Нет, правда, я давно уже люблю вас.

Она все пыталась отстраниться, высвободить руку. Неловкая поза и скрытая борьба мешали им идти, они пошатывались, точно пьяные.

Он не находил, что сказать, чувствуя, что с девушками говорят иначе, чем с женщинами, уже не владел собой, не знал, как быть дальше, не мог решить, сдается ли она или не понимает, мучительно искал тех ласковых, нежных, решающих слов, какие были сейчас нужны, и только твердил:

— Иветта! Ну что же вы, Иветта!

И вдруг рискнул поцеловать ее в щеку. Она слегка отшатнулась и сердито крикнула:

— Ах, до чего вы смешны! Оставьте меня наконец в покое!

По голосу ее нельзя было уловить, что она чувствует, чего хочет; видя, что она не очень раздражена, он прильнул губами к изгибу ее шеи, где золотились завитки волос, к тому пленительному местечку, которое давно соблазняло его.

Тут она вдруг рванулась от него, но он держал ее крепко; притянув другой рукой за плечо, насильно повернул к себе и впился ей в губы пронизывающим, захватывающим дух поцелуем.

Вся изогнувшись, она стремительно скользнула вдоль его груди, вынырнула из его объятий и скрылась в темноте, прошелестев юбками, как вспорхнувшая птица — крыльями.

Сперва он застыл на месте, растерявшись от ее проворства и неожиданного исчезновения, но, не слыша больше ни малейшего шороха, позвал вполголоса:

— Иветта!

Она не откликнулась. Тогда он пошел наудачу, всматриваясь во мрак, ища глазами среди кустарника белое пятно ее платья. Все было черно. Он крикнул громче:

— Мамзель Иветта!

Соловьи смолкли. Он пошел быстрее и в смутной тревоге все громче и громче звал:

— Мамзель Иветта! Мамзель Иветта!

Ни звука. Он остановился, прислушался. На островке царила тишина; только над головой его чуть трепетали листья. Одни лягушки по-прежнему звонко квакали у воды.

Он пошел бродить между кустами, спускался по отвесным заросшим берегам полноводного рукава реки, потом возвращался на плоские и голые берега высохшего рукава. Он очутился напротив Буживаля, вернулся к ресторану *Лягушатня,* обшарил окружавшую его рощу, без устали повторяя:

— Где вы, мамзель Иветта? Откликнитесь! Я пошутил! Откликнитесь же! Не заставляйте меня искать попусту!

Вдали начали бить часы. Он сосчитал удары: полночь. Он уже два часа рыскал по острову. Ему пришло в голову, что она могла вернуться домой, и он в тревоге поплелся назад, сделав крюк через мост.

Лакей, дожидаясь его, уснул на стуле в прихожей.

Сервиньи разбудил слугу и спросил:

— Мадмуазель Иветта давно пришла? Я расстался с ней за парком, мне надо было сделать визит.

И лакей ответил:

— Давно, сударь. Еще десяти не было, когда мадмуазель вернулась.

Сервиньи поднялся к себе в комнату и лег в постель.

Он лежал с открытыми глазами и не мог уснуть. Украденный им поцелуй взволновал его. И он перебирал все те же вопросы: чего она хочет? Что думает? Что знает? А как она прелестна, как увлекательна!

Та жизнь, которую он вел, все те женщины, какими он обладал, все виды любви, в каких изощрялся, притупили его чувственность, но теперь ее вновь пробудила эта юная девушка, такая своеобразная, такая свежая, волнующая и непостижимая.

Он слышал, как пробило час, потом два. Нет, ему, очевидно, не уснуть. Ему было жарко, его бросало в пот, кровь стучала в висках, он поднялся и распахнул окно.

Полной грудью вдохнул он ночную прохладу. Густой мрак был безмолвен, непроницаем, недвижен. Но вдруг в темноте сада, прямо перед окном, он увидел светящуюся точку — как будто раскаленный уголек. «Что это, сигара? — подумал он.— Это может быть только Саваль». И он тихо окликнул:

— Леон!

— Это ты, Жан? — спросил голос.

— Да. Подожди, я сейчас спущусь.

Он оделся и вышел. Друг его сидел верхом на железном стуле с сигарой во рту.

— Что ты тут делаешь среди ночи?

— Что делаю? Отдыхаю! — ответил Саваль и засмеялся.

Сервиньи пожал ему руку.

— Поздравляю, дорогой мой. Зато я... я томлюсь.

— Иначе говоря...

— Иначе говоря... Иветта не похожа на мать.

— Что случилось? Расскажи.

Сервиньи описал свои незадачливые поползновения и добавил:

— Положительно, эта девочка волнует меня. Ты только подумай: я не мог заснуть! Удивительные создания — такие юные девушки! На вид проще не бывает, а на деле ничего в них не поймешь. Женщину, пожившую, много любившую, знающую жизнь, разгадаешь сразу. А с этими невинными девушками становишься в тупик. В конце концов я подозреваю, что Иветта смеется надо мной!

Саваль раскачивался на стуле. Подчеркивая каждое слово, он произнес:

— Берегись, мой друг, она ведет тебя к браку. Припомни исторические примеры. Разве не таким же способом стала императрицей мадмуазель де Монтихо, но она хоть была благородного происхождения. Не к лицу тебе разыгрывать Наполеона.

Сервиньи прошептал:

— На этот счет будь покоен: я не простак и не император. Для такого безрассудства надо быть или тем или другим. Скажи, тебе спать не хочется?

— Нет, ничуть.

— Пройдемся по берегу.

— Охотно.

Они отперли калитку и пошли вниз по течению реки в сторону Марли.

Был предутренний час, дышащий свежестью, час глубокого сна, глубокой тишины, великого покоя. Стихли даже легкие шорохи ночи. Соловьи уже не пели, лягушки угомонились, только неведомая зверушка или птица где-то вдали издавала слабый, однотонный, механически размеренный звук, подобный визгу пилы.

Сервиньи, в котором порой просыпалась поэтическая, даже философская жилка, вдруг заговорил:

— Так вот. Эта девушка страстно волнует меня. В арифметике один и один будет два. В любви один и один должны бы составить одно, а на деле получается тоже два. Когда-нибудь ты чувствовал это? Испытывал это стремление впитать в себя женщину или раство-

риться в ней? Я говорю не о животной жажде объятий, но о нравственной потребности, о мучительной душевной потребности слиться воедино с другим существом, открыть ему всю душу, все сердце и до дна проникнуть в его мысли. Но по-настоящему никогда не познаешь его, не улавливаешь всех извивов его воли, его желаний, его взглядов. Никогда, даже отдаленно, не можешь угадать тайну души, казалось бы, столь близкой души, что смотрит на тебя ясными, как зеркало, глазами, как будто ничего не таящими в своей прозрачной глубине, души, что говорит с тобой любимыми устами и кажется неотделимой от тебя — так она тебе желанна; одну за другой поверяет она тебе в словах свои думы, но, несмотря на все, она далека от тебя так же, как далеки друг от друга звезды, и более непроницаема, чем они. Разве это не дико?

Саваль ответил:

— Я не так требователен и не стремлюсь проникнуть в тайники женской души. Сущность занимает меня гораздо меньше, чем оболочка.

А Сервиньи прошептал:

— Но ведь Иветта — такое удивительное существо... Как-то она встретит меня утром?

Подходя к водонапорной башне в Марли, они заметили, что небо посветлело.

В курятниках запели петухи, голоса их глухо звучали сквозь стены; где-то в парке щебетала пташка, твердя одну и ту же трогательную, забавную и простую песенку.

— Пора возвращаться,— заявил Саваль.

Они вернулись. Когда Сервиньи вошел к себе, в незакрытом окне алела заря.

Он притворил ставни, тщательно задвинул тяжелые занавеси, лег в постель и наконец-то уснул.

Все время ему снилась Иветта.

Разбудил его какой-то непонятный шум. Он сел в постели, прислушался, но все было тихо. И вдруг о подоконник что-то забарабанило, точно град.

Он вскочил с постели, подбежал к окну, распахнул его и увидел Иветту; она стояла посреди аллеи и пригоршнями швыряла песок прямо ему в лицо.

Она была вся в розовом, в широкополой соломен-

ной шляпе с мушкетерским пером и смеялась лукавым, задорным смехом.

— Что это, Мюскад, вы спите? Чем вы занимались всю ночь, чтобы так заспаться? Уж не было ли у вас каких-нибудь похождений, мой милый Мюскад?

Он щурился от резкого дневного света, ослепившего его со сна, и терялся от насмешливого спокойствия девушки.

— Я тут как тут, мамзель. Только ополосну кончик носа и спущусь,— ответил он.

Она крикнула:

— Поторопитесь, уже десять часов! У меня есть грандиозный план, целый заговор, и мне надо рассказать вам его, а ведь завтрак в одиннадцать.

Он застал ее на скамье с книжкой какого-то нового романа на коленях. Взяв его под руку по-дружески просто, бесхитростно и весело, как будто накануне ничего не произошло, она увлекла его в конец сада.

— Вот мой план. Мы не станем слушать маму и после завтрака пойдем на *Лягушатню*. Мне хочется посмотреть, что там такое. Мама говорит, что порядочным женщинам туда ходить не годится. А мне все равно, годится или не годится. Вы ведь пойдете со мной, правда, Мюскад? Мы там повеселимся вволю вместе с гребцами.

От нее приятно пахло, но он не мог бы сказать, что за легкий и неопределенный аромат окутывает ее. То не были пряные духи ее матери, в это нежное благоухание как будто входила и рисовая пудра и еще, пожалуй, вербена.

Сервиньи никак не мог решить, откуда исходил этот неуловимый запах: от платья ли, от волос или от тела? А так как, разговаривая, она вплотную приблизилась к нему, в лицо ему веяло ее свежим дыханием, и для него оно было упоительнее всяких духов. Тогда ему вообразилось, что легкий аромат, которому он искал названия,— быть может, лишь обман очарованного взора, лишь излучение ее юной и пленительной грации.

Она говорила:

— Так решено, Мюскад?.. После завтрака, наверно, будет очень жарко, и мама не захочет выйти. Жара

совсем расслабляет ее. Мы оставим ее на попечение вашего друга и уйдем как будто бы погулять по лесу. Если бы вы знали, как мне интересно увидеть *Лягушатню!*

Они дошли до ограды парка, над самой Сеной. Солнце заливало потоками света сонную, сверкающую реку. Легкий туман жаркого дня, пар от разогретой воды прозрачной дымкой зыбился по зеркальной глади.

Временами по ней скользила лодка, быстрый ялик или грузный баркас, а издалека слышались отрывистые или протяжные свистки поездов, каждое воскресенье выгружавших толпы парижан на лоно природы; слышались и гудки пароходов, оповещавших о своем приближении к шлюзу Марли.

Но тут зазвенел колокольчик.

Он звал к завтраку. Они воротились.

За столом все были молчаливы. Июльский полдень навис над землей и угнетал все живое. Тяжкий зной, казалось, сковал души и тела. Вязкие слова не шли с уст, и всякое движение требовало усилий, словно воздух стал плотным, трудно преодолимым.

Только Иветта хоть и молчала, но была возбуждена, полна нервного нетерпения.

Когда убрали десерт, она спросила:

— Не пройтись ли нам по лесу? Под деревьями сейчас, наверно, очень приятно.

Маркиза, совсем разомлевшая, пролепетала:

— С ума ты сошла? Разве можно гулять в такую жару?

Обрадовавшись, девушка продолжала:

— Что ж, хорошо! Пусть барон остается с тобой, чтобы ты не соскучилась, а мы с Мюскадом взберемся на пригорок, посидим на травке и почитаем.

И обратилась к Сервиньи:

— Ну как? Согласны?

— К вашим услугам, мамзель,— подхватил он.

И она побежала за шляпой.

Маркиза вздохнула, пожала плечами:

— Право же, она с ума сошла.

Ленивым движением, полным любовной истомы, протянула она прекрасную бледную руку барону, и тот прильнул к ней долгим поцелуем.

Иветта и Сервиньи тронулись в путь. Сперва они шли берегом, затем по мосту перебрались на остров и уселись над полноводным рукавом реки в тени ив, так как идти на Лягушатню было еще слишком рано.

Девушка тотчас же достала из кармана книгу и, смеясь, сказала:

— Вы почитаете мне вслух, Мюскад.

И протянула ему книжку.

Он сделал вид, будто собирается убежать.

— Я, мамзель? Да я и читать-то не умею!

Она сказала строгим тоном:

— Никаких уловок и отговорок. В самом деле, хорош поклонник! Все получать и ничего не давать — таков ваш девиз, да?

Он взял книгу, раскрыл ее и поразился. Это был ученый труд по энтомологии. Монография о муравьях какого-то английского автора. Сервиньи молча держал книгу, думая, что над ним смеются. Но Иветта рассердилась:

— Ну что ж, читайте.

Он спросил:

— Это пари или просто фантазия?

— Нет, мой друг, я увидела эту книгу в витрине магазина. Мне сказали, что это лучший труд о муравьях, и я решила, что забавно будет послушать, как живут эти крошечные букашки, а самой наблюдать, как они перебегают с былинки на былинку. Читайте же!

Она вытянулась во весь рост, оперлась о землю локтями, голову положила на руки и устремила глаза на траву.

Он принялся читать:

— «Из всех животных человекоподобные обезьяны по своему анатомическому строению, несомненно, больше всего приближаются к человеку; но если мы понаблюдаем нравы муравьев, их общественную организацию, их огромные общины, жилища и дороги, которые они строят, их обычай приручать и даже порабощать других насекомых, мы принуждены будем признать, что они вправе претендовать на одну из ближайших к человеку ступеней в развитии интеллекта...»

Так он читал монотонным голосом, время от времени останавливаясь, чтобы спросить:

— Довольно?..

Она отрицательно качала головой; поймав на кончик сорванной травинки торопливого муравья, она заставляла его бегать вверх и вниз, переворачивая стебелек, как только муравей добирался до конца. Молча и сосредоточенно слушала она удивительные подробности о жизни этих хрупких насекомых, об их подземных сооружениях, о том, что у них разводят, держат взаперти, откармливают тлей, как у нас коров, и пьют сахаристую жидкость, выделяемую ими; о том, что они приспособляют крошечных слепых насекомых чистить муравейники и в сражениях добывают себе рабов, которые так заботливо ухаживают за своими господами, что те даже теряют способность есть самостоятельно.

Как будто проникаясь материнской нежностью к этой твари, такой маленькой и такой разумной, Иветта уже позволяла ей ползать по своему пальцу, смотрела на нее с умилением и, казалось, готова была ее поцеловать.

Когда же Сервиньи прочел о том, как они живут коллективом, как устраивают игры и состязания в силе и ловкости, девушка до того восхитилась, что попыталась поцеловать муравья, но он ускользнул и побежал по ее лицу. Она громко вскрикнула, словно ей грозила страшная опасность, и принялась испуганно смахивать насекомое со своей щеки. Задыхаясь от хохота, Сервиньи поймал его на лбу у самых волос девушки и поцеловал это место, причем Иветта не отстранилась.

Затем она поднялась и заявила:

— Мне это нравится больше, чем романы. А теперь пойдем на *Лягушатню.*

Они перешли на ту сторону острова, где в густой тени исполинов-деревьев был разбит парк. Под широкими ветвями вдоль Сены, пестревшей лодками, бродили парочки. Тут были девицы с кавалерами, работницы со своими любовниками, которые гуляли, перебросив сюртук через руку, сдвинув цилиндр на затылок и напустив на себя вид пресыщенных кутил; были тут и семейства буржуа,— женщины шли разряженные по-воскресному, а дети семенили за родителями, точно выводок цыплят.

Излюбленный приют гребцов оповещал о себе отдаленным и неумолчным гулом голосов, глухим нарастающим шумом.

И вот он открылся их взглядам.

Огромная баржа с навесом, стоявшая на якоре, была запружена полчищами самок и самцов — одни сидели за столиками и выпивали, другие стояли, пели, драли горло, плясали, скакали под ноющие фальшивые звуки гулкого, как котел, фортепьяно.

Рослые рыжекудрые девки с накрашенными губами выставляли напоказ двойной соблазн груди и зада, шныряли полупьяные и сквернословили, стреляя глазами.

Другие плясали, как одержимые, в паре с полуголыми молодцами в холщовых штанах, нитяной фуфайке и пестром жокейском картузе.

От всего этого скопища разило по́том и пудрой, ароматами парфюмерии и подмышек.

Любители спиртного поглощали за столиками белые, красные, желтые и зеленые напитки, орали, горланили без причины, из одной неудержимой потребности побуянить, скотской потребности поднять такой гам, чтобы в ушах звенело.

И поминутно с крыши в воду прыгали пловцы, обдавая дождем брызг ближайшие столики, откуда раздавались в ответ свирепые вопли.

А по реке проплывала целая флотилия. Узкие длинные ялики стрелой неслись от мощных взмахов весел, и на голых руках гребцов под загорелой кожей играли мускулы. Дамы их в костюмах из голубой или красной фланели с зонтиками над головой, тоже красными или голубыми, ослепительными в жгучих лучах солнца, сидели, откинувшись, на корме и, казалось, скользили по воде, застыв в полусонных позах.

Большие грузные баркасы, полные народа, медленно рассекали воду. Подвыпивший школьник, желая покрасоваться, вращал веслами, как мельничными крыльями, натыкался на все лодки, и все лодочники огрызались ему вдогонку; наконец, едва не утопив двух пловцов, он в панике улепетнул под громкое улюлюканье толпы, заполнившей плавучий ресторан.

Иветта сияла, проходя под руку с Сервиньи сквозь

эту пеструю шумливую толпу, как будто испытывала удовольствие от сомнительных прикосновений, и окидывала девок спокойным, благожелательным взглядом.

— Мюскад, взгляните-ка вот на эту, какие у нее красивые волосы! Видно, что всем им тут по-настоящему весело.

Когда гребец в красной фуфайке и огромной соломенной шляпе зонтом, исполнявший обязанности тапера, заиграл вальс, Иветта стремительно обхватила талию своего кавалера и закружила его с тем пылом, с каким танцевала всегда. Они вальсировали так неутомимо и так неистово, что все загляделись на них. Одни из тех, что выпивали, вскочили на столики и пытались отбивать такт ногами, другие стучали стаканами; а пианист словно взбесился, он барабанил по клавишам, вскидывая руки, подпрыгивая на стуле, и отчаянно тряс головой под необъятной шляпой.

Вдруг он остановился, соскользнул на пол и растянулся во весь рост, погребенный под своим головным убором, как будто умер от усталости. Дружный хохот и рукоплескания прокатились по кафе.

Четверо приятелей бросились к нему, словно с ним случилось несчастье, схватили за руки и за ноги и потащили, водрузив на живот друга соломенную крышу, служившую ему шляпой.

Какой-то шутник, примкнув к ним, затянул *De profundis* [1], и вскоре целая процессия потянулась за мнимым покойником по дорожкам острова, увлекая и посетителей кафе, и гуляющих, и всех, кто попадался на пути.

Иветта тоже побежала следом, веселясь и смеясь от души, заговаривая со всеми, охмелев от движения и шума. Молодые люди заглядывали ей в глаза, жались к ней в сильном возбуждении, как будто обнюхивали ее и раздевали взглядами; Сервиньи уже побаивался, как бы их приключение не кончилось плохо.

А процессия двигалась все быстрее, потому что четверо носильщиков припустили рысью, сопутствуемые ревущей толпой. Но вдруг они свернули к берегу, оста-

[1] «Из глубины (взываю)» *(лат.)* — начальные слова заупокойной католической молитвы.

новились как вкопанные и, раскачав своего приятеля, швырнули его в реку.

Зрители радостно завыли, меж тем как обалдевший тапер барахтался, ругался, кашлял, отплевывался и, увязая в тине, старался выбраться на берег.

Шляпу, которую унесло течением, доставила одна из лодок.

Иветта прыгала от восторга и, хлопая в ладоши, твердила:

— Ах, как весело, Мюскад, как мне весело!

Сервиньи хмурился, наблюдая за ней, его смущало и шокировало, что ей так свободно дышится среди этого сброда. Голос инстинкта протестовал в нем, того инстинкта благопристойности, который не покидает человека из хорошей семьи, даже если он дал себе волю, и ограждает его от недостойной фамильярности и марающей близости.

Он с удивлением отметил:

«Черт подери, да ты с ними одного поля ягода!»

И ему хотелось вслух говорить ей «ты», как говорил он мысленно, как говорят «ты» при первой же встрече женщинам, доступным всем и каждому. Он уже не видел разницы между нею и рыжеволосыми тварями, которые терлись около них и хриплыми голосами выкрикивали похабные слова. Эти краткие грубые и смачные словца жужжали над толпой, вылетая из нее, как мухи из навозной кучи. Они явно никого не удивляли и не коробили. Иветта, по-видимому, совсем не замечала их.

— Я хочу купаться, Мюскад,— заявила она.— Давайте выплывем на открытое место.

Он ответил:

— К вашим услугам.

И они отправились в контору купален за костюмами. Она разделась раньше и подождала его, стоя на берегу и улыбаясь под взглядами толпы. Потом они об руку вступили в теплую воду.

Она плавала с восторгом, с упоением, нежась в волнах, содрогаясь от чувственного блаженства, и приподнималась при каждом броске, словно собиралась выпрыгнуть из воды. Он с трудом поспевал за ней, задыхаясь и сердясь на свою слабость. Но вот она замед-

лила темп, перевернулась и легла на спину, скрестив руки и устремив глаза в синеву небес. Он видел выступающую из воды волнистую линию ее тела, упругие груди, к которым прильнула тонкая ткань, не скрадывая их полушарий с острыми сосками, и плавную выпуклость живота, и полускрытые бедра, и обнаженные икры, отливающие в воде перламутром, и выглянувшие наружу изящные ножки. Он видел ее всю, как будто она показывалась ему нарочно, чтобы соблазнить его, предложить себя или же снова насмеяться над ним. Страстное желание и нервное возбуждение охватили его. Она внезапно обернулась, взглянула на него и захохотала.

— Ну и вид же у вас! — воскликнула она.

Он был уязвлен, раздражен ее насмешкой, охвачен злобной яростью незадачливого любовника и, не раздумывая, поддался смутной жажде мести, потребности наказать, оскорбить ее:

— Вам бы подошла такая жизнь?

Она спросила с видом полнейшей невинности:

— Какая?

— Да перестаньте наконец дурачить меня. Вы отлично знаете, о чем я говорю.

— Честное слово, не знаю.

— Слушайте, прекратим эту комедию. Вы согласны или нет?

— Я вас не понимаю.

— Неужели вы так глупы? Впрочем, я все сказал вам вчера.

— Что вы сказали? Я забыла.

— Сказал, что люблю вас.

— Любите?

— Да, люблю.

— Какой вздор!

— Клянусь вам.

— Ну что ж, докажите.

— Я только этого и хочу.

— Чего?

— Хочу доказать.

— Что ж, пожалуйста.

— Вчера вы не так говорили.

— Вы мне ничего не предлагали.

— Вот как!

— А потом вам следует обратиться вовсе не ко мне.

— Только этого недоставало! К кому же?

— Ну, понятно, к маме.

Он захохотал.

— К вашей матушке? Нет, это уж слишком!

Она сразу же омрачилась и внимательно взглянула ему в глаза.

— Послушайте, Мюскад, если вы в самом деле любите меня и хотите жениться на мне, поговорите сперва с мамой, а я вам отвечу потом.

Он решил, что она все еще издевается над ним, и окончательно разъярился:

— Вы меня за дурака считаете, мамзель!

Она не спускала с него кроткого, ясного взгляда. Запнувшись на миг, она произнесла:

— Я никак не могу вас понять!

Тогда он заговорил торопливо, и в голосе его прозвучали резкие, злые нотки:

— Слушайте, Иветта, пора прекратить эту глупую комедию, она и без того затянулась. Вы разыгрываете наивную девочку. Поверьте мне, эта роль совсем вам не пристала. Вы отлично понимаете, что между нами речь может идти не о браке, а... о любви. Я сказал, что люблю вас, и это правда, повторяю: я вас люблю. Перестаньте притворяться наивной и меня не считайте дураком.

Они стояли друг против друга, держась на воде легкими движениями рук. Она помедлила еще несколько мгновений, словно боялась проникнуть в смысл его слов, и вдруг зарделась, вспыхнула до корней волос. Все лицо ее от самой шеи сразу залилось краской, а уши приняли даже багровый оттенок, и, не вымолвив ни слова, она устремилась к берегу, плывя изо всех сил широкими, лихорадочными бросками. Он никак не мог догнать ее, только пыхтел от усталости.

Он видел, как она вышла из воды, подобрала с земли купальный халат и скрылась в кабинке, ни разу не обернувшись.

Он одевался медленно, недоумевая, как быть дальше, обдумывая, что сказать ей, не зная, то ли просить прощения, то ли настаивать на своем.

Когда он был готов, она ушла уже, ушла одна. Он возвращался не спеша, в тревоге и смущении.

Маркиза гуляла под руку с Савалем по аллее, огибающей газон.

Увидев Сервиньи, она произнесла томным голосом, каким разговаривала со вчерашнего дня:

— Ведь я же говорила, что не следует выходить в такую жару. Вот теперь у Иветты чуть не солнечный удар, ей пришлось лечь в постель. Она, бедняжка, была вся красная, как пион, и прямо изнемогала от головной боли. Не сомневаюсь, что вы гуляли на самом припеке и делали всякие глупости. Вы, оказывается, не благоразумнее ее.

Иветта не вышла к столу. Когда ей предложили принести обед в комнату, она ответила через запертую дверь, что не хочет есть и просит оставить ее в покое. Гости уехали десятичасовым поездом, обещав вернуться в четверг, а маркиза села помечтать у открытого окна, ловя отдаленные звуки оркестра на балу гребцов, плясовыми мотивами нарушавшие торжественную тишину ночи.

Вышколенная любовью и для любви, как другие для гребли или верховой езды, она испытывала временами бурные увлечения, одолевавшие ее, как болезнь.

Страсть налетала на нее внезапно, охватывала ее всю, выводила из равновесия, возбуждала или угнетала, смотря по тому, какой природы было чувство — восторженное, пылкое, патетическое или сентиментальное.

Она была из тех женщин, назначение которых — любить и быть любимыми. Вышла она из подонков, добилась положения с помощью любви и превратила любовь в ремесло, почти без расчета, руководствуясь инстинктом, врожденным даром, и деньги принимала, как поцелуи, не церемонясь и не делая различий, бессознательно и просто, пользуясь своим чутьем, как животные, которых учит ловкости борьба за существование. В ее объятиях побывало много мужчин, которые не внушали ей любви, но не внушали и отвращения своими поцелуями.

Она терпела случайные ласки так же невозмутимо и безразлично, как в путешествии едят стряпню из лю-

бой кухни, потому что иначе не проживешь. Но время от времени сердце ее или плоть загорались страстью, и она влюблялась беззаветно на несколько недель или месяцев, в зависимости от физических или нравственных качеств любовника.

Это были чудеснейшие минуты ее жизни. Она любила всей душой, всем телом, пылко, самозабвенно. Она бросалась в любовь, как бросаются в реку, чтоб утопиться, отдавалась течению и не задумалась бы, если нужно, умереть в упоении, экстазе, в беспредельном блаженстве. Каждый раз она была уверена, что никогда еще не испытывала ничего подобного, и немало удивилась бы, если бы ей напомнили, сколько было разных мужчин, о которых она ночи напролет восторженно мечтала, глядя на звезды.

Савалю она отдалась, отдалась душой и телом. Образ его, воспоминание о нем баюкали ее, и она мечтала, наслаждалась сознанием завершенного счастья, надежного счастья настоящей минуты.

Шорох в комнате заставил ее обернуться. Это вошла Иветта, все еще одетая, как днем, но бледная, с лихорадочно горящими глазами, словно от сильной усталости.

Она облокотилась о подоконник, подле матери.

— Мне надо поговорить с тобой,— сказала она.

Маркиза смотрела на нее удивленно. Она любила дочь эгоистической любовью, гордилась ее красотой, как гордятся богатством, без зависти, потому что сама была еще достаточно хороша, без тех умыслов, какие приписывали ей, потому что была достаточна беспечна, но с полным сознанием всей ценности этого сокровища, потому что была достаточно умна.

— Говори, дитя мое. Что случилось?

Иветта впилась в нее взглядом, словно желая заглянуть ей в душу и угадать, какие переживания вызовут ее слова.

— Слушай. Произошло нечто невероятное.

— Да что же?

— Господин де Сервиньи сказал, что любит меня.

Маркиза тревожно ждала продолжения.

Но так как Иветта молчала, она спросила:

— Какими словами он это сказал? Объясни же.

Тогда девушка уселась у ног матери в привычной, вкрадчивой позе и, сжав ее руки, произнесла:

— Он просил меня быть его женой.

Маркиза Обарди отпрянула в изумлении:

— Сервиньи? Да ты с ума сошла!

Иветта не сводила глаз с матери, пытаясь понять ход ее мыслей и причину изумления. Она спросила очень серьезно:

— Почему сошла с ума? Почему господин де Сервиньи не может жениться на мне?

Маркиза смущенно пролепетала:

— Ты ошиблась, это невозможно. Ты не расслышала или не поняла... Господин де Сервиньи слишком богат для тебя... и слишком... слишком... легкомыслен, чтобы жениться.

Иветта медленно поднялась и спросила:

— А если правда, что он любит меня, мама?

Мать возразила с раздражением:

— Я считала тебя достаточно взрослой и достаточно сообразительной, чтобы не вбивать себе в голову такие фантазии. Сервиньи — эгоистичный жуир. Он женится только на ровне по происхождению и состоянию. Если он просил тебя быть его женой... значит, он думает... думает...

Боясь высказать свои подозрения, маркиза замолчала, а немного погодя сказала:

— Ну, довольно, ступай спать и оставь меня в покое.

И девушка, словно узнав все, что ей было нужно, ответила покорно:

— Хорошо, мама.

Она поцеловала мать в лоб и спокойным шагом направилась к дверям.

Когда она была уже на пороге, маркиза окликнула ее.

— А как твоя голова? — спросила она.

— У меня ничего не болело. Я была сама не своя от этого признания.

Маркиза решила:

— Мы об этом еще поговорим, но прежде всего избегай оставаться с ним наедине, хотя бы некоторое

время, и твердо запомни, что он на тебе не женится,— слышишь, он только хочет тебя... скомпрометировать.

Она не подобрала более удачного выражения. Иветта ушла к себе.

Маркиза задумалась.

Уже долгие годы живя в любовном упоении и материальном довольстве, она старательно гнала от себя все, что могло причинить ей заботу, тревогу или неприятность. Она неизменно отмахивалась от мысли о будущем Иветты: успеется подумать, когда начнутся осложнения. Верное чутье куртизанки подсказывало ей, что выйти замуж за человека из общества и богатого дочь ее могла бы по чистой случайности, весьма маловероятной, по той прихоти любви, которая возводит на троны искательниц приключений. Об этом она и не помышляла и была, кстати, слишком занята собой, чтобы строить планы, не относящиеся к ней непосредственно.

Иветта, надо полагать, пойдет по стопам матери. Она станет служительницей любви. Что ж тут плохого? Но маркиза ни разу не решилась представить себе, когда и как это произойдет.

И вот ее дочь неожиданно, без всякой подготовки, задает ей вопрос, на который нельзя ответить, вынуждает ее определить свое отношение к делу, столь сложному, щекотливому, столь опасному во всех смыслах и столь беспокойному для ее совести,— ведь должна же материнская совесть откликнуться, когда речь идет о собственном ребенке и о такой проблеме.

У нее было достаточно природной хитрости, дремлющей, но никогда вполне не засыпающей хитрости, чтобы хоть на миг усомниться в истинных намерениях Сервиньи,— мужчин она знала по опыту, в особенности мужчин этой породы. Потому-то, едва Иветта произнесла первые слова, у маркизы невольно вырвалось: «Сервиньи женится на тебе? Да ты с ума сошла!»

Для чего он, этот пройдоха, этот повеса, этот кутила и волокита, пустил в ход такой избитый прием? Как он будет действовать дальше? И как яснее предостеречь ее, девочку, как оградить ее? Ведь она может пойти на величайшие глупости.

Кто бы подумал, что взрослая девушка могла сохранить такую наивность, такое неведение и простодушие?

И маркиза, совсем потерявшись и устав от размышлений, тщетно искала выхода из положения, которое казалось ей поистине затруднительным.

Неприятности ей наскучили, и она решила:

«Ах, что там! Буду внимательно следить за ними, а дальше посмотрю, как сложатся обстоятельства. В крайнем случае обращусь к Сервиньи, он умен и поймет меня с полуслова».

Она не задумалась над тем, что скажет ему, что ответит он и какого рода уговор мыслим между ними,— она обрадовалась, что может стряхнуть с себя эту заботу, не принимая решения, и вернулась к мечтам о красавце Савале; устремив глаза во мрак ночи, вправо, где мутное сияние стояло над Парижем, она обеими руками посылала поцелуи в сторону столицы, торопливые, частые поцелуи, которые летели в темноту; при этом она шептала чуть слышно, словно на ухо возлюбленному:

— Люблю, люблю тебя!

III

Иветта тоже не спала. Как и мать, она села у раскрытого окна, и слезы, первые слезы скорби, набежали ей на глаза.

До этой минуты она жила, она росла в невозмутимой и доверчивой беспечности, какую знает счастливая юность. Почему ей было задумываться, размышлять, вникать? Почему не быть такой же девушкой, как все девушки? Почему бы сомнение или страх, почему бы тяжкие подозрения могли возникнуть у нее?

Казалось, она осведомлена обо всем, потому что она обо всем болтала, потому что она усвоила тон, замашки и рискованные выражения окружающих. Но знала она не больше девочки, воспитанной в монастыре, нескромные же словечки подсказывала ей память и чисто женская способность к подражанию и уподоблению, а вовсе не искушенная и разнузданная фантазия.

Она говорила о любви, как сын художника или му-

зыканта в десять — двенадцать лет толкует о живописи или музыке. Она знала, или, вернее, подозревала, какого рода тайна скрыта за этим словом. Мудрено ей было сохранить полное неведение, слыша вокруг двусмысленный шепоток, но как могла бы она сделать вывод, что ее семья не похожа на другие семьи?

Ее матери целовали руку с внешним почтением; все их друзья носили титулы; все были, или казались, богатыми; все запросто говорили о принцах крови. Даже два королевских сына посещали вечера маркизы. Откуда было ей знать?

Но, главное, она от природы была наивна. Она ни о чем не допытывалась и не умела, как мать, нюхом угадывать людей. Она жила покойно, радовалась жизни и не смущалась тем, от чего могли бы, пожалуй, насторожиться люди более серьезные, более рассудительные и замкнутые, менее непосредственные и беззаботные.

И вот неожиданно от нескольких слов Сервиньи, грубость которых она скорее почувствовала, чем поняла, в ней вспыхнула неосознанная тревога, перешедшая в неотвязное беспокойство.

Она ушла, она убежала, точно раненый зверь, она и в самом деле была глубоко уязвлена этими словами и непрерывно повторяла их, чтобы осмыслить до конца и раскрыть все их значение: «Вы отлично понимаете, что между нами речь может идти не о браке, а... о любви».

Что он хотел сказать? И за что такое оскорбление? Очевидно, она не знала чего-то, какой-то позорной тайны? И при этом не знала она одна. Но чего же? Она была ошеломлена, подавлена, как это бывает, когда обнаруживаешь скрытую подлость, измену любимого существа, когда переживаешь душевную катастрофу, от которой ум мутится.

Она долго думала, размышляла, доискивалась, плакала, терзаясь страхом и подозрениями. Но потом юная и жизнерадостная душа ее успокоилась, и ей уже стала рисоваться необычайная, сложная и драматическая коллизия, навеянная всеми сентиментальными романами, какие ей довелось читать. Она припоминала волнующие перипетии, мрачные и трогательные истории и из

всех их вместе сочиняла свою собственную повесть, возвеличивая тайну, которая, по-видимому, окружала ее жизнь.

Она уже не приходила в отчаяние, она фантазировала, приподнимала завесы, воображала невероятные стечения обстоятельств, жуткие происшествия, заманчивые своей необычайностью.

А вдруг она незаконная дочь какого-нибудь государя? Вдруг ее бедную мать соблазнил какой-нибудь король, Виктор-Эммануил, например, и ей пришлось бежать, спасаясь от гнева семьи?

Или нет, скорее она подкидыш, дитя знатных и знаменитых родителей, плод преступной любви, а маркиза подобрала ее, удочерила и воспитала...

Самые разнообразные предположения рождались у нее в голове. Одни она принимала, другие отбрасывала по воле своей фантазии. Она жалела себя, в душе радовалась и печалилась, но превыше всего была довольна, что она теперь как бы героиня романа, что ей надо показать себя, стать в благородную и достойную позу. Она обдумывала, какую роль придется ей играть в зависимости от возможных вариантов. Эта роль в духе персонажей г-на Скриба или г-жи Санд была преисполнена великодушия, гордости, самоотречения, благородства, чувствительности и красноречия. Ее живую натуру чуть ли не радовала новая ситуация.

До самого вечера размышляла она, как ей быть, каким способом выведать истину у маркизы.

Когда же спустилась ночь, благоприятствующая трагическим сценам, она наконец придумала простой и ловкий способ добиться своего: без всякой подготовки объявить матери, что Сервиньи просил ее руки.

Когда маркиза услышит эту новость, у нее, несомненно, вырвется какое-нибудь слово, возглас, который многое откроет дочери.

Иветта не замедлила осуществить свой замысел.

Она ожидала изумления, любовных излияний, признания со слезами и широкими жестами.

Но мать не выразила ни удивления, ни отчаяния— одну досаду; по ее смущенному, недовольному и растерянному тону девушка всем своим внезапно проснувшимся острым, изощренным женским чутьем поняла,

что настаивать не следует, что тайна совсем иного рода и узнать ее будет тяжело, а потому лучше угадать самой; тогда она ушла к себе в душевном смятении, подавленная гнетущим предчувствием подлинного горя, сама не понимая, откуда взялась, чем вызвана эта тревога. Она только плакала, сидя у окна.

Плакала она долго, ни о чем не думая, ничего не пытаясь больше понять; но мало-помалу утомление одолело ее, и глаза ее сомкнулись. Она забылась на несколько минут томительным сном, каким спят измученные люди, когда у них нет сил раздеться и лечь в постель, тяжким сном, от которого то и дело пробуждаешься, потому что голова соскальзывает с рук.

Легла она, когда уже брезжил рассвет, когда ее обдало утренним холодком и ей пришлось отойти от окна.

Следующие два дня она была замкнута и сосредоточенна. В ней стремительно совершался непрерывный процесс — процесс мысли; она училась следить, угадывать, вдумываться. Ей казалось, что она видит окружающих людей и даже вещи в новом, хоть и неясном еще свете, и ко всему, что она чтила, даже к матери, у нее зарождалось недоверие. За эти два дня всяческие догадки возникали у нее. Всяческие возможности перебрала она, принимая самые крайние решения со всей стремительностью своей порывистой натуры, ни в чем не знающей меры. К среде у нее был готов план, выработана линия поведения, целая система слежки. В четверг она встала с намерением перещеголять в хитрости любого сыщика и быть настороже против всех.

Она даже придумала себе девиз из двух слов: «Своими силами» и больше часа пробовала, как бы покрасивее расположить их вокруг своей монограммы на почтовой бумаге.

Саваль и Сервиньи приехали в десять часов. Иветта поздоровалась сдержанно, без смущения, дружеским, хоть и серьезным тоном:

— Добрый день, Мюскад, как живете?

— Добрый день, мамзель, неплохо, а вы?

Он зорко наблюдал за ней.

«Какие еще фокусы у нее на уме?» — думал он.

Маркиза оперлась на руку Саваля, Сервиньи взял под руку Иветту, и они отправились гулять вокруг лу-

жайки, поминутно исчезая за боскетами и купами деревьев и появляясь вновь.

Иветта выступала по дорожке с рассудительным и степенным видом, потупив взгляд, казалось, еле слушала то, что говорил ей спутник, и не отвечала ни слова.

Но вдруг она спросила:

— Вы мне настоящий друг, Мюскад?

— Еще бы, мамзель!

— Самый, самый настоящий, настоящее не бывает?

— Весь ваш, душой и телом, мамзель.

— Даже можете не солгать мне хоть раз, один-единственный раз?

— Даже два раза, если угодно.

— И даже можете сказать мне всю правду, самую что ни на есть гадкую правду?

— Могу, мамзель.

— Хорошо. Что вы думаете, только искренне, совсем искренне, о князе Кравалове?

— Ах ты, черт!

— Вот видите, вы уже собрались солгать!

— Нет, нет, я только подбираю слова, чтобы выразиться повернее. Ну, боже мой, князь Кравалов — русский... действительно русский... говорит по-русски, родился в России... возможно, имеет даже заграничный паспорт, фальшивые у него только имя и титул.

Она пристально посмотрела на него:

— Вы хотите сказать, что это...

Он замялся, но потом собрался с духом:

— Авантюрист, мамзель.

— Благодарю вас. И шевалье Вальреали не лучше, верно?

— Ваша правда, мамзель.

— А господин де Бельвинь?

— Это другое дело. Это человек из общества... провинциального... человек почтенный... до известных пределов... только несколько потрепанный беспутной жизнью.

— А вы?

Он ответил, не задумываясь:

— Я-то, что называется, повеса, отпрыск хорошей семьи, обладал умом, но растратил его в остротах, об-

ладал здоровьем, но потерял его в кутежах, обладал даже способностями, но промотал их в безделье. И осталось мне всего-навсего порядочно денег, приличный житейский опыт, полнейшее отсутствие предрассудков, глубочайшее презрение к людям, включая и женщин, чувство абсолютной бесполезности всех своих поступков и широкая терпимость ко всеобщей подлости. Однако временами у меня бывают проблески искренности, в чем вы убедились сейчас, и к тому же я способен питать нежные чувства, в чем вы могли бы убедиться. Весь, как есть — со всеми достоинствами и недостатками, морально и физически, я в вашем распоряжении, мамзель, и прошу располагать мною, как вам заблагорассудится. Вот и все.

Она не смеялась; она слушала, вникая в слова и недомолвки.

— А что вы думаете о графине де Ламми? — продолжала она спрашивать.

Он возразил поспешно:

— Разрешите мне умолчать о женщинах.

— Обо всех?

— Обо всех.

— Значит, вы очень дурного мнения... о каждой. Ну, вспомните, может быть, есть исключения?

Он ухмыльнулся, приняв привычный ему наглый вид, и с бесцеремонной дерзостью, которая была его силой, его оружием, бросил в ответ:

— Присутствующие всегда исключение.

Она слегка покраснела, но спросила вполне спокойно:

— Так скажите, что вы думаете обо мне.

— Вам так угодно? Извольте. Я думаю, что вы особа весьма рассудительная, весьма практичная или, если предпочитаете, наделенная большим практическим умом, умеющая ловко маскировать свою игру, водить людей за нос, скрывать свои замыслы, расставлять сети и терпеливо ждать... развязки.

— Все? — спросила она.

— Все.

Она произнесла серьезно и внушительно:

— Я заставлю вас переменить мнение, Мюскад.

И тут же подошла к матери, которая прогуливалась

неторопливой, небрежной поступью, склонив голову,— так ходят люди, когда вполголоса ведут интимную и задушевную беседу. Кончиком зонта маркиза чертила на песке какие-то фигуры — быть может, буквы — и, не глядя на Саваля, но опираясь на его руку, прижимаясь к нему, говорила медленно и пространно. Иветта внезапно взглянула на мать в упор, и подозрение, такое смутное, что она не сумела бы назвать его, скорее впечатление, чем догадка, пронеслось у нее в мозгу, как пробегает по земле тень облака, гонимого ветром.

Колокольчик прозвонил к завтраку.

За столом все были молчаливы и даже угрюмы.

Как говорится, в воздухе пахло грозой. Большие неподвижные тучи, казалось, притаились у черты горизонта, безмолвные и грузные, но насыщенные электричеством.

Как только кофе был выпит на террасе, маркиза спросила:

— Ну что ж, душенька, сегодня ты опять пойдешь гулять с твоим приятелем Сервиньи? В такую погоду очень приятно освежиться под деревьями.

Иветта украдкой бросила на нее мимолетный взгляд.

— Нет, мама, сегодня я никуда не пойду.

Маркиза была явно раздосадована и попыталась настаивать:

— Пойди погуляй, детка, тебе это полезно.

Но Иветта возразила резким тоном:

— Нет, мама, сегодня я останусь дома, а почему— ты знаешь сама, ведь я же тебе сказала в тот вечер.

Маркиза успела позабыть обо всем, ей хотелось только остаться наедине с Савалем. Она покраснела, смутилась и, беспокоясь о себе одной, не зная, как получить свободу на час — другой, пролепетала:

— Ах да, верно, ты права, как я об этом не подумала!

Тогда Иветта взялась за рукоделие, которое сама прозвала «общественным спасением», потому что занималась им раз пять — шесть в год, в дни полного затишья, и расположилась на скамеечке подле матери, меж тем как мужчины, сидя верхом на складных стульях, курили сигары.

Часы текли в ленивой болтовне, то и дело замиравшей. Маркиза нервничала, бросала на Саваля отчаянные взгляды, искала повода и способа удалить дочь. Наконец, поняв, что это не выйдет, и не придумав удачной уловки, она обратилась к Сервиньи:

— Знаете, дорогой герцог, я не отпущу вас сегодня вечером. Мы поедем утром завтракать в ресторан «Фурнез» в Шату.

Он понял, усмехнулся и поклонился.

— К вашим услугам, маркиза.

И день потянулся медленно, томительно, под гнетом надвигающейся грозы.

Наконец наступил час обеда. Тяжелое, нависшее небо понемногу заволакивалось неторопливыми, неповоротливыми тучами. Не чувствовалось ни малейшего движения воздуха.

Обед тоже прошел молчаливо.

Какая-то неловкость, смущение, неясный страх, казалось, смыкали уста обоим мужчинам и обеим женщинам.

Когда убрали со стола, они остались на террасе, перебрасываясь редкими словами: Ночь надвигалась, душная ночь. И вдруг гигантский огненный зигзаг рассек небосвод и озарил ослепительным синеватым светом лица всех четверых, уже поглощенные темнотой. За ним следом над землей прокатился отдаленный гул, глухой и негромкий, подобный грохоту колес по мосту; казалось, будто зной усилился, будто воздух стал еще удушливее, а вечернее затишье еще полнее.

Иветта поднялась.

— Пойду лягу,— сказала она,— мне не по себе от грозы.

Она подставила маркизе лоб для поцелуя, подала руку мужчинам и ушла.

Комната ее была над самой террасой, и вскоре листья большого каштана у входа озарились зеленоватым сиянием, и Сервиньи не спускал глаз с этого бледного отсвета на листве, где, казалось ему, порой мелькала тень. Но огонек вскоре погас, и маркиза заметила с глубоким вздохом:

— Моя дочь легла...

Сервиньи поднялся:

— С вашего разрешения, я последую ее примеру, маркиза.

Он поцеловал протянутую руку и, в свою очередь, скрылся.

Она осталась наедине с Савалем в ночной тьме.

Вмиг она очутилась в его объятиях, обхватила, обвила его руками. А потом, как ни пытался он удержать ее, опустилась перед ним на колени.

— Я хочу смотреть на тебя при свете молний,— шептала она.

Иветта, задув свечу, в тоске мучительных и смутных подозрений вышла на балкон босиком, неслышно, точно тень, и стала прислушиваться.

Видеть их она не могла, потому что находилась над ними, на крыше террасы.

Слышен ей был только неясный шепот, а сердце ее билось так сильно, что у нее шумело в ушах. Над ее головой захлопнулось окно. Значит, Сервиньи ушел к себе. Мать осталась наедине с тем, другим.

Молния вторично разрезала небо надвое, и на миг в резком зловещем свете встал знакомый пейзаж — широкая водная пелена цвета расплавленного свинца, какими бывают во сне реки фантастических стран. И тотчас же внизу прозвучал голос: «Люблю тебя!»

Больше она не услышала ничего. Странная дрожь пробежала по ее телу, а умом овладело жестокое смятение.

Тяжкое, беспредельное безмолвие, как будто безмолвие вечности, нависло над миром. У Иветты перехватило дыхание, что-то неведомое и страшное навалилось на грудь. Вспыхнула новая молния и на мгновение озарила дали, за ней подряд еще и еще другие...

И тот же голос все громче и громче повторял: «О! как я люблю тебя! Как люблю!»

Иветте хорошо знаком был этот голос — голос матери.

Крупная теплая капля упала ей на лоб, и по листьям пронесся легкий, чуть уловимый трепет, шорох начинающегося дождя.

И сразу же издалека надвинулся, набежал глухой ропот, подобный шуму ветра в листве,— это ливень

хлынул потоком на землю, на реку, на деревья. Спустя мгновение, вода струилась вокруг девушки, заливая, захлестывая, обдавая ее, точно душ. Она не шевелилась, думая только о том, что творилось на террасе.

Она слышала, как они встали и поднялись к себе в комнаты. В доме захлопали двери; тогда, поддавшись неудержимому желанию знать все, терзавшему ее, сводившему ее с ума, она сбежала по лестнице, бесшумно открыла наружную дверь, под проливным дождем пересекла лужайку и, спрятавшись под купой деревьев, взглянула на фасад дома.

Свет был только в спальне матери. И вдруг в освещенном окне появились две тени рядом, тени сблизились и слились в одну. Когда же молния вновь полыхнула по фасаду, девушка увидела, как они целуются, обвив друг друга руками.

Не помня себя, не размышляя, не понимая, что делает, она крикнула: «Мама!» Крикнула изо всех сил, пронзительным голосом, как кричат тем, кому грозит смертельная опасность.

Ее отчаянный вопль затерялся в плеске воды, но потревоженная чета разъединилась. И одна из теней исчезла, а другая силилась разглядеть что-нибудь во мгле сада.

Испугавшись, что ее заметят, что ей придется сейчас встретиться с матерью, Иветта бросилась в дом, торопливо взбежала по лестнице, оставляя за собой струйки воды, стекавшие со ступеньки на ступеньку, заперлась у себя на ключ и решила не открывать никому.

Не подумав даже снять мокрое, прилипшее к телу платье, она упала на колени, сложив руки и в смятении своем моля о поддержке свыше, о таинственном вмешательстве небес, о защите неведомых сил, которой ищут в горькие минуты отчаяния.

Гигантские молнии непрерывно освещали комнату синеватыми отблесками, и в зеркале шкафа перед девушкой неожиданно вставало ее собственное, странное и чуждое, отражение с распущенными и мокрыми волосами.

Она пробыла в этом состоянии долго, так долго, что и не заметила, как утихла гроза. Дождь прекратился,

небо, еще хмурое от туч, мало-помалу прояснилось; мягкая, душистая, упоительная свежесть, свежесть влажной травы и листвы, вливалась в раскрытое окно.

Иветта поднялась с колен, машинально сбросила липкую, холодную одежду и легла в постель. Она лежала, глядела, как занималась заря, снова всплакнула, снова задумалась.

Любовник! У матери! Какой позор! Но недаром прочла она столько книг, где женщины, и даже матери, так же предавались страстям, а в заключительной главе возвращались на стезю добродетели, и потому была не слишком потрясена, очутившись в самом центре драмы, подобной всем книжным драмам. Первая вспышка горя, жестокое своей неожиданностью потрясение понемногу растворились в бессознательных поисках литературных аналогий. Мысль ее так привыкла блуждать среди трагических происшествий, сдобренных поэтическим вымыслом, что страшное открытие уже казалось ей естественным продолжением романа-фельетона, начатого вчера.

Она решила: «Я спасу мать».

Почти умиротворенная этим героическим намерением, она почувствовала себя сильнее, старше, как будто сразу созрела для самопожертвования и борьбы. Она принялась обдумывать, какие средства придется ей употребить. Остановилась она на одном, отвечавшем ее романтической натуре. И как актер готовит сцену, которую ему придется играть, так она подготовила предстоящий разговор с маркизой.

Солнце уже взошло. Слуги засуетились по дому. Горничная принесла чашку шоколада. Иветта велела поставить поднос на стол и заявила:

— Передайте маме, что я нездорова и не встану до отъезда гостей. Я не спала всю ночь и попытаюсь подремать, а потому прошу не беспокоить меня.

Служанка в недоумении смотрела на мокрое платье, брошенное на пол, точно тряпка.

— Неужели вы выходили, мадмуазель?

— Да, я гуляла под дождем, мне хотелось освежиться.

Горничная подобрала юбки, чулки, выпачканные бо-

тинки и унесла всю эту одежду, промокшую, как отрепья утопленника, брезгливо перекинув ее через руку.

А Иветта стала ждать, не сомневаясь, что мать придет к ней.

Маркиза поспешила прийти; она вскочила с постели при первых же словах горничной, потому что ее не покидала тревога после того, как в темноте раздался крик: «Мама!»

— Что с тобой? — спросила она.

Иветта взглянула на нее и пролепетала:

— Я... я...

Жестокое волнение вдруг нахлынуло на нее, и она захлебнулась от рыданий.

Маркиза удивилась и повторила вопрос:

— Да что это с тобой?

И тут, забыв все свои планы, все заготовленные фразы, девушка закрыла лицо руками, всхлипывая:

— Ах, мама! Ах, мама!

Маркиза неподвижно стояла подле кровати, плохо соображая от волнения, но тонким чутьем, составлявшим ее силу, угадывая почти все.

Слезы мешали Иветте говорить; тогда мать, предчувствуя грозное объяснение, вышла из себя и резко сказала:

— Ответишь ты мне, наконец, что с тобой такое?

Иветта еле выговорила:

— Ах, мама!.. Сегодня ночью... я видела твое окно.

Маркиза, сильно побледнев, отрезала:

— Ну и что ж?

А дочь все твердила сквозь слезы:

— Ах, мама, мама!

Страх и смущение маркизы перешли в гнев, она пожала плечами и повернулась к дверям.

— Право же, ты не в своем уме. Когда опомнишься, позови меня.

Но девушка внезапно отняла руки от лица, залитого слезами.

— Нет! Постой... мне нужно сказать тебе... Обещай мне, что мы уедем... уедем вдвоем, далеко-далеко, в деревню, и будем жить, как крестьянки; и никто не должен знать, что с нами сталось! Скажи, что ты со-

гласна, мама, прошу тебя, умоляю, скажи, что ты согласна.

Маркиза так и застыла посреди комнаты. В жилах ее текла горячая кровь простолюдинки. Но стыд и материнское целомудрие примешивались к неопределенному чувству страха и ожесточению пылкой женщины, любовь которой поставлена под угрозу, и она вся дрожала, не зная, просить ли прощения или дать волю ярости.

— Я тебя не понимаю,— сказала она.

Иветта прошептала снова:

— Я видела тебя... сегодня ночью... Мама... не надо этого... ты не понимаешь... Мы уедем вдвоем... Я так тебя буду любить, что ты утешишься...

Маркиза Обарди произнесла вздрагивающим голосом:

— Слушай, дочь моя, есть вещи, которых ты еще не понимаешь. Так вот... запомни... запомни твердо... что я тебе запрещаю говорить мне о... о... о них.

Но девушка, войдя вдруг в свою роль, роль спасительницы, заговорила:

— Нет, мама, я уже не дитя, я имею право знать. И я знаю, что мы принимаем людей с дурной репутацией, авантюристов, знаю также, что нас за это не уважают. Я знаю еще и другое... Так вот, надо это прекратить, понимаешь? Я так хочу. Мы уедем куда-нибудь далеко-далеко, ты продашь все драгоценности. Если нужно, мы будем работать и жить, как живут порядочные женщины. Если я найду себе мужа — тем лучше.

Мать смотрела на нее черными, злыми глазами. Она ответила:

— Ты с ума сошла. Будь добра встать и спуститься завтракать к столу.

— Нет, мама. Там будет человек, которого я больше не желаю видеть,— ты понимаешь. Пусть он уйдет, иначе уйду я. Выбирай между ним и мной.

Она сидела на кровати и постепенно повышала голос, говоря, как на сцене, чувствуя себя героиней драмы, которую сочинила, почти забыв свое горе ради взятой на себя высокой миссии.

Маркиза совсем растерялась.

— Да ты с ума сошла,— повторила она, не зная, что еще сказать.

Иветта продолжала с театральным пафосом:

— Нет, мама, либо этот человек покинет наш дом, либо я уйду, но не сдамся.

— А куда ты денешься?.. Что ты будешь делать?

— Не знаю, не все ли равно... Я хочу, чтобы мы были порядочными женщинами.

Слова «порядочные женщины», назойливо повторяясь, возбуждали в маркизе ярость девки; наконец, она закричала:

— Замолчи! Я тебе запрещаю так говорить со мной. Я не хуже кого хочешь, поняла? Я куртизанка, это правда, и я горжусь этим; порядочные женщины мизинца моего не стоят.

Потрясенная Иветта смотрела на мать и лепетала:

— Что ты, мама!

Но маркиза распалилась и разошлась:

— Ну да, я куртизанка. Так что ж? Не будь я куртизанкой, ты бы теперь была кухаркой, как я раньше, ты выколачивала бы в день тридцать су, мыла бы посуду, и хозяйка гоняла бы тебя в мясную, понимаешь? И выставила бы тебя без разговора, если бы ты лодырничала, а теперь ты лодырничаешь по целым дням, потому что я куртизанка. Вот тебе! А то как же быть бедной девушке, прислуге?.. Сбережений у нее всего-навсего пятьдесят франков! Мыкаться до конца дней она не хочет... Значит, надо пробиваться самой, а другого пути для нас, для подневольных, нет, понимаешь ты, другого нет! Службой да биржевыми спекуляциями нам капитала не нажить. У нас один капитал — наше тело, да, тело!

Она била себя в грудь, точно кающаяся грешница, и, вся побагровев, разъярившись, подступала к постели:

— Что ж такого! Коли нечем, надо жить красотой, либо бедствовать всю жизнь... всю жизнь... одно из двух!

Потом вернулась к первоначальной мысли:

— Подумаешь, какие скромницы твои порядочные женщины! Они-то вот настоящие потаскухи, слышишь? Ведь их нужда не толкает. Денег у них вволю, могут жить и развлекаться, а с мужчинами они путаются по-

тому, что они развратницы, потому что они настоящие потаскухи!

Она стояла у самого изголовья обезумевшей от ужаса Иветты, и девушке хотелось позвать на помощь, убежать, но она только плакала навзрыд, как ребенок, которого бьют.

Маркиза смолкла, поглядела на дочь, и когда увидела ее отчаяние, то и сама содрогнулась от боли, раскаяния, умиления, жалости и зарыдала тоже, упав на кровать, простирая руки и приговаривая:

— Бедняжка, бедняжка ты моя, как ты мне сделала больно!

И они долго проплакали вместе.

Но маркиза не умела страдать длительно, она потихоньку поднялась и шепнула чуть слышно:

— Перестань, малютка, такова жизнь, ничего не поделаешь. И ничего уж теперь не изменишь. Приходится мириться с ней.

Иветта плакала по-прежнему. Она не могла еще собраться с мыслями и успокоиться,— слишком жесток и неожидан был удар.

— Послушай меня, встань и пойдем завтракать, чтобы никто не заметил,— уговаривала ее мать.

Девушка не могла говорить, она только отрицательно качала головой; наконец, она произнесла медленно, сквозь слезы:

— Нет, мама, я тебе все сказала и решения своего не переменю. Я не выйду из комнаты, пока они не уедут. Я не хочу никогда, никогда больше видеть никого из этих людей. Если они явятся еще, я... я... ты больше не увидишь меня.

Маркиза вытерла глаза и, утомленная избытком переживаний, прошептала:

— Ну, прошу тебя, одумайся, будь умницей.

Но помолчав минуту, прибавила:

— Да, пожалуй, тебе лучше спокойно полежать все утро. Я зайду к тебе днем.

Она поцеловала Иветту в лоб и поспешила к себе одеваться, вполне успокоившись.

Как только мать ушла, Иветта встала, заперла дверь, чтобы остаться одной, совсем одной, и принялась размышлять.

Часов в одиннадцать постучалась горничная и спросила через дверь:

— Маркиза приказала спросить, не нужно ли вам чего-нибудь, мадмуазель, и что вам угодно к завтраку?

Иветта ответила:

— Мне не хочется есть. Я прошу только не беспокоить меня.

Она не поднялась с постели, словно тяжелобольная.

Часа в три в дверь снова постучались. Она спросила:

— Кто там?

В ответ послышался голос матери:

— Это я, душенька, я пришла проведать тебя.

Иветта колебалась. Как быть? Она отперла и легла снова.

Маркиза подошла к постели и вполголоса, как у выздоравливающей, спросила:

— Ну что, лучше тебе? Не скушаешь ли яйцо?

— Нет, спасибо, я ничего не хочу.

Мать села подле кровати. Долгое время обе молчали. Наконец, видя, что дочь лежит неподвижно, вытянув руки поверх одеяла, маркиза спросила:

— Ты не собираешься вставать?

— Я скоро встану,— ответила Иветта.

Затем произнесла раздельно и торжественно:

— Я много думала, мама, и вот... вот мое решение. Прошлого не изменишь, не надо о нем говорить. Но будущее должно быть другим... иначе... иначе я знаю, что мне делать. А теперь довольно об этом.

Маркиза, считавшая, что объяснение закончено, начала раздражаться. Это уж слишком. Такой великовозрастной дуре давно бы пора все понять. Однако она ничего не ответила и только повторила:

— Ты встанешь?

— Да, сейчас.

Тогда мать принялась прислуживать ей, подала чулки, корсет, юбки; затем поцеловала ее.

— Хочешь пройтись перед обедом?

— Хорошо, мама.

И они пошли погулять по берегу, разговаривая только на самые обыденные темы.

IV

На другой день Иветта с утра отправилась одна посидеть там, где Сервиньи читал ей о муравьях.

«Не уйду, пока не приму окончательного решения»,— твердила она про себя.

Перед ней, у ног ее, струилась вода, бурливая вода проточного рукава реки, полного пучин и водоворотов, которые мчались мимо в беззвучном беге, образуя глубокие воронки.

Она уже со всех сторон обсудила положение и все возможные выходы из него.

Как ей быть, если мать не выполнит до конца поставленных условий, не порвет со своей жизнью, обществом и всем прочим и не укроется вместе с нею в каких-нибудь далеких краях? Тогда она, Иветта, должна уехать... бежать одна. Но куда? Чем она будет жить?

Трудом? Каким? К кому она обратится за работой? Кстати, унылая, убогая жизнь работниц, девушек из народа, казалась ей немного унизительной, недостойной ее. Она подумала было сделаться гувернанткой, как юные героини романов, а потом пленить сердце хозяйского сына и стать его женой. Но для этого надо быть знатного рода, чтобы гордо ответить взбешенному отцу, когда он будет укорять ее в обольщении сына:

— Меня зовут Иветта Обарди.

Но гордиться своим именем она не могла. Да и способ этот был избитый и пошлый.

И монастырь не лучше. К тому же она не чувствовала ни малейшего призвания к монашеской жизни, так как благочестие находило на нее случайно и порывами. Нельзя надеяться, чтобы кто-нибудь женился на ней, на той, кем она была. Никакой помощи не могла она принять от мужчины и не видела ни выхода, ни верного средства спасения.

И потом она хотела совершить что-то смелое, поистине большое, поистине значительное, достойное подражания; и она избрала смерть.

Она решилась на это внезапно и спокойно, как на путешествие, не вдумавшись, не представляя себе смерти, не понимая, что это сон без пробуждения, уход без возврата, прощание навеки с землей и жизнью.

Со всем легкомыслием юного и восторженного существа она тотчас ухватилась за эту крайнюю меру. И стала обдумывать, как осуществить ее. Но все способы казались ей мучительными и неверными, к тому же вынуждали к насильственному действию, которое претило ей.

Она сразу же отвергла кинжал и пистолет, которые требуют опытной и твердой руки, а иначе могут только ранить, искалечить или изуродовать; отвергла вульгарную веревку, способ самоубийства для бедняков, смешной и некрасивый, а также и воду, потому что умела плавать. Оставался только яд, но какой? Почти все они причиняют страдания и вызывают рвоту. А ей не хотелось страдать, не хотелось, чтобы ее рвало. Тут она подумала о хлороформе, потому что прочла в хронике происшествий, как одна молодая женщина покончила с собой таким способом.

И тотчас же ей стало как-то радостно от принятого решения, она втайне возгордилась и залюбовалась собой. Теперь все увидят, какова она, узнают ей цену.

Она вернулась в Буживаль и отправилась в аптеку, где спросила немного хлороформа от зубной боли. Аптекарь знал ее и отпустил ей маленький пузырек наркотика.

Тогда она прошла пешком в Круасси и там получила вторую склянку яда. Третью она добыла в Шату, четвертую в Рюэйе и к завтраку возвратилась с опозданием. После такой долгой ходьбы она сильно проголодалась и ела с наслаждением человека, нагулявшего себе аппетит.

Мать радовалась, глядя, как охотно она ест, и, окончательно успокоившись, сказала, когда они встали из-за стола:

— Знаешь, я пригласила провести с нами воскресный день всех друзей — князя, шевалье и господина де Бельвиня.

Иветта слегка побледнела, но не возразила ни слова. Сейчас же после завтрака она отправилась на станцию и взяла билет в Париж.

Весь день она ходила из аптеки в аптеку и покупала по нескольку капель хлороформа.

Когда она вернулась вечером, все карманы ее были полны пузырьков.

На другой день она повторила эту процедуру и, случайно заглянув в аптекарский магазин, сразу получила четверть литра.

В субботу она не выходила из дому; день был пасмурный и прохладный; все время она провела на террасе, лежа в плетеном шезлонге.

Она почти ни о чем не думала, окончательно решившись и успокоившись.

На следующий день она захотела прихорошиться и надела голубое платье, которое было ей к лицу.

Глядя в зеркало, она вдруг подумала:

«Завтра я буду мертва.— И непривычная дрожь пробежала у нее по спине.— Мертва! Не буду говорить, не буду думать, никто больше не увидит меня. И сама я ничего этого больше не увижу!»

Она внимательно разглядывала свое лицо, как будто никогда не видела его прежде, особенно всматривалась в глаза, обнаруживала множество новых штрихов, улавливала в своих чертах их истинное, ей самой неизвестное выражение и удивлялась себе, как незнакомке или новой подруге.

Она твердила мысленно:

«Это я, я сама в зеркале. Как странно смотреть на себя. А ведь без зеркала мы не имели бы понятия о себе. Все вокруг знали бы, какие мы, а сами мы — нет».

Она подняла свои тяжелые косы, перебросила их на грудь и при этом наблюдала каждый свой жест, каждый поворот, каждое движение.

«Какая я хорошенькая! — думала она.— А завтра я буду лежать мертвая, вот тут на кровати».

Она оглянулась на кровать и мысленно увидела себя простертой, белой, как простыня.

«Мертвая! Через неделю это мое лицо, эти глаза, щеки будут почерневшей гнилью в ящике под землей».

Нестерпимая тоска сжала ей сердце.

Яркое солнце заливало весь ландшафт, и теплый утренний воздух струился в окно.

Она села, вдумываясь в это слово: «мертва». Это значит, что мир как будто исчезнет для нее; но нет, в

мире ничто не изменится, даже ее комната. Да, ее комната останется такой же, с той же кроватью, теми же стульями, тем же туалетным столом, а она, она сама скроется навсегда, и никто не опечалится этим, разве что ее мать.

Кто-нибудь скажет: «Хорошенькая была девушка, эта Иветта!» — только и всего. Она взглянула на свою руку, лежавшую на локотнике кресла, и снова подумала о той гниющей, о той черной, смрадной каше, в которую превратится ее тело. Снова дрожь ужаса пробежала у нее по спине, а в голове не укладывалась мысль, как это она исчезнет, но мир не перестанет существовать. Ведь она чувствует себя нераздельной частью всего — природы, воздуха, солнца, жизни.

Из сада донесся взрыв смеха, гомон голосов, выкрики, звуки шумного веселья, какое царит в начале загородных прогулок; Иветта различила баритон г-на де Бельвиня, который пел:

Я под окном твоим,
И жду, тоской томим...

Она машинально поднялась и выглянула в окно. Раздались рукоплескания. Все пятеро были в сборе и с ними еще двое господ, ей незнакомых.

Вдруг она отпрянула от окна,— ее больно кольнула мысль, что все эти мужчины приехали повеселиться к ее матери, куртизанке.

Прозвонил колокольчик к завтраку.

«Я покажу вам, как умирают»,— решила она. И сошла вниз твердой, решительной поступью; так, должно быть, христианские мученицы вступали на арену цирка навстречу львам.

Она пожала гостям руки, улыбаясь любезно, но несколько высокомерно. Сервиньи спросил ее:

— Сегодня вы менее сварливо настроены, мамзель?

Она ответила суровым и загадочным тоном:

— Сегодня мне хочется озорничать. Я настроена на парижский лад. Берегитесь! — И обратилась к г-ну де Бельвиню: — Вы будете моим кавалером, миленький Мальвуази. Я всех вас веду после завтрака на гулянье в Марли.

В этот день в Марли как раз было гулянье. Иветте представили двух новых гостей — графа де Тамина и маркиза де Брикето.

За столом она почти не разговаривала, собираясь с силами, чтобы быть веселой целый день, чтобы никто ничего не заметил. А потом бы все дивились еще больше и говорили: «Кто бы мог подумать? У нее был такой веселый, довольный вид! Кто разгадает эти натуры?!»

Она старалась не думать о вечере, о назначенном ею часе, когда все будут в сборе на веранде.

Чтобы подхлестнуть себя, она выпила непривычно много вина, а в придачу две рюмки коньяка, и, когда вставали из-за стола, щеки у нее раскраснелись, голова кружилась, кровь быстрее бежала по жилам, туманила мозг, и на все она теперь смотрела бесстрашно, все ей было нипочем.

— Вперед! — скомандовала она.

Она взяла под руку г-на де Бельвиня и объявила, в каком порядке выступать остальным:

— Итак, вы — мой батальон! Сервиньи, вас я назначаю сержантом, вы пойдете вне строя, справа. В авангарде поставьте иностранный легион, двух чужеземцев — князя и шевалье, а позади двух новобранцев, сегодня ставших под ружье. Вперед!

Они тронулись. Сервиньи подражал горнисту, а новички изображали барабанщиков. Г-н де Бельвинь был несколько сконфужен и твердил шепотом:

— Мадмуазель Иветта, ну будьте же благоразумны, не компрометируйте себя.

Она отвечала:

— Скажите, что я компрометирую вас, Рэзине. Мне самой на все наплевать. Завтра это уже будет неважно. Пеняйте на себя,— незачем показываться с такими особами, как я.

Они шли по Буживалю, вызывая изумление гуляющих. Все оборачивались. Местные жители выглядывали из дверей; пассажиры узкоколейки, соединяющей Рюэй с Марли, свистели им вслед; мужчины, стоя в открытых вагонах, кричали:

— В воду их!.. В воду!..

Иветта шагала по-военному и тащила Бельвиня, как пленника. Она не смеялась, лицо ее было бледно, строго и казалось какой-то мрачной маской. Сервиньи, прерывая игру на рожке, выкрикивал команду. Князь и шевалье веселились от души, находили все это крайне забавным и остроумным. Оба молодых человека без устали били в барабан.

Их прибытие на гулянье вызвало сенсацию. Девицы рукоплескали, молодые люди ржали; толстяк, который шествовал под руку с супругой, заметил не без зависти:

— Вот уж кому не скучно.

Иветта увидела карусель и заставила Бельвиня сесть на деревянную лошадку, рядом с ней, меж тем как остальные оседлали коней позади них. После первого круга она не пожелала слезть и принудила свиту пять раз подряд прокатиться верхом на игрушечных лошадках, к великому удовольствию публики, отпускавшей шуточки. Г-н де Бельвинь был бледен, сходя с карусели,— его тошнило.

После этого она принялась слоняться по балаганам. Заставила своих спутников, всех по очереди, взвеситься посреди толпы зевак. Требовала, чтобы они покупали и таскали с собой нелепые игрушки. Князь и шевалье находили уже, что шутка зашла далеко. Только Сервиньи и оба барабанщика не теряли присутствия духа.

Наконец они вышли за пределы гулянья. Она окинула своих провожатых каким-то странным, коварным и злобным взглядом и, повинуясь дикой причуде, выстроила их в ряд на правом, высоком, берегу реки.

— Пусть тот, кто любит меня больше всех, бросится в воду,— сказала она.

Никто не прыгнул. Позади собирался народ. Женщины в белых фартуках смотрели во все глаза. Двое солдат в красных шароварах с глупым видом скалили зубы.

Она повторила:

— Итак, никто из вас не способен прыгнуть в реку мне в угоду?

Сервиньи пробормотал:

— Так и быть, черт возьми.

И, как стоял, кинулся в воду.

Брызги от его падения долетели до Иветты. Возгласы удивления и смешки послышались в толпе.

Девушка подняла с земли щепку, швырнула ее в реку и крикнула:

— Апорт!

Молодой человек поплыл, как собака зубами схватил и понес качавшуюся на волнах дощечку, потом выбрался на берег и, преклонив колено, подал ее.

Иветта взяла щепку.

— Молодчина,— заметила она.

И ласково погладила его по голове.

Толстая дама с возмущением воскликнула:

— Это просто неслыханно!

Другая добавила:

— Что это за развлечение!

Какой-то мужчина заявил:

— Ну, уж я бы не стал купаться ради девки!

Иветта снова повисла на руке Бельвиня и бросила ему прямо в лицо:

— А вы, мой друг,— простофиля. Вы и не знаете, что упустили.

Они пошли обратно. Иветта с раздражением смотрела на встречных.

— Какой у них у всех глупый вид! — говорила она.

Потом перевела взгляд на спутника:

— Кстати, у вас тоже.

Г-н де Бельвинь поклонился. Обернувшись, она заметила, что князь и шевалье скрылись. Мрачный и мокрый Сервиньи уже не изображал горниста и уныло плелся рядом с усталыми молодыми людьми, а они уже не изображали барабанщиков.

Она резко захохотала:

— По-видимому, с вас хватит. Однако вы, кажется, так понимаете развлечения? И приехали сюда для этого. Вот я и развлекла вас за ваши деньги.

Дальше она пошла молча. Вдруг Бельвинь заметил, что она плачет. Он спросил в испуге:

— Что с вами?

Она прошептала:

— Оставьте меня, какое вам дело!

Но он тупо настаивал:

— Нет, мадмуазель, скажите, что с вами? Вас кто-нибудь обидел?

Она повторила с раздражением:

— Да замолчите, наконец!

И, не в силах больше бороться с безысходной тоской, затопившей ее сердце, она зарыдала так отчаянно, что не могла идти дальше.

Закрыв лицо руками, она всхлипывала, стонала, захлебывалась, задыхаясь от своего непосильного горя.

Бельвинь стоял подле нее и в полном смятении твердил:

— Ничего не понимаю!

Тут решительно вмешался Сервиньи:

— Пойдемте домой, мамзель, не надо плакать на улице. Зачем было так безумствовать, а потом огорчаться?

И, схватив Иветту под руку, он увлек ее прочь.

Но как только они подошли к ограде дачи, она вырвалась, бегом пересекла сад, взбежала к себе в комнату и заперлась на ключ.

Появилась она только к обеду, очень строгая, очень бледная. Все остальные, наоборот, были настроены весело. Сервиньи купил у местного торговца одежду рабочего — бархатные штаны, рубаху в цветочек, фуфайку, блузу — и говорил простонародным языком.

Иветта не могла дождаться конца обеда, чувствуя, что мужество ее иссякает. Тотчас после кофе она ушла к себе.

Под окном ее раздавались веселые голоса. Шевалье отпускал вольные шутки, каламбурил грубо и неуклюже, как иностранец.

Она слушала с отчаянием. Сервиньи был чуть навеселе, подражал пьяному мастеровому, называл маркизу хозяйкой. И вдруг обратился к Савалю:

— Эй, хозяин!

Послышался взрыв смеха.

Тут Иветта решилась. Она взяла листок почтовой бумаги и написала:

Буживаль, воскресенье,
девять часов вечера.

Я умираю, чтобы не быть содержанкой.

Иветта.

А в постскриптуме:

Мама, дорогая, прости и прощай.

Она запечатала конверт, адресовав письмо маркизе Обарди.

Потом она подкатила к окну кушетку, придвинула поближе столик, поставила на него бутылку с хлороформом и положила пакет ваты.

Огромный розовый куст в цвету тянулся от самой террасы до ее окна и изливал во тьму нежный и тонкий аромат, набегавший легкими волнами; несколько мгновений девушка вдыхала его. Луна в первой своей четверти, выщербленная слева, плыла по черному небу, порой заволакиваясь легкой дымкой.

Иветта думала:

«Я сейчас умру! Сейчас умру!» Сердце ее, набухшее слезами, переполненное страданием, душило ее. Ей хотелось молить кого-то о пощаде, хотелось, чтобы кто-то спас ее, любил ее.

Послышался голос Сервиньи. Он рассказывал скабрезный анекдот, его слова то и дело прерывали взрывы хохота. Маркиза смеялась даже громче других, повторяя:

— Нет, право, это неподражаемо! Неподражаемо! Ха! ха! ха!

Иветта взяла бутылку, раскупорила ее и смочила жидкостью кусок ваты. Распространился сильный, приторный, странный запах. Она поднесла вату к губам, и этот резкий, щекочущий запах разом проник ей в горло, заставил закашляться.

Тогда, закрыв рот, она принялась вдыхать его. Глубокими затяжками впивала она смертоносные испарения, сомкнув глаза и стараясь угасить в себе всякую мысль, чтобы не думать, не знать ничего. Сначала ей казалось, будто грудь ее раздается, расширяется, а душа, только что обремененная горем, становится совсем-совсем легкой, и груз, угнетавший ее, поднимается, уходит, улетучивается.

Какая-то благодатная сила, подобная могучему дурману, сладостной лихорадкой проникала внутрь, пронизывала ее всю до кончиков пальцев.

Иветта заметила, что комок ваты высох, и удивилась, почему она еще не умерла. Все чувства ее как будто стали острее, тоньше, живее. Она явственно слышала каждое слово с террасы. Князь Кравалов рассказывал, как он убил на дуэли австрийского генерала.

А издалека, из сельских просторов, к ней долетали звуки ночи, прерывистый собачий лай, короткое квакание лягушек, еле уловимый шорох листвы.

Она снова взяла бутылку, еще раз смочила жидкостью кусочек ваты и стала вдыхать хлороформ. Несколько мгновений она не ощущала ничего; потом отрадная, упоительная истома опять овладела ею.

Два раза подливала она хлороформа на вату, страстно желая теперь этого физического и нравственного блаженства, мечтательного полусна, в котором витала ее душа.

Ей казалось, что нет у нее ни костей, ни мяса, ни ног, ни рук. Все это сняли так осторожно, что она и не заметила. От хлороформа в теле было ощущение пустоты, зато ум встрепенулся, ожил, стал шире, вольнее, чем когда-нибудь прежде.

В памяти ее вставали сотни забытых случаев, мелкие подробности из времен детства, пустяки, которые ей приятно было вспомнить. Мысль ее, ставшая вдруг необыкновенно подвижной, перескакивала с предмета на предмет, пробегала сотни приключений, бродила в прошедшем и заглядывала в манящие события будущего. В этом деятельном и беспечном блуждании мысли было чувственное наслаждение; ей доставляло оно божественную радость.

Она по-прежнему слышала голоса, но слов уже не разбирала, и они приобретали для нее совсем новый смысл. Она погружалась, она уносилась в причудливо пеструю феерию.

Вот она на корабле плывет мимо прекрасной, цветущей страны. На берегу люди, и эти люди кричат очень громко. А вот она уже, неизвестно как, очутилась

на суше; и Сервиньи, одетый принцем, явился за нею, чтобы вести ее на бой быков.

Улицы были полны прохожих, и все они говорили, и она без удивления слушала их разговоры, и люди, казалось ей, были знакомые, потому что сквозь грезы дурмана к ней с террасы по-прежнему долетали голоса и смех гостей ее матери.

Дальше все смешалось.

Потом она проснулась в блаженном оцепенении и с трудом вернулась к действительности.

Значит, она еще не умерла.

Но она так отдохнула, ощущала такое физическое блаженство, такой душевный покой, что не торопилась умирать. Ей хотелось бы, чтобы эта чудесная дремота длилась вечно.

Она дышала неторопливо и глядела на луну прямо перед собой, над вершинами деревьев. Что-то изменилось в ее сознании. Мысли были уже не те. Ослабив ее тело и душу, хлороформ утолил горе и усыпил волю к смерти.

Почему бы ей не жить? Почему не быть любимой? Почему не найти счастье в жизни? Все казалось ей теперь возможным, и простым, и верным. Все в жизни было приятно, хорошо, восхитительно. Но ей хотелось мечтать дальше, и она налила еще волшебной влаги на вату и стала вдыхать ее, по временам отнимая яд от ноздрей, чтобы не поглотить слишком много, чтобы не умереть.

Она смотрела на луну и видела на ней лицо, женское лицо. И снова возобновился образный бред, навеянный парами наркотика. Лицо качалось посреди неба; потом оно запело, знакомым голосом запело «Аллилуйя любви».

Это маркиза вошла в комнаты и села за фортепьяно.

Теперь у Иветты были крылья. Она летала ночью, ясной, светлой ночью, над лесами и долинами. Она летала с упоением, простирая крылья, взмахивая ими, и ветер нежил ее, как нежат объятия. Она отдавалась его воле, а он целовал ее, и она мчалась так быстро, так быстро, что не успевала ничего разглядеть внизу; и вдруг очутилась на берегу пруда с удочкой в руке — она удила.

Что-то клюнуло, она потянула лесу и выудила прекрасное жемчужное ожерелье, о котором мечтала последнее время. Ничуть не удивившись находке, она смотрела на Сервиньи,— он, неизвестно как, очутился возле нее, тоже с удочкой, и тащил из воды деревянную лошадку.

Потом она снова как будто очнулась и услышала, что ее зовут снизу.

Голос матери говорил:

— Погаси же свечу.

Потом Сервиньи выкрикнул шутовским тоном:

— Да погасите же свечу, мамзель Иветта!

И все подхватили хором:

— Мамзель Иветта, погасите свечу!

Она еще раз налила на вату хлороформа; умирать ей теперь не хотелось, и она держала его подальше от лица, чтобы самой дышать свежим воздухом, а комнату пропитать удушливым запахом наркотика, так как понимала, что к ней сейчас придут.

И, приняв бессильную позу, позу покойницы, она стала ждать.

Маркиза говорила:

— Я даже встревожена! Эта дурочка заснула и оставила свет на столе. Сейчас пошлю Клеманс погасить свечку и притворить окно на балкон, оно раскрыто настежь.

Немного погодя горничная постучала в дверь и позвала:

— Мадмуазель! Мадмуазель!

После паузы она повторила:

— Мадмуазель, маркиза просит вас потушить свечу и закрыть окно.

Клеманс подождала еще, а потом застучала сильнее и крикнула громче:

— Мадмуазель! Мадмуазель!

Иветта не отвечала, и горничная пошла доложить маркизе.

— Мадмуазель, должно быть, уснула; она заперлась на ключ, а разбудить ее я не могу.

Маркиза заволновалась:

— Нельзя же оставить ее так.

Тогда все гости, по совету Сервиньи, выстроились под окном и гаркнули хором:

— Гип-гип, ура! Мамзель Иветта!

Их рев всколыхнул мирную ночь, сквозь прозрачный воздух поднялся в поднебесье и пронесся над сонной землей; отголоски его затихли вдали, словно шум мчащегося поезда.

Иветта все не откликалась, и маркиза сказала:

— Только бы с ней не случилось чего-нибудь; мне становится страшно.

Тогда Сервиньи, срывая с куста, растущего у стены, красные розы и нераскрывшиеся бутоны, принялся швырять их в окно Иветты.

От первой розы, которая попала в нее, Иветта вздрогнула и чуть не закричала. Другие посыпались ей на платье, на волосы, перелетали через ее голову, падали на кровать, покрывали ее цветочным дождем.

Маркиза снова крикнула сдавленным голосом:

— Иветта, ну откликнись же!

А Сервиньи заявил:

— Право, тут что-то неладное, я взберусь на балкон.

Но шевалье возмутился:

— Позвольте, позвольте, я протестую, это неслыханная милость,— ведь удачней случая не дождешься, удачней минуты не улучишь, чтобы добиться свидания!

Все остальные, заподозрив уловку со стороны девушки, подхватили:

— Мы возражаем. Это подстроено нарочно. Не пустим, не пустим!

Но маркиза твердила в тревоге:

— Нет, надо пойти посмотреть, что случилось.

Князь заявил с трагическим жестом:

— Она поощряет герцога, нас предали.

— Бросим жребий, кому лезть,— предложил шевалье. И достал из кармана золотой.

Он подошел к князю и сказал:

— Орел.

Вышла решетка.

Вслед за этим князь бросил монету и обратился к Савалю:

— Ваше слово, сударь.

Саваль произнес:

— Решетка.

Вышел орел.

Князь по очереди опросил остальных. Все проиграли.

Сервиньи, оставшийся последним, заявил привычным ему наглым тоном:

— Что за черт! Он передергивает!

Князь прижал руку к груди и подал монету сопернику со словами:

— Бросайте сами, дорогой герцог.

Сервиньи взял золотой и швырнул его, крикнув:

— Решетка!

Вышел орел.

Он поклонился и указал на балюстраду балкона:

— Взбирайтесь, князь.

Но князь растерянно оглядывался по сторонам.

— Что вы ищете? — спросил шевалье.

— Мне бы... лестницу.

Раздался дружный смех. Саваль выступил вперед:

— Мы вам поможем.

Он поднял князя на своих мощных руках и посоветовал:

— Цепляйтесь за балкон.

Тот уцепился и, когда Саваль выпустил его, повис в воздухе, болтая ногами. Сервиньи схватил эти ноги, беспомощно искавшие опоры, и что было сил потянул их; руки разжались, и князь всей тяжестью рухнул на живот г-ну де Бельвиню, который пытался поддержать его.

— Чья очередь? — спросил Сервиньи.

Никто не вызвался.

— Что ж вы, Бельвинь, решайтесь!

— Благодарю вас, мой друг, я не хочу переломать себе кости.

— Ну, а вы, шевалье, для вас ведь это дело привычное.

— Уступаю вам место, дорогой герцог.

— Хм! Хм! Мне что-то тоже расхотелось.

И Сервиньи топтался под балконом, приглядываясь.

Потом сделал прыжок, уцепился за балкон, подтянулся на руках, как гимнаст, и перемахнул через балюстраду.

Все зрители зааплодировали.

Но он сейчас же показался снова.

— Скорей! Скорей! Иветта без сознания! — крикнул он.

Маркиза громко вскрикнула и устремилась наверх по лестнице.

Девушка лежала, закрыв глаза, точно мертвая.

Мать вбежала в смятении и бросилась к ней.

— Скажите, что с ней? Что с ней?!

Сервиньи поднял с пола упавшую бутылку.

— Она надышалась хлороформа,— сказал он.

И, приложив ухо к сердцу девушки, добавил:

— Но она не умерла. Мы оживим ее. Есть у вас аммиак?

Горничная растерянно повторяла:

— Что... что такое... сударь?

— Нашатырный спирт.

— Есть, сударь.

— Несите скорее и распахните дверь, чтобы был сквозняк.

Маркиза рыдала, упав на колени:

— Иветта! Иветта! Девочка, детка моя, послушай, ответь мне! Иветта, деточка моя! О господи! Господи, что же с ней?

Мужчины в испуге суетились без толку, подносили воду, полотенце, стаканы, уксус.

Кто-то сказал:

— Надо раздеть ее!

И маркиза, совсем потерявшая голову, попыталась снять платье с дочери; но она даже не соображала, что делает. Руки у нее дрожали, пальцы заплетались, она стонала:

— Не могу... не могу я...

Вернулась горничная с аптечной склянкой. Сервиньи вынул пробку и вылил половину содержимого на платок. Потом приложил платок к носу Иветты, и она судорожно вздохнула.

— Прекрасно, она дышит,— заметил он.— Ничего страшного.

Он смочил ей виски, щеки, шею резко пахнущей жидкостью.

Потом знаком приказал горничной расшнуровать Иветту и, когда на ней остались только юбка и рубашка, поднял ее на руки и понес на кровать, весь дрожа от аромата полуобнаженного тела, от прикосновения чуть влажной кожи, от тепла едва прикрытой груди, которая поддавалась под его губами.

Положив девушку, он выпрямился, весь бледный.

— Это ничего, она очнется,— сказал он, потому что уловил ее дыхание, ровное и правильное.

Но когда он увидел, что глаза всех мужчин устремлены на Иветту, лежавшую в постели, его передернуло от ревнивой досады, и, шагнув в их сторону, он сказал:

— Господа, в комнате слишком много народу. Соблаговолите уйти; здесь с маркизой останемся я и господин Саваль.

Он говорил сухим и властным тоном. Все немедленно удалились.

Г-жа Обарди обхватила своего любовника обеими руками и, подняв к нему голову, молила:

— Спасите ее! Ах, спасите же ее!..

Меж тем Сервиньи, обернувшись, увидел на столе письмо. Проворным движением схватил он конверт. Прочтя имя адресата, он понял и решил: «Пожалуй, не стоит маркизе знать об этом». Вскрыв письмо, он мигом пробежал обе строки:

Я умираю, чтобы не быть содержанкой.

Иветта.

Мама, дорогая, прости и прощай.

«Что за черт,— произнес он про себя.— Здесь есть над чем задуматься».

И спрятал письмо в карман.

Потом он вернулся к постели, и тут ему показалось, что девушка пришла в себя, но не решается открыть глаза из чувства стыда и унижения, из страха расспросов.

Маркиза опустилась теперь на колени и плакала в ногах постели. Встрепенувшись, она произнесла:

— Доктора, скорее доктора!

Но Сервиньи, поговорив шепотом с Савалем, успокоил ее:

— Нет, все прошло. Знаете что, уйдите на минутку, на одну минутку, и я ручаюсь вам, что она расцелует вас, когда вы вернетесь.

Подняв г-жу Обарди, барон увел ее

Тогда Сервиньи сел подле кровати и, взяв руку девушки, сказал:

— Послушайте, мамзель Иветта...

Она не ответила. Ей было так хорошо, так уютно, так тепло, что хотелось никогда больше не двигаться, не говорить и жить так всегда. Чувство несказанной отрады владело ею, такой отрады, какой она не испытывала еще ни разу.

Мягкий ночной воздух вливался в окно и легкими, бархатистыми волнами так сладостно, так нежно касался порой ее лица. Это была ласка, это был поцелуй ветра, точно мерное и свежее дуновение опахала, сотканного из листвы всех деревьев, из всех теней ночи, из приречных туманов, а также из всех цветов, ибо розы, усыпавшие ее комнату, ее кровать, и розы, которыми был увит балкон, сочетали свой томный аромат с бодрящим дыханием ночи. Не открывая глаз, пила она этот душистый воздух, сердце ее еще было убаюкано наркотическим дурманом, и умирать ей совсем не хотелось, а страстно, неодолимо хотелось жить, быть счастливой, безразлично какой ценой, быть любимой — да, любимой.

Сервиньи повторил:

— Послушайте, мамзель Иветта!

Она, наконец, решилась открыть глаза. Увидев, что она очнулась, он продолжал:

— Ай-ай, как не стыдно затевать такие глупости!

Она шепнула:

— Мюскад, милый, я была так несчастна.

Он по-отечески сжал ей руку.

— В самом деле, было от чего горевать! Обещайте, что не повторите этого безумства.

Она ответила только легким кивком и еле уловимой, почти незаметной улыбкой.

Он достал из кармана письмо, которое нашел на столе.

— Показать это вашей матери?

Она отрицательно покачала головой.

Он не знал, что сказать дальше, положение казалось ему безвыходным. Он прошептал:

— Детка моя, как бы ни было больно, надо мириться с неизбежным. Я понимаю ваше горе и обещаю вам...

— Какой вы добрый...— пролепетала она.

Оба замолчали. Он смотрел на нее. Во взоре ее была истома и нежность. И вдруг она протянула руки, словно хотела привлечь его. Он склонился к ней, чувствуя, что она зовет его, и губы их соединились.

Долго пробыли они так, не шевелясь, закрыв глаза. Но он понял, что может потерять над собой власть, и встал. Она улыбалась ему теперь настоящей любовной улыбкой и обеими руками удерживала его за плечи.

— Пойду позову вашу мать,— сказал он.

Она прошептала:

— Еще минутку. Мне так хорошо.

И, помолчав, прибавила тихо, так тихо, что он едва расслышал:

— Скажите, вы будете крепко любить меня?

Он опустился на колени у постели и поцеловал протянутую руку:

— Я вас боготворю.

Но за дверью послышались шаги. Он вскочил на ноги и обычным своим, слегка насмешливым тоном произнес:

— Входите. Все в порядке.

Маркиза бросилась к дочери, судорожно сжала ее в объятиях, омочив слезами ее лицо, меж тем как Сервиньи, ликующий и страстно возбужденный, вышел на балкон подышать свежим ночным воздухом, напевая про себя:

Женская прихоть меры не знает,
Женскую душу кто разгадает!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Море бьет в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром; в изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня.

У самой околицы стоит домик Мартен-Левеков, в стороне от других, на краю дороги. Это рыбацкая глинобитная лачуга, крытая соломой, с кустиком голубых ирисов на самой верхушке. Перед дверью — квадратный огородик величиной с платок, где растут лук, несколько кочанов капусты, петрушка и кервель. Плетень отделяет огород от дороги.

Хозяин на рыбной ловле, а жена перед домом чинит большую бурую сеть, растянутую на стене, словно громадная паутина. У калитки, на колченогом соломенном стуле, припертом спинкой к плетню, сидит девочка лет четырнадцати и чинит белье — не раз уже латанное и штопанное белье бедняков. Другая девочка, годом моложе, укачивает на руках грудного ребенка, еще бессловесного, еще не знающего осмысленных движений, а двое карапузов, двух и трех лет, сидя нос к носу прямо на земле, роют неловкими ручонками ямки и кидают друг другу в лицо пригоршни пыли.

Никто не произносит ни слова. Только малыш, которого стараются укачать, не умолкая, плачет пискливым и слабым голоском. На окошке дремлет кот. У стены дома красивой, нарядной каймой распушились

белые левкои, а над ними жужжит целое сонмище мошкары.

Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает:

— Ма-ам!

— Чего тебе? — отзывается мать.

— Опять он тут...

С самого утра они тревожатся, потому что вокруг дома все бродит какой-то старый человек, похожий на нищего. Они заметили незнакомца, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте; он сидел и смотрел на их дом.

Казалось, он был измучен и болен. Более часу он сидел не шевелясь; потом, заметив, что его подозревают в дурных умыслах, поднялся и ушел, волоча ноги.

Но вскоре они увидели, что он возвращается медленным и усталым шагом; он снова уселся, но на этот раз немного подальше, словно собирался подсматривать за ними.

Мать и девочки испугались. Особенно встревожилась мать, потому что она от природы была боязлива, а хозяин, Левек, должен был вернуться не раньше вечера.

Мужа ее звали Левек, а сама она носила фамилию Мартен, и их окрестили Мартен-Левеками. Случилось это вот почему: она вышла первый раз замуж за моряка Мартена, который каждое лето отправлялся к Ньюфаундленду на ловлю трески.

За два года замужества она родила от него дочку и была беременна на седьмом месяце, когда пропало судно, на котором плавал ее муж,— *Две сестры,* трехмачтовая шхуна из Дьепа.

О шхуне так и не было больше вестей, никто из находившихся на ней моряков не вернулся; и все решили, что она затонула с людьми и грузом.

Мартен десять лет ждала своего мужа и с великим трудом растила двух дочерей; потом, так как она была женщина работящая и хорошая, к ней посватался один из местных рыбаков, Левек, вдовец с маленьким сы-

ном. Они поженились, и за три года она родила от него еще двоих детей.

Жизнь у них была тяжкая и многотрудная. Хлеб в их доме ценили дорого, а мяса почти не видали. Случалось, они должали булочнику — зимой, в ненастные месяцы. Ребята все же росли здоровыми. Люди говорили:

— Славные они оба, Мартен-Левеки. Мартен работы не боится, а Левек в рыбацком деле любого за пояс заткнет.

Девочка, сидевшая у плетня, заговорила опять:

— Похоже, он знает нас. Может, это нищий из Эпревиля, а не то из Озебоска.

Но тут мать не могла ошибиться. Нет, нет, это человек нездешний, наверняка!

Он все торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом Мартен-Левеков, и Мартен, наконец, разъярилась; со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог.

— Вам чего тут надо? — крикнула она бродяге.

Он отвечал хриплым голосом:

— Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю?

Она продолжала:

— Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому?

— Плохого я никому не делаю,— отвечал он.— Нельзя на дороге посидеть, что ли?

Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой.

День тянулся медленно. К полудню человек исчез. Но к пяти часам он вновь появился. Вечером его уже не видели.

Левек вернулся к ночи. Ему обо всем рассказали. Он решил:

— Верно, разнюхивать пришел, дурной человек, должно быть.

И он спокойно лег спать, а его подруга все думала о бродяге, который смотрел на нее такими странными глазами.

На рассвете подул сильный ветер, и рыбак, видя, что нельзя выйти в море, принялся помогать жене чинить сети.

Часов в девять старшая девочка, дочь Мартена, хо-

дившая за хлебом, вернулась бегом, перепуганная, и закричала:

— Мама, опять он тут!

Мать, вся побледнев от волнения, обернулась к мужу.

— Ступай, Левек, поговори с ним. Пусть он бросит подглядывать, а то я уже сама не свся.

И Левек, дюжий моряк с кирпично-красным лицом и густой рыжей бородой, с голубыми глазами, словно проколотыми черной точкой зрачка, и с крепкой, всегда тепло укутанной шеей — в защиту от дождя и морского ветра,— спокойно вышел и направился к прохожему.

Они заговорили.

Мать и дети издали смотрели на них в смятении и тревоге.

Вдруг незнакомец поднялся и вместе с Левеком направился к дому. Мартен испуганно попятилась. Муж сказал ей:

— Дай-ка ему хлебца и кружку сидра. У него два дня крошки во рту не было.

И оба вошли в дом, а за ними — женщина и дети. Прохожий сел и принялся есть, опустив голову под всеми устремленными на него пристальными взглядами.

Мать, стоя, разглядывала его, две старшие девочки,— мартеновские, одна с малышом на руках,— прислонились к дверям и с жадным любопытством уставились на чужака; два карапуза, сидевшие в очаге на остывшей золе, перестали играть черным котелком, будто и они хотели посмотреть на нового человека.

Левек сел и спросил:

— Так, значит, вы издалека?

— Из Сета.

— И все пешком?

— Пешком. Платить нечем, так поневоле пойдешь.

— Куда же вы?

— Я шел сюда.

— У вас тут есть кто-нибудь?

— Может, и есть.

Они замолчали. Человек, хоть был голоден, ел медленно и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было старое, морщинистое, костлявое. Видно, он перенес много тяжелого.

Левек вдруг спросил:

— А как вас звать?

Он ответил, не поднимая головы:

— Меня звать Мартеном.

Странная дрожь пробежала по телу матери. Она шагнула вперед, словно хотела получше разглядеть бродягу, и остановилась перед ним, уронив руки, раскрыв рот. Никто не произносил ни слова. Наконец Левек снова заговорил:

— Вы здешний?

Тот ответил:

— Здешний.

Он поднял, наконец, голову; глаза женщины и его глаза встретились и остановились недвижно, взгляды соединились, будто притянутые магнитом друг к другу.

И вдруг она тихо произнесла задрожавшим, изменившимся голосом:

— Это ты, муженек?

Он медленно ответил:

— Да, я.

Он продолжал сидеть и жевать хлеб.

Левек, не то что взволнованный, а скорей удивленный, пробормотал:

— Это ты, Мартен?

Тот просто ответил:

— Да, я.

Второй муж спросил:

— Откуда же ты взялся?

Первый рассказал:

— С африканского побережья. Мы наскочили на мель. Трое нас спаслось — Пикар, Ватинель и я. Потом дикари схватили нас и держали у себя двенадцать лет. Пикар и Ватинель померли. Один англичанин-путешественник проезжал по тем местам, он забрал меня с собою и довез до Сета. Вот я и пришел.

Мартен расплакалась, уткнувшись лицом в передник.

Левек сказал:

— Как же нам теперь быть?

— Ты что, ее муж? — спросил Мартен.

— Да, муж,— ответил Левек.

Они взглянули друг на друга и замолчали.

Потом Мартен, оглядев детей, собравшихся вокруг него, кивнул головой в сторону двух девочек:

— Это мои?

— Твои,— подтвердил Левек.

Мартен не встал с места, не обнял их; он только заметил:

— Господи, большие-то какие!

Левек повторил:

— Как же нам быть теперь?

Мартен раздумывал, тоже не зная, как поступить. Наконец он решился.

— Что ж, говори, я сделаю по-твоему. Я тебе зла не желаю. Только с домом вот неладно выходит. Ребята... у меня двое, у тебя трое — каждому свои. Вот мать их,— то ли твоя она, то ли моя? Как захочешь, так и будет. Ну, а уж дом-то мой, он мне от отца достался, тут я родился, и бумаги все у нотариуса есть.

Мартен все плакала, отрывисто всхлипывая, и прятала лицо в голубой холщовый передник. Старшие девочки придвинулись поближе друг к другу, с беспокойством разглядывая отца.

Мартен кончил есть. Теперь он, в свою очередь, спросил:

— Как же нам быть?

Левеку пришла в голову мысль:

— Пойдем к священнику, он и рассудит.

Мартен встал и, когда он шагнул в сторону жены, та, рыдая, бросилась к нему на грудь:

— Муженек! Ты тут! Мартен, бедняга мой, ты тут!

И она обхватила его обеими руками, ощутив вдруг всем существом веяние давно минувшего, потрясенная силой воспоминаний, которые воскресили перед ней юные годы и первые объятия.

Мартен тоже растрогался и несколько раз поцеловал ее в чепец. Оба мальчугана, сидевшие в очаге, заревели в один голос, услышав, как плачет мать, а самый маленький, на руках у младшей дочки Мартенов, завизжал пронзительно, как испорченная дудка.

Левек стоя ждал.

— Пойдем,— сказал он,— надо все устроить как полагается.

Мартен выпустил жену из объятий; заметив, что он смотрит на дочек, мать сказала им:

— Чего же вы? Поцелуйте отца.

Они подошли вместе, без единой слезинки, недоумевая и немного побаиваясь. Он чмокнул одну вслед за другой, в обе щеки, неумело, по-крестьянски. Малыш, увидев, что к нему приближается чужой человек, залился таким неистовым плачем, что его чуть не схватили судороги.

Затем мужчины вышли.

Когда они проходили мимо кабачка «Торговля», Левек спросил:

— А не выпить ли нам по стаканчику?

— Что ж, я не прочь,— согласился Мартен.

Они вошли, уселись в пустой еще комнате, и Левек закричал:

— Эй! Шико! Два стаканчика настойки, да покрепче: Мартен вернулся, прежний муж моей жены. Знаешь, Мартен с *Двух сестер,* который пропал.

Толстобрюхий, багровый, заплывший жиром кабатчик подошел, держа в одной руке три стакана, а в другой бутылку, и невозмутимо спросил:

— Смотри-ка! Ты вернулся, Мартен?

— Вернулся,— ответил Мартен.

БРОШЕННЫЙ

— Ну, дорогая моя, прогулка в деревню по такой жаре — настоящее безумие! И вообще за последние два месяца у тебя появились какие-то нелепые причуды. Не спрашивая моего согласия, ты увозишь меня к морю, хотя за все сорок пять лет, что мы женаты, тебе ни разу не приходила в голову подобная фантазия. Почему-то выбираешь Фекан, скучнейший городишко, и тут тебя вдруг обуревает такая жажда движения,— тебя, закоренелую домоседку,— что ты желаешь разгуливать по полям в самый знойный день лета. Попроси д'Апреваля сопутствовать тебе, благо он исполняет все твои прихоти. А я пойду отдохнуть после завтрака.

Г-жа де Кадур повернулась к своему давнишнему другу:

— Вы пойдете со мной, д'Апреваль?

Он, улыбаясь, поклонился со старомодной галантностью.

— Готов повсюду следовать за вами,— сказал он.

— Хорошо, ступайте, если не боитесь солнечного удара! — воскликнул г-н де Кадур.

И он вернулся в Отель де Бен подремать в постели часок-другой.

Оставшись вдвоем, старая женщина и ее старый друг тотчас тронулись в путь. Она произнесла очень тихо, сжимая его руку:

— Наконец-то! Наконец!

Он прошептал:

— Вы с ума сошли! Уверяю вас, вы с ума сошли. Подумайте, чем вы рискуете. Если этот человек...

Ее передернуло:

— О Анри, не говорите про него: «этот человек»...

Он продолжал резким тоном:

— Хорошо! Если наш сын о чем-нибудь догадается, если он нас заподозрит,— вы у него в руках, мы оба у него в руках. Вы спокойно жили сорок лет, не видя его. Что с вами сегодня?

Они шли по длинной улице, которая вела от моря к городу. Потом свернули направо, чтобы подняться на возвышенность Этрета. Белая дорога вилась под жгучим ливнем солнечных лучей.

Ослабев от палящего зноя, они двигались медленно, мелкими шажками. Г-жа де Кадур взяла своего друга под руку и шла, устремив вперед неподвижный, тоскливый взгляд.

— Значит, вы тоже ни разу не видели его,— сказала она.

— Нет, ни разу!

— Как же это можно?

— Дорогая, не будем возвращаться к вечному нашему спору. У меня жена и дети, у вас — муж, следовательно, нам обоим надо беречь свою репутацию.

Она ничего не ответила. Она думала о своей далекой молодости, о многом, что минуло и было так печально.

Ее выдали замуж, как выдают всех молодых девушек. Она совсем не знала своего жениха, дипломата, жизнь ее с ним была обычной жизнью всех светских женщин.

Но вот один молодой человек, г-н д'Апреваль, как и она связанный браком, полюбил ее глубоко и страстно; и во время долгого отсутствия г-на де Кадура, уехавшего в Индию с политической миссией, она поддалась искушению.

Как могла она сопротивляться, устоять? Как могла она найти в себе силу и мужество не уступить, когда она тоже любила его? Нет, нет! Это было бы слишком тяжело. Слишком мучительно! Как жестока и коварна жизнь! Можно ли в таких случаях уйти от судьбы, можно ли спастись от роковой неизбежности? Когда

женщина одинока, покинута, лишена ласки, не имеет детей,— может ли она постоянно убегать от преследующей ее страсти; кто же решится бежать от солнечного света, обрекая себя на жизнь во мраке до самой смерти?

До чего ясно помнится ей все, всякая мелочь: как он целовал ее, как улыбался и как, входя к ней, останавливался на пороге и смотрел на нее. Что за счастливые дни! Единственные светлые дни в ее жизни, и как быстро они пролетели!

Потом г-жа де Кадур заметила, что она беременна. Какое отчаяние!

А это путешествие на юг, длинное путешествие, и мучения, и непрерывный страх, и эта жизнь, в маленькой уединенной вилле на берегу Средиземного моря, в глубине сада, откуда она не осмеливалась выходить!

Навсегда запомнились ей томительные дни, когда она лежала под апельсиновым деревом, устремив глаза на желто-красные круглые плоды, мелькавшие в зеленой листве. Как хотелось ей выйти, прогуляться к морю — его свежее дыхание долетало через каменную ограду, она слышала плеск коротких волн на берегу, и ей грезилась голубая ширь, сверкающая на солнце, и белые паруса, и очертания горы на горизонте! Но она не смела выглянуть за калитку сада. Вдруг кто-нибудь узнает ее, когда она так обезображена, когда расплывшаяся грузная фигура выдает ее позор!

А дни ожидания, последние мучительные дни! Тревожные признаки! Первые схватки! Потом страшная ночь! Сколько она выстрадала!

Что это была за ночь! Как она стонала, кричала! Она и сейчас еще видела перед собою бледное лицо своего любовника, который поминутно целовал ее руку, видела гладко выбритое лицо врача, белый чепчик сиделки.

И как дрогнуло ее сердце, когда она услышала слабый писк ребенка, похожий на мяуканье, первую попытку человека подать голос!

А следующий день! Следующий день! Единственный день в ее жизни, когда она могла смотреть на своего сына и целовать его,— с тех пор она ни разу, хотя бы издали, не взглянула на него!

С тех пор — долгое и пустое существование, постоянно омраченное мыслью о ребенке! Она больше не видела, ни разу не видела маленькое существо,— рожденное ею, не видела своего сына! Его взяли, унесли, спрятали где-то. Она знала лишь, что его отдали на воспитание в семью нормандских крестьян, что он сам стал крестьянином, удачно женился и был хорошо обеспечен своим отцом, имени которого не знал.

Сколько раз за сорок лет она порывалась ехать к нему — увидеть, обнять его! Она не могла представить себе, что он вырос. Ей всегда вспоминалась человеческая личинка, которую она всего один день обнимала и прижимала к своей истерзанной груди.

Сколько раз говорила она своему любовнику: «Я больше не могу, я хочу его видеть, я поеду...»

И всегда он не пускал, отговаривал ее. Она не в силах будет сдержать волнение, совладать с собой, тот человек догадается, захочет извлечь из этого выгоду. Она погубит себя.

— Какой он? — спрашивала г-жа де Кадур.

— Не знаю. Я его больше не видел.

— Как это можно? Иметь сына и не знать его, бояться его, отталкивать, как что-то постыдное!

Это было чудовищно.

Они шли по длинной дороге, истомленные жгучим солнцем, все поднимаясь и поднимаясь в гору.

Она заговорила снова:

— Разве это не похоже на кару? У меня не было других детей. Нет, я не могла дольше противиться желанию увидеть его, оно преследует меня сорок лет! Вам, мужчинам, этого не понять! Подумайте, мне осталось недолго жить, и вдруг я бы не увидела его перед смертью! Не увидела — мыслимо ли это? Как я могла ждать так долго? Всю жизнь я думала о нем. Как ужасно было из-за этого мое существование! Всякий день, когда я просыпалась, слышите, всякий день,— первая моя мысль была о нем, о моем ребенке. Какой он? О, как я перед ним виновата! Разве можно в таких случаях считаться с мнением света? Я должна была бросить все и ехать к нему, воспитывать, любить его. И, конечно, я была бы счастливее... Но я не решилась! Я была малодушна. Как я страдала! Маленькие, бро-

шенные существа!.. Как они должны ненавидеть своих матерей!

Она вдруг остановилась, захлебнувшись слезами. Долина в слепящем свете знойного дня была пустынна и безмолвна. Только кузнечики неумолчно и пронзительно трещали, прыгая в редкой и желтой траве по обеим сторонам дороги.

— Посидите немного,— сказал он.

Он отвел ее к краю придорожной канавы, и она в изнеможении опустилась на землю, закрыв лицо руками. Ее седые волосы, завитые локонами, распустились; она плакала, не в силах превозмочь своей глубокой скорби.

Он стоял перед нею в тревоге и не знал, что сказать.

— Перестаньте!.. Будьте мужественны! — бормотал он.

Она поднялась.

— Да, у меня хватит мужества.

И, отерев глаза, она снова двинулась в путь неровной старческой походкой. Немного дальше дорога вела через рощицу, в которой приютилось несколько домиков. Путники уже слышали равномерный и звонкий стук кузнечного молота по наковальне.

Вскоре они увидели справа от дороги телегу перед каким-то зданием; дальше, под навесом, два человека подковывали лошадь.

Г-н д'Апреваль направился к ним.

— Где ферма Пьера Бенедикта? — крикнул он.

Один из кузнецов ответил:

— Свернете налево, как раз у самого кабачка, а потом идите все прямо. Третий двор от фермы Порета. У калитки — елочка. Не ошибетесь.

Они повернули налево. Теперь женщина шла совсем медленно, ноги у нее подкашивались, сердце колотилось так неистово, что она задыхалась.

На каждом шагу она шептала, словно молилась:

— Боже мой! О боже мой!

Невыносимое волнение сдавило ей горло, она пошатывалась и еле переступала, как будто у нее отнимались ноги.

Г-н д'Апреваль нервничал и был бледен.

— Раз вы не можете владеть собою, вы сразу выдадите себя,— резко сказал он.— Постарайтесь держать себя в руках.

Она пробормотала:

— Где взять силы? Мой сын! Подумать только, я увижу моего сына!

Они шли узкой проселочной дорогой между дворами ферм под ветвями двойного ряда буков, посаженных вдоль канав. И вдруг очутились у деревянного забора, перед которым росла молодая ель.

— Здесь,— сказал г-н д'Апреваль.

Она сразу остановилась и огляделась.

Широкий двор, обсаженный яблонями, тянулся до маленького домика, крытого соломой. Напротив — конюшня, рига, хлев, курятник. Под шиферным навесом — деревенские повозки: телега, двуколка, шарабан. Четыре теленка щипали ярко-зеленую траву в тени деревьев. По двору бродили черные куры.

Ни звука. Дверь в доме стояла настежь. Но никого не было видно.

Они вошли. Из бочки, лежащей под высокой грушей, выскочила черная собака и принялась яростно лаять.

У входа, вдоль стены дома, четыре улья на дощатых подставках выставили в ряд свои соломенные купола.

Г-н д'Апреваль подошел к домику и крикнул:

— Есть кто-нибудь?

На пороге показалась девочка лет десяти, в рубашке и шерстяной юбке, с босыми грязными ногами, застенчивая и угрюмая на вид. Она остановилась в дверях, словно преграждая вход.

— Вам чего надо? — спросила она.

— Отец дома?

— Нет.

— Где он?

— Не знаю.

— А мама?

— Пошла коров доить.

— Скоро она вернется?

— Не знаю.

Тут вдруг старая дама, словно испугавшись, что ее уведут насильно, торопливо сказала:

— Я не уйду, пока не увижу его.

— Мы подождем его, дорогая.

Обернувшись, они увидели крестьянку: она шла к дому, неся два жестяных, по-видимому, тяжелых, ведра, по которым бегали ослепительные солнечные зайчики.

Женщина прихрамывала на правую ногу, грудь ее была обтянута коричневой фуфайкой, линялой, вымоченной дождями, порыжевшей от летнего солнца; она походила на бедную батрачку, жалкую и неряшливую.

— Вот и мама,— сказала девочка.

Крестьянка окинула чужих людей неприветливым, подозрительным взглядом и вошла в дом, словно не видя их.

У нее было худое и желтое, жесткое, деревянное лицо, как у многих крестьянок; она казалась старухой.

Г-н д'Апреваль окликнул ее:

— Хозяйка, мы зашли попросить, не продадите ли нам два стакана молока.

Поставив ведра, она вышла на порог и буркнула:

— Я молока не продаю.

— Видите ли, нам очень хочется пить. Эта дама немолода и сильно устала. Нельзя ли достать у вас чего-нибудь напиться?

Крестьянка глядела на них настороженно и угрюмо.

В конце концов она согласилась.

— Ну ладно, раз уж вы пришли, я вам дам молока,— сказала она.

И скрылась в доме.

Девочка вынесла из комнаты два стула и поставила их под яблоней; вслед за нею вышла мать и подала посетителям две чашки пенистого молока.

Она остановилась около них, будто хотела последить за ними и разгадать, что у них на уме.

— Вы из Фекана? — спросила она.

Г-н д'Апреваль ответил:

— Да, мы приехали на лето в Фекан.

Помолчав, он добавил:

— Не можете ли вы продавать нам каждую неделю кур?

Крестьянка заколебалась, потом ответила:

— Да как сказать. Вам молодок надо?

— Да, молодок.

— А почем вы покупаете кур на рынке?

Д'Апреваль не знал, он обернулся к своей подруге:

— Дорогая, почем вы покупаете кур, молодых кур?

Она пробормотала, подняв глаза, полные слез:

— По четыре франка и по четыре пятьдесят.

Хозяйка искоса с удивлением посмотрела на нее и спросила:

— Чего эта дама плачет? Больна она, что ли?

Он не знал, что ответить, и проговорил запинаясь:

— Нет... нет... но она... по дороге потеряла часы, очень красивые часы, и расстроилась. Если кто-нибудь найдет их, дайте нам знать.

Жена Бенедикта ничего не ответила, решив, что тут дело не чисто.

Вдруг она сказала:

— А вот и хозяин!

Только она одна заметила, как он вошел, потому что стояла лицом к калитке.

Д'Апреваль сильно вздрогнул, г-жа де Кадур чуть не упала, резко повернувшись на стуле.

В десяти шагах от них появился человек, который вел на веревке корову, перегнувшись пополам и тяжело дыша.

— Вот шкура проклятая! — выругался он, не обращая внимания на посторонних; затем направился к хлеву и скрылся в нем.

Слезы на глазах старой женщины мгновенно высохли, она застыла, онемела, растерялась от ужаса. Сын! Это ее сын!

Д'Апреваль, которого больно кольнула та же мысль, спросил дрожащим голосом:

— Это и есть господин Бенедикт?

Хозяйка насторожилась:

— А кто вам сказал, как его звать?

Г-н д'Апреваль ответил:

— Кузнец на большой дороге.

И все замолчали, устремив глаза на раскрытую дверь хлева. Она зияла в стене черной дырой. Внутри ничего не было видно, но оттуда доносились неясные звуки, возня, топот, приглушенный разбросанной по земле соломой.

Хозяин снова показался на пороге, вытер лоб и двинулся к дому размашистой походкой, раскачиваясь при каждом шаге.

Он еще раз прошел мимо посторонних, как будто не замечая их, и бросил жене:

— Ступай нацеди кружку сидра, пить хочется.

И он вошел в дом. Хозяйка скрылась в погребе, оставив парижан вдвоем.

Г-жа де Кадур, в полном смятении, пролепетала:

— Уйдем отсюда, Анри, уйдем отсюда.

Д'Апреваль взял ее под руку, поднял и, поддерживая изо всех сил, так как чувствовал, что она вот-вот упадет, повел прочь, бросив на стул пять франков.

Едва они вышли за калитку, как г-жа де Кадур разрыдалась, вся содрогаясь от боли.

— О-о! Вот что вы сделали из него!..

Г-н д'Апреваль был очень бледен. Он сухо ответил:

— Я сделал, что мог. Его ферма стоит восемьдесят тысяч франков. Не всякий сын зажиточного горожанина имеет такой капитал.

И они медленно пошли назад, не говоря больше ни слова.

Она плакала не переставая. Слезы все текли и текли у нее из глаз и катились по щекам.

Наконец они иссякли; путники вернулись в Фекан.

Г-н де Кадур поджидал их к обеду. Увидев их, он расхохотался и закричал:

— Прекрасно, у жены солнечный удар. Я очень рад. Право, я думаю, что с некоторых пор она потеряла рассудок!

Ни жена, ни ее друг не отвечали, а когда муж, потирая руки, спросил:

— Хорошо ли вы прогулялись по крайней мере?

Д'Апреваль ответил:

— Чудесно, друг мой, чудесно.

ВЗГЛЯДЫ ПОЛКОВНИКА

— Честное слово,— сказал полковник Лапорт,— я стар, у меня подагра, ноги не гнутся и стали как колоды, но прикажи мне женщина, хорошенькая женщина, пролезть сквозь игольное ушко, я, кажется, проскочу в него, как клоун в обруч. Таким я и умру: это у меня в крови. Я старый любезник, ветеран старой школы. Личико женщины, хорошенькой женщины, будоражит меня всего, с головы до пят. Понимаете?

Впрочем, господа, все мы во Франции в сущности таковы. Мы остаемся рыцарями, несмотря ни на что, рыцарями любви и случая, раз уж упразднили господа бога, у которого мы состояли телохранителями.

Но женщину, видите ли, изъять из наших сердец никак нельзя. Она тут,— тут и останется. Мы ее любим, будем ее любить и не перестанем совершать ради нее любые безумства, пока на карте Европы есть Франция. И даже если Франции будет каюк — французы все равно останутся.

На глазах у женщины, хорошенькой женщины, я, кажется, способен на все. Черт возьми! Когда я чувствую на себе ее взгляд, этот дьявольский взгляд, от которого огонь пробегает по жилам, я хочу сам не знаю чего: хочу драться, сражаться, ломать мебель, доказать, что я самый сильный, самый храбрый, самый смелый, самый преданный из всех людей.

И я не исключение, нет, право же, нет! Клянусь вам, что такова вся французская армия! Мы все — от рядового и до генерала — рвемся вперед и готовы на все, если дело коснется женщины, красивой женщины!

Вспомните, что заставила нас когда-то совершить Жанна д'Арк. И знаете, держу пари, если бы женщина, хорошенькая женщина, приняла на себя командование армией накануне Седана, когда ранили маршала Мак-Магона, мы прорвали бы линию пруссаков и — разрази меня гром! — выпили бы за ее здоровье, выстрелив из их пушек.

Парижу нужен был не Трошю, а святая Женевьева.

Мне вспоминается по этому поводу один случай из времен войны, который убедительно доказывает, что в присутствии женщины мы способны на все.

Я был тогда капитаном, скромным капитаном, и командовал отрядом разведчиков, который отступал по местности, уже захваченной пруссаками. Мы были окружены, нас преследовали, мы измучились, одичали и падали от усталости и голода.

Нам нужно было к утру добраться до Бара-на-Тене, иначе бы нас перестреляли, изрубили, перерезали. Как мы еще ухитрились избежать этого, сам не знаю. За ночь нам предстояло пройти двенадцать льё,— двенадцать льё по снегу и в снегопад да еще на пустой желудок. Я думал: «Всё кончено; моим беднягам ни за что не дойти».

Мы целые сутки ничего не ели. Весь день прятались в риге, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, не в состоянии были ни разговаривать, ни шевелиться и спали беспокойным прерывистым сном, как спят вконец измученные люди.

К пяти часам стемнело, спустилась мглистая снежная ночь. Я растолкал людей. Многие отказывались вставать, потому что не могли ни двигаться, ни держаться на ногах, одеревенели от холода и всех прочих невзгод

Перед нами расстилалась равнина, большая, дурацкая, голая равнина, а снег так и валил. Белые хлопья падали и падали, как завеса, покрывая все тяжелым и плотным мерзлым покровом, мертвящей периной из обледенелого пуха. Казалось, наступал конец света.

— В дорогу, ребята!

Они глядели на белую труху, валившую сверху, и как будто думали:

«Хватит! Помереть и здесь можно!»

Тогда я вынул револьвер:

— Первого, кто отстанет, пристрелю.

И вот они пускаются в путь, но еле-еле тащатся, видно, что ноги у них уже не идут.

Я послал четверых в разведку, на триста метров вперед; остальные шли как попало, сбившись в кучу, кто широким, кто мелким шагом, в зависимости от степени усталости и от длины ног. Самых крепких я выстроил сзади, приказав подбадривать отстающих... ударом штыка в спину.

Снег, казалось, собирался похоронить нас заживо; он запорошил кепи и шинели и не таял, превращая нас в привидения, в тени солдат, погибших от смертельной усталости.

Я говорил себе: «Не выбраться нам из этих мест, если только не случится чуда».

Иногда на несколько минут мы останавливались, поджидая отставших. Тогда слышался только тихий шум снега, еле уловимый шум бесчисленных падающих хлопьев.

Некоторые солдаты отряхивались. Другие стояли неподвижно. Затем я приказывал снова трогаться в путь. Люди взваливали ружья на плечи и, пошатываясь, шли дальше.

Вдруг разведчики вернулись назад. Их что-то встревожило. Они услыхали впереди голоса. Я выслал шесть человек с сержантом и стал ждать.

Внезапно пронзительный женский крик прорезал давящую снежную тишину, и через несколько минут ко мне привели двух пленников, старика и девушку.

Я допросил их вполголоса. Они спасались от пруссаков, которые в этот вечер заняли их дом и перепились. Старик испугался за дочь, и, даже не предупредив слуг, они убежали вдвоем среди ночи.

Я сразу понял, что это были буржуа,— пожалуй, даже побольше, чем буржуа.

— Пойдемте с нами,— сказал я им.

Мы снова двинулись. Старик знал местность и указывал нам дорогу.

Снег перестал, показались звезды, а холод стал нестерпимым.

Девушка шла под руку с отцом неровной, спотыкающейся походкой, и вся ее фигура говорила об отчаянии. Порой она шептала: «У меня ноги совсем отмерзли». А я, признаться, страдал больше всего за нее: невыносимо было видеть, как бедняжка тащится по снегу.

Вдруг она остановилась.

— Отец,— сказала она,— я так устала, что дальше не пойду.

Старик хотел нести ее на руках, но не мог даже поднять свою дочь, и она с глубоким вздохом опустилась на снег.

Их обступили. Я топтался на месте, не зная, что делать, не решаясь, по правде сказать, бросить на произвол судьбы старика и юную девушку.

Вдруг один из моих солдат, парижанин, по прозвищу Практик, заявил:

— Ну, товарищи, понесемте барышню, иначе, черт нас подери, какие же мы французы!

Я, кажется, ругнулся от удовольствия.

— Черт возьми, чудесная идея, ребята. И я тоже согласен нести.

Слева в темноте смутно виднелась роща. Несколько человек пошли туда и вскоре вернулись с охапкой веток, связанных наподобие носилок.

— Кто даст свою шинель? — крикнул Практик.— Для хорошенькой девушки, братцы!

Штук десять шинелей упало к его ногам. Еще мгновение, и девушку тепло укутали, уложили на носилки, и шестеро солдат подняли их на плечи. Я стал справа, в головах, и, даю честное слово, радовался, что и мне приходится ее нести.

Мы двинулись теперь гораздо веселее и бодрее, словно глотнули вина. Послышались даже шуточки. Видите, достаточно одного присутствия женщины, чтобы наэлектризовать французов.

Солдаты почти восстановили строй, оживились, согрелись. Один вольный стрелок, человек пожилой, который шел подле носилок, чтобы сменить первого уставшего товарища, пробурчал соседу, но так громко, что и я его услышал:

— Я уж не молод, а вот, провалиться мне на месте, как увижу женщину, так сразу у меня кровь и взыграет!

До трех часов утра мы шли почти без передышки. Потом разведчики вернулись еще раз, и тотчас же весь отряд залег в снег, виднеясь еле заметной полоской.

Я отдавал приказы шепотом и слышал за своей спиной сухой металлический треск: заряжали ружья.

Ведь там, в долине, творилось нечто странное. Казалось, бежал какой-то огромный зверь, который то вытягивался змеей, то собирался в клубок, резко кидался вправо, влево, останавливался и снова начинал двигаться.

Вдруг таинственная блуждающая тень приблизилась к нам, и я увидал, что это скачут цепочкой в карьер двенадцать заблудившихся уланов, отыскивая дорогу.

Они были так близко, что я отлично слышал храп лошадей, бряцание оружия и поскрипывание седел.

Я крикнул:

— Пли!

И пятьдесят ружейных выстрелов нарушили безмолвие ночи. Еще пять или шесть вдогонку, и потом — последний одинокий выстрел. Когда пороховой дым рассеялся, мы увидали, что все двенадцать человек и девять лошадей упали. Три лошади неслись бешеным галопом; одна из них испуганно металась и волокла за собою труп всадника, зацепившегося ногой за стремя.

Около меня солдат засмеялся каким-то жутким смехом. Другой сказал:

— Сколько вдов-то!

Может быть, он и сам был женат. Третий добавил:

— На такое дело много времени не надобно.

Из-под шинелей высунулась головка.

— Что случилось? — спросила она.— Сражение?

Я ответил:

— Ничего особенного, мадмуазель; мы только что отправили на тот свет дюжину пруссаков.

Она пробормотала:

— Бедняги!

И, так как ей было холодно, она снова исчезла под шинелями.

Отправились дальше. Шли долго. Наконец небо стало бледнеть. Снег посветлел, заискрился, засверкал, и на востоке протянулась розовая полоса.

Вдали раздался окрик:

— Кто идет?

Отряд остановился, а я прошел вперед, чтобы нас пропустили.

Мы добрались до французских позиций.

Когда люди проходили мимо заставы, сидевший верхом на лошади командир, которому я только что доложил обо всем случившемся, заметил проплывавшие мимо него носилки и громко спросил:

— А это что у вас там?

Тотчас же высунулась белокурая головка, растрепанная и улыбающаяся, и послышался голосок:

— Это я, сударь!

Мои люди дружно захохотали, и все сердца радостно забились.

Практик, шедший подле носилок, замахал кепи и заорал:

— Да здравствует Франция!

И не знаю почему, но я вдруг расчувствовался,— до того это показалось мне милым и рыцарским.

Мне почудилось, будто мы спасли целую страну, совершили нечто такое, чего не сделали б другие, нечто простое, но подлинно патриотическое.

А это личико я, знаете, никогда не забуду, и, если б спросили моего совета насчет упразднения барабанов и рожков, я предложил бы заменить их в каждом полку хорошенькой девушкой. Это было бы еще лучше, чем играть Марсельезу. Черт возьми, как бы это подбодрило служивых, если б рядом с полковником они видели такую вот мадонну, живую мадонну.

Он помолчал несколько секунд и, покачивая головой, добавил с глубоким убеждением:

— Да, что ни говори, а мы, французы, любим женщин

ПРОГУЛКА

Когда дядюшка Лера, бухгалтер торгового дома Лабюз и К°, вышел из магазина, он был на несколько мгновений ослеплен блеском заходящего солнца. Весь день он проработал при желтом свете газового рожка в заднем углу конторы, выходившей во двор, глубокий и узкий, как колодец. Каморка, где вот уже сорок лет он проводил все свои дни, была такая темная, что даже в самый разгар лета в ней едва можно было обходиться без освещения только с одиннадцати до трех.

Там всегда было сумрачно, сыро и холодно, а со двора, тесного, как могила, в окно тянуло запахом плесени и вонью помойной ямы.

Сорок лет подряд г-н Лера приходил каждое утро к восьми часам в эту темницу; он просиживал в ней до семи часов вечера, согнувшись над бухгалтерскими книгами и работая с прилежанием усердного служащего.

Начал он с полутора тысяч франков в год, теперь зарабатывал три тысячи. Он остался холостяком, так как скудные средства не позволяли ему жениться. Не изведав на своем веку никаких радостей, он и не жаждал многого. Однако время от времени, утомленный однообразным и непрерывным трудом, он выражал платоническое желание: «Господи, если бы у меня было пять тысяч ливров дохода, ну и пожил бы я в свое удовольствие!»

Но ему так и не пришлось пожить в свое удовольствие, потому что у него никогда ничего не было, кроме месячного заработка.

Жизнь его прошла без всяких событий, без волнений и почти без надежд. Ограниченность его стремлений лишила его способности мечтать, свойственной каждому.

Двадцати одного года от роду он поступил в торговый дом Лабюз и К°. С тех пор он так и не менял места службы.

В 1856 году у него умер отец, затем в 1859 году — мать. И с тех пор никаких событий в жизни; только в 1868 году переезд на другую квартиру из-за того, что хозяин дома, где он жил, хотел повысить квартирную плату.

Каждый день ровно в шесть часов утра он вскакивал с постели при оглушительном звоне будильника, похожем на скрежет разматываемой цепи.

Впрочем, два раза часы портились — в 1866 и в 1874 годах, причем он так и не выяснил, отчего это произошло. Он одевался, убирал постель, подметал пол, вытирал пыль с кресла и с комода. На все это он тратил полтора часа.

Затем он выходил из дома, покупал подковку в булочной Лагюр, где на его памяти сменилось одиннадцать хозяев, а вывеска все оставалась прежней, и пускался в путь, на ходу закусывая булочкой.

Все его существование так и протекло в темной и тесной конторе, где даже обои ни разу не менялись. Он поступил туда молодым, на должность помощника г-на Брюмана, с надеждой когда-нибудь получить его место.

Он получил это место и больше ничего не ждал.

Весь урожай воспоминаний, который другие собирают в течение жизни,— неожиданные события, нежная или трагическая любовь, путешествия и приключения, случайности холостяцкой жизни,— все это было ему чуждо.

Дни, недели, месяцы, времена года, целые годы походили друг на друга. Каждый день в один и тот же час он вставал, выходил из дома, приходил в контору, завтракал, уходил, обедал и ложился спать, и ничто никогда не нарушало правильного однообразия тех же поступков, тех же событий, тех же мыслей.

Прежде он смотрел на свои белокурые усы и куд-

рявые волосы в маленькое круглое зеркало, которое оставил его предшественник. Теперь каждый вечер перед уходом он созерцал в том же зеркале свои седые усы и лысую голову.

Прошло сорок лет, долгих и быстрых, пустых, как день печали, и похожих друг на друга, как часы бессонной ночи. Сорок лет, от которых не осталось ничего, никакого воспоминания, даже горестного, с тех пор как умерли его родители.

Сегодня г-н Лера остановился в дверях, ослепленный блеском заходящего солнца, и, вместо того, чтобы идти домой, ему захотелось немного прогуляться перед обедом,— это случалось с ним четыре — пять раз в год.

Он вышел на бульвары, где под зазеленевшими деревьями струился людской поток. Был весенний вечер, один из первых теплых и ласковых вечеров, волнующих сердца жаждой жизни.

Г-н Лера шел подпрыгивающей стариковской походкой, он шел с веселым огоньком во взоре, счастливый общей радостью, и наслаждался теплотой, разлитой в воздухе.

Выйдя на Елисейские Поля, он продолжал шагать, и легкий ветерок приносил ему оживляющее веяние юности.

Все небо пылало, и темная масса Триумфальной арки выделялась на ярком фоне горизонта, как колосс, уцелевший среди пожара. Подойдя к гигантскому монументу, старый бухгалтер почувствовал, что проголодался, и зашел в закусочную пообедать.

За столиком, вынесенным на тротуар перед рестораном, ему подали баранью ножку, салат и спаржу, и г-н Лера пообедал так вкусно, как давно уже не позволял себе. Он запил сыр бри полубутылкой хорошего бордо, потом заказал чашку кофе, что с ним случалось редко, и напоследок рюмочку коньяка.

Расплатившись, он совсем развеселился, почувствовал себя очень бодрым и даже немного под хмельком. Он подумал: «Вот славный вечер! Пройдусь-ка я до Булонского леса. Это меня освежит».

И он пошел дальше. В голове его упрямо звучала песенка, которую когда-то пела его соседка:

Зазеленел лесок,
Мне говорит дружок:
«Красотка, выходи
Под сень листвы!»

Он напевал ее не переставая, начинал все снова и снова. Над Парижем спустилась ночь, ветерок стих, было тепло, как в оранжерее. Г-н Лера шел по аллее Булонского леса и следил за проезжавшими фиакрами. Они приближались один за другим, освещая дорогу блеском своих глаз-фонарей, и на мгновение можно было заметить обнявшуюся пару — женщину в светлом платье, мужчину в черном.

Это была бесконечная процессия влюбленных, двигавшаяся под жарким звездным небом. Появлялись все новые и новые пары. Они мелькали и мелькали, раскинувшись в экипажах, безмолвно прижавшись друг к другу, как в бреду, охваченные любовным волнением, трепетно ожидая близких объятий. В душной мгле, казалось, порхали и реяли поцелуи. Нежная истома пронизывала воздух и теснила грудь. Волны знойной страсти исходили от этих обнявшихся пар, от этих людей, опьяненных одним и тем же желанием, одной и той же мыслью. Все эти экипажи, таившие столько неги, как будто оставляли на своем пути тонкий и волнующий аромат.

Наконец г-н Лера, немного устав от ходьбы, сел на скамью и продолжал смотреть на эту вереницу фиакров с истомленными любовью парами. И почти сразу же к нему подошла женщина и села рядом.

— Здравствуй, дружок,— сказала она.

Он не ответил. Она продолжала:

— Давай, я приласкаю тебя, дорогой; я очень мила, вот увидишь!

Он произнес:

— Вы обознались, сударыня.

Она взяла его под руку.

— Ну полно, не дури, послушай...

Он встал и отошел, сердце его сжалось.

Но не сделал он и ста шагов, как к нему обратилась другая женщина:

— Не хотите ли посидеть со мной минутку, красавчик?

Он сказал ей:

— Зачем вы занимаетесь этим ремеслом?

Она встала перед ним и ответила изменившимся, хриплым и злым голосом:

— Черт возьми, конечно, не для своего удовольствия!

Он мягко настаивал:

— Тогда что же вас заставляет?

Она проворчала:

— Жить-то ведь нужно, вот какая штука!

И она отошла, напевая.

Г-ну Лера стало не по себе. Проходили другие женщины, звали, приглашали его.

Казалось, что-то мрачное, невыразимо печальное нависло над его головой.

Он снова сел на скамью. Перед ним по-прежнему мелькали экипажи.

«Лучше бы я не приходил сюда,— подумал он,— теперь не знаю, что со мной, я совсем расстроился».

И он стал думать обо всей этой любви, продажной или искренней, о всех этих поцелуях, купленных или страстных, которые он видел перед собой, как в калейдоскопе.

Любовь! Он совсем не знал ее. В жизни у него были две или три женщины — случайные, неожиданные встречи,— ведь при своих скудных средствах он не мог позволить себе никаких излишеств. И он думал о прожитой жизни, такой непохожей на жизнь остальных людей, такой мрачной, унылой, серой и пустой.

Есть люди, которым в самом деле не везет. И вдруг словно плотная завеса разорвалась перед ним: он увидел все убожество, все беспросветное убожество своей жизни, убожество прошлого, убожество настоящего, убожество будущего, годы старости, так похожие на годы юности, и понял, что ничего нет впереди, ничего позади, ничего вокруг, ничего в сердце, ничего нигде.

Экипажи все проезжали мимо. Перед ним по-прежнему появлялись и исчезали в открытых фиакрах безмолвно обнявшиеся пары. Ему казалось, что все человечество проносится мимо, опьяненное радостью, наслаждением, счастьем. А он один смотрел на это, совсем,

совсем один. И завтра он тоже будет одинок, будет одинок всегда, одинок, как никто на свете.

Он встал, сделал несколько шагов и вдруг почувствовал усталость, как будто только что прошел пешком долгий путь; он снова сел на следующую скамью.

Чего он ждал? На что надеялся? У него ничего не было впереди. Он подумал о том, как отрадно было бы в старости, вернувшись домой, увидеть лепечущих детишек. Хорошо стариться, когда ты окружен существами, обязанными тебе жизнью, которые тебя любят, ласкают, говорят тебе наивные и нежные словечки, согревающие сердце и утешающие во всех невзгодах.

Он вспомнил о своей пустой комнате, такой чистенькой и печальной, куда никогда никто не входил, кроме него, и отчаяние охватило его душу. Эта комнатка показалась ему еще более жалкой, чем его тесная контора.

Никто туда не приходил, никто в ней никогда не разговаривал. Она была мрачной, безмолвной, в ней не раздавались звуки человеческого голоса. Стены как будто воспринимают нечто от тех людей, которые в них живут, что-то от их походки, лица, речей. Дома, населенные счастливыми семьями, веселее, чем дома несчастных людей. Комната его была лишена воспоминаний, так же как и его жизнь. Мысль вернуться туда одному, лечь в постель, вновь проделать все то, что он делал каждый вечер, привела его в ужас. И как бы для того, чтобы уйти подальше от этого мрачного жилища, отдалить минуту возвращения домой, он встал и по первой же попавшейся аллее углубился в чащу и сел на траву.

Вокруг себя, над собой, повсюду он слышал неясный шум, беспредельный и непрерывный, состоящий из бесчисленных и разнообразных звуков, глухой, близкий и далекий шум, смутный и мощный трепет жизни, дыхание Парижа, биение пульса этого живого гиганта.

Солнце поднялось уже высоко и заливало Булонский лес потоками света. Появилось несколько экипажей; весело проскакали всадники.

По пустынной аллее медленно проходила пара. Вдруг молодая женщина, подняв глаза, заметила в ветвях что-то темное; удивленная, встревоженная, она подняла руку.

— Посмотрите... что это?

И, вскрикнув, без чувств упала на руки спутника, которому пришлось положить ее на землю.

Вскоре позвали сторожей, и они вынули из петли старика, повесившегося на своих подтяжках.

Было установлено, что он умер еще накануне вечером. Из документов, найденных при нем, выяснилось, что он служил бухгалтером в торговом доме Лабюз и К° и что фамилия его была Лера.

Смерть приписали самоубийству, причины которого так и остались невыясненными. Не было ли здесь внезапного приступа помешательства?

МАХМЕД-ПРОДУВНОЙ

— Кофе будем пить на крыше? — спросил капитан.

Я ответил:

— Да, конечно.

Он встал. В комнате было уже темно; свет проникал в нее из внутреннего дворика, как полагается в мавританских домах. Над высокими стрельчатыми окнами нависали лианы, спускавшиеся с плоской крыши, где обычно проводят душные летние вечера. На столе оставались только фрукты, огромные африканские фрукты: виноград величиною со сливу, спелые фиги с лиловой мякотью, желтые груши, продолговатые мясистые бананы и тугуртские финики в корзинке из альфы.

Слуга-туземец открыл дверь, и я поднялся по лестнице с лазоревыми стенами, освещенной сверху нежным сиянием угасающего дня.

И вскоре, очутившись на крыше, я блаженно вздохнул. Она возвышалась над Алжиром, над портом, над рейдом и над уходящим вдаль побережьем.

Дом, купленный капитаном, представлял собою старинную арабскую постройку и стоял в центре старого города, в лабиринте переулков, где копошится пестрое население африканского побережья.

Перед нами, внизу, квадратные плоские крыши спускались гигантскими ступенями к островерхим кровлям европейского города. Дальше виднелись мачты кораблей, стоявших на якоре, а еще дальше — море, открытое море, спокойное и голубое под голубым и спокойным небом

Мы растянулись на циновках, подложив под голову подушки; я пил маленькими глотками кофе, такое вкусное в этих краях, и глядел, как на потемневшей лазури зажигаются первые звезды. Они были едва заметны — далекие, бледные, еще не успевшие разгореться.

Какое-то крылатое легкое тепло ласкало кожу. По временам чувствовались другие, горячие и более тяжелые дуновения, приносившие неясный запах — запах Африки; они казались дыханием близкой пустыни, веявшим из-за вершин Атласа. Капитан лежал на спине и говорил:

— Что за страна, друг мой! Как здесь легко живется! Здесь как-то особенно отрадно отдыхать! Эти ночи словно созданы для грез!

А я лениво и в то же время с живым интересом разглядывал в блаженной полудремоте зажигающиеся звезды.

Я пробормотал:

— Рассказали бы вы мне какую-нибудь историю из вашей жизни в Африке.

Капитан Марре был одним из самых старых офицеров в африканской армии, бывшим спаги, проложившим себе дорогу в жизни собственной саблей.

Благодаря ему, его связям и его друзьям мне удалось совершить чудесное путешествие по пустыне; и в этот вечер я пришел поблагодарить его перед отъездом во Францию.

Он сказал:

— Какую же историю хотите вы послушать? За двенадцать лет жизни в песках со мной было столько приключений, что я уже ни одного из них не припомню.

Я продолжал:

— Расскажите об арабских женщинах.

Он ничего не ответил. Он лежал, вытянувшись во весь рост, положив голову на скрещенные руки; по временам до меня доносился запах его сигары, дым которой в эту безветренную ночь поднимался прямо к небу.

Вдруг он рассмеялся.

— Ага, вспомнил! Я расскажу вам забавную историю, она относится к самому началу моей алжирской жизни.

В то время у нас в африканской армии попадались

необычайные типы — таких сейчас не встретишь, таких больше нет,— типы, до того любопытные, что вы согласились бы застрять на всю жизнь в этой стране, лишь бы получше изучить их.

Я был простым спаги, маленьким двадцатилетним спаги, белокурым, хвастливым, ловким и сильным,— был, дорогой мой, настоящим алжирским солдатом. Меня назначили в гарнизон форта Богар. Вы теперь знаете Богар, его прозвали балконом юга; вы видели с вершины форта начало этой огненной страны, изглоданной, голой, выжженной, каменистой и красной. Это настоящее преддверие пустыни, раскаленная и грозная граница огромного царства безлюдных песков.

Так вот, нас было в Богаре человек сорок спаги, рота пехоты из новобранцев да эскадрон африканских стрелков. Однажды мы получили известие, что племя улед-бергхи убило английского путешественника, неведомо как пробравшегося в эту страну,— ведь в англичанах просто бес сидит.

Убийство европейца требовало возмездия, но наш командир, разумеется, не спешил отправлять отряд, полагая, по совести говоря, что какой-то англичанин не стоит таких хлопот.

Он как раз вел разговор об этом деле с капитаном и лейтенантом, когда явившийся для доклада вахмистр спаги вдруг заявил, что он готов совершить расправу над племенем, если ему дадут в помощь всего-навсего шесть человек.

Вы знаете, что на юге военные чувствуют себя гораздо свободнее, чем в городских гарнизонах, и между офицером и солдатом существуют особые, товарищеские отношения, которых вы нигде в другом месте не встретите.

Капитан расхохотался.

— И ты это сделаешь, молодец?

— Да, господин капитан, и если пожелаете, захвачу все племя и пригоню его к вам.

Комендант форта, большой чудак, поймал его на слове:

— Поезжай завтра же утром, возьми шесть человек по своему выбору, но если не исполнишь обещанного, берегись!

Вахмистр усмехнулся в усы:

— Не сомневайтесь, господин комендант. Пленники будут здесь самое позднее в среду около полудня.

Этот вахмистр, по прозванию Махмед-Продувной, был действительно человек необычайный,— турок, настоящий турок, поступивший на французскую службу после очень бурной и, конечно, довольно темной жизни. Он побывал во многих странах — Греции, Малой Азии, Египте, Палестине — и на своем веку совершил, наверно, немало преступлений. Это был настоящий башибузук, смелый, разгульный, жестокий и веселый, невозмутимо веселый, по-восточному. Он был толстый, очень толстый, но ловкий, как обезьяна, и замечательный наездник. Усы его, невероятно густые и длинные, вызывали у меня смутные представления о полумесяце и ятагане. Он дикой ненавистью ненавидел арабов, преследовал их с чудовищной жестокостью и коварством, непрерывно изобретал для них все новые ловушки и хитроумные, страшные козни.

К тому же он отличался невероятной силой и просто фантастической смелостью.

Комендант сказал ему:

— Выбирай людей, молодец.

Махмед взял меня. Храбрец мне доверял, и я предался ему телом и душой, так как эта честь доставила мне тогда не меньше радости, чем впоследствии крест Почетного легиона.

Итак, на следующее утро, с рассветом, мы двинулись в путь всемером, всего-навсего всемером. Мои товарищи принадлежали к числу тех бандитов, тех разбойников, которые, избороздив все существующие страны и всласть там пограбив, поступали наконец на службу в какой-нибудь иностранный легион. В те времена наша африканская армия кишела подобными негодяями, людьми без стыда, без совести, хотя они и были отличными солдатами.

Махмед роздал нам по десятку веревок, причем каждая была длиной около метра. Мне же, как самому младшему и самому легкому, дали еще вдобавок длиннейшую веревку в сто метров. Когда Махмеда спросили, для чего ему все эти веревки, он ответил, как всегда невозмутимо и загадочно:

— Будем удить рыбу по-арабски.

И хитро прищурил глаз,— манеру эту он перенял от старого стрелка-парижанина из африканского легиона.

Махмед ехал впереди отряда в красном тюрбане, который всегда носил в походе, и радостно ухмылялся в огромные усы.

Он был действительно великолепен, этот здоровенный турок, толстопузый, широкоплечий, как колосс, и невозмутимо спокойный. Под ним была невысокая, но сильная белая лошадь, и казалось, что всадник раз в десять больше своего коня.

Мы спускались в долину Шелиффа по узкой лощине, каменистой, голой, совершенно желтой, и толковали о своей экспедиции. Спутники мои говорили с акцентом, каждый на свой лад, потому что в отряде, кроме трех французов, было двое греков, испанец и американец. Что касается Махмеда-Продувного, то он картавил самым невероятным образом.

Солнце, ужасное солнце, южное солнце, о котором и понятия не имеют на противоположном берегу Средиземного моря, жгло нам плечи, и мы ехали шагом, как всегда ездят в этих странах.

За все утро мы не встретили ни одного дерева, ни одного араба.

В первом часу дня мы остановились у маленького источника, струившегося между камней, достали из походных сумок хлеб и вяленую баранину и после двадцатиминутного привала снова двинулись в путь.

Наконец к шести часам вечера, сделав по приказанию нашего начальника большой крюк, мы увидели за песчаным бугром арабское кочевье. Низкие коричневые шатры выделялись темными пятнами на желтой земле и казались большими грибами, выросшими в пустыне у подножия красного, обожженного солнцем пригорка.

Там были те, кого мы искали. Немного поодаль, на лужайке, поросшей темно-зеленой альфой, паслись привязанные лошади.

— В галоп! — приказал Махмед, и мы, как ураган, ворвались в середину становища. Обезумевшие женщины в белых развевающихся лохмотьях быстро

попрятались по своим холщовым норам, заползали в них, согнувшись, и вопили, словно загнанные звери. Мужчины, напротив, сбегались со всех сторон, собираясь защищаться.

Мы сразу направились к высокой палатке, принадлежащей аге.

Сабли из ножен мы не вынимали, по примеру Махмеда, скакавшего самым странным образом. Он сидел на своей маленькой лошадке совершенно неподвижно, она же рвалась, как бешеная, неся эту огромную тушу.

Спокойствие длинноусого всадника составляло забавный контраст с неистовством лошади.

При нашем приближении туземный вождь вышел из своей палатки. Это был высокий, худой, черный человек с блестящими глазами, выпуклым лбом и полукруглыми бровями.

Он крикнул по-арабски:

— Что вам нужно?

Махмед, круто осадив лошадь, спросил на том же языке:

— Это ты убил английского путешественника?

Ага произнес твердым голосом:

— Я не обязан отвечать на твои вопросы.

Вокруг нас словно бушевала буря. Со всех сторон сбегались арабы, окружали нас, теснили, галдели.

Горбоносые, с костлявыми, худыми лицами, все в широких одеждах, разлетавшихся от их жестикуляции, они напоминали разъяренных хищных птиц.

Махмед улыбался; тюрбан его съехал набок, глаза блестели, и я видел, как подергиваются от удовольствия его отвислые мясистые и морщинистые щеки.

Он закричал громовым голосом, покрывшим все крики:

— Смерть тому, кто причинил смерть!

И направил револьвер на смуглое лицо аги. Я увидел легкий дымок над стволом, и вдруг изо лба аги брызнул розовой пеной мозг, смешанный с кровью. Араб упал навзничь, раскинув руки, и широкие полы его бурнуса приподнялись, словно крылья.

Право, я был уверен, что пробил мой последний час,— такой страшный шум поднялся кругом.

Махмед обнажил саблю. Мы последовали его примеру. Быстро размахивая саблей и отбрасывая тех, кто сильнее всего напирал на него, он крикнул:

— Кто сдается, тому — жизнь! Остальным — смерть!

И, схватив своей геркулесовой дланью ближайшего араба, он перекинул его через седло, связал ему руки и прорычал:

— Делайте, как я, и рубите тех, кто будет сопротивляться!

В пять минут мы захватили около двадцати человек и крепко связали им руки. Затем пустились преследовать беглецов, так как при виде обнаженных сабель арабы бросились врассыпную. Привели еще человек тридцать.

По всей равнине виднелись убегавшие белые фигуры. Женщины тащили детей и визгливо кричали. Желтые собаки, похожие на шакалов, с лаем рыскали вокруг нас и скалили белые клыки.

Махмед, казалось, обезумел от радости. Он спрыгнул с седла и, схватив веревку, которую я привез, сказал:

— Внимание, ребята! Пусть двое спешатся.

И тогда он сделал нечто чудовищное и смешное: четки из пленников, или, вернее, четки из удавленников. Он крепко связал руки первого пленника, затем набросил затяжную петлю из той же веревки на его шею и ею же стянул руки следующего, а затем его горло. Вскоре все наши пятьдесят пленников были связаны таким образом; и, сделай кто-нибудь малейшую попытку к бегству, он и оба его соседа были бы задушены. От каждого движения петля затягивалась на шее, и пленным приходилось идти размеренным шагом, почти вплотную друг к другу, чтобы не упасть замертво, подобно зайцу, пойманному в силок.

Когда эта занятная операция была закончена, Махмед рассмеялся безмолвным смехом, от которого колыхался его живот, хотя изо рта не вырывалось ни звука.

— Арабская цепочка! — сказал он.

Мы и сами корчились от смеха, глядя на испуганные и жалкие физиономии пленников.

— Теперь, ребята,— крикнул нам начальник,— привяжите цепочку к кольям с двух концов.

Мы действительно вбили колья у обоих концов этой вереницы пленников, похожих на призраки в своих белых одеяниях, и они застыли в полной неподвижности, как будто окаменели.

— А теперь пообедаем,— произнес турок.

Развели костер, зажарили барана и поели, разрывая мясо руками. Потом угостились финиками, найденными в палатках, выпили молока, добытого тем же способом, и подобрали несколько серебряных безделушек, забытых беглецами.

Мы мирно кончали обед, когда я заметил на холме против нас какое-то странное сборище. Это были спасшиеся от нас женщины, одни лишь женщины. Они бежали по направлению к нам. Я указал на них Махмеду-Продувному.

Он улыбнулся.

— Это десерт! — сказал он.

Да, хорош десерт!

Они бежали, они мчались, как бешеные, и вскоре в нас градом полетели камни, которые они бросали на бегу; мы увидели, что они вооружены ножами, кольями от палаток и старой утварью.

Махмед скомандовал:

— На коней!

И как раз вовремя! Атака была отчаянной! Они явились освободить пленников и пытались перерезать веревку. Турок, поняв опасность, пришел в бешенство и заревел:

— Рубите! Рубите! Рубите!

Мы не двигались, смущенные такой необычной задачей, не решаясь убивать женщин, и тогда он сам бросился на это неистовое полчище.

Он в одиночку боролся с батальоном бабенок в лохмотьях, рубил их саблей, негодяй, рубил, как одержимый, с таким бешенством, с такой яростью, что при каждом взмахе на землю падала белая фигура.

Он был ужасен; обезумевшие от страха женщины убежали с такой же быстротой, как и явились, оставив на поле сражения с дюжину мертвых и раненых, светлые одежды которых запятнала красная кровь.

А Махмед подскакал к нам и с перекошенным лицом завопил:

— Бежим, бежим, ребята, они вернутся!

И мы отступили, уводя за собою медленно шагавших пленных, парализованных страхом удушья.

На следующее утро, ровно в двенадцать часов, мы явились в Богар с цепочкой удавленников. В дороге умерло только шесть человек. Но приходилось очень часто ослаблять петли, потому что веревка при каждом толчке сразу сдавливала горло целому десятку пленников.

Капитан умолк. Я ничего не ответил. Я думал об этой удивительной стране, где случаются такие вещи, и смотрел на россыпь бесчисленных звезд, сверкавших на черном небе.

СТОРОЖ

После обеда рассказывали приключения и случаи из охотничьей жизни.

Наш общий старый друг, г-н Бонифас, великий истребитель зверья и великий знаток вин, человек крепкий и веселый, здравомыслящий, умный и склонный к философии, к иронической и примиренной философии, любитель едких шуток и враг всего печального, вдруг сказал:

— Я знаю одну довольно своеобразную охотничью историю или, вернее, охотничью драму. Она нисколько не похожа на то, что обычно подразумевают под этим жанром, и я никогда ее не рассказывал, считая, что она никого не может позабавить.

Вы понимаете, она ничуть не привлекательна. Я хочу сказать, что в ней нет интересной интриги, которая захватывает, пленяет или щекочет нервы.

Словом, вот в чем дело.

Мне было тогда лет тридцать пять, и я страстно увлекался охотой.

В те времена у меня было в окрестностях Жюмьежа среди лесов уединенное владение с прекрасной заячьей и кроличьей охотой. Я приезжал туда только раз в год на четыре — пять дней и всегда один, потому что недостаток помещения не позволял мне привозить с собою друзей.

Я взял туда в сторожа одного отставного жандарма,

честного и вспыльчивого человека, строгого блюстителя порядка, грозу браконьеров и к тому же совершенно бесстрашного. Он жил совсем один вдалеке от деревни, в маленьком домике, или, вернее, лачуге, с кладовой и кухней в первом этаже и двумя комнатами в мансарде. Одна из них — каморка, где можно было поставить только кровать, шкаф и стул,— была предназначена для меня.

Вторую комнату занимал дядюшка Кавалье. Я не точно выразился, сказав, что он жил один в этом доме. Он приютил у себя племянника, четырнадцатилетнего шалопая, который ходил за провизией в деревню за три километра и помогал старику в его повседневных делах.

У этого худого, длинного, сутулого и белесого мальчишки волосы походили на куриный пух и были такие жиденькие, что он казался лысым. В довершение всего, у него были огромные ноги и гигантские руки, руки колосса.

Он слегка косил и никогда не смотрел людям в глаза. Среди человеческой породы он занимал, по-моему, то же место, что вонючие зверьки в животном мире. Да, этот мальчишка напоминал хорька или лисицу.

Он спал в какой-то дыре под узенькой лестницей, которая вела в обе комнаты.

Но во время моих кратких наездов в «Павильон» — я прозвал эту лачугу «Павильоном» — Мариус уступал свою конуру одной старухе из Экоршвиля, которую звали Селестой; она стряпала для меня, потому что обеды дядюшки Кавалье были не очень-то съедобны.

Итак, вам уже известны персонажи и место действия. А вот и сама история.

Дело происходило в 1854 году 15 октября; я запомнил эту дату и никогда ее не забуду.

Я выехал из Руана верхом; за мной бежала моя собака Бок, крупная лягавая из Пуату, с широкой грудью и сильной челюстью, она умела шнырять по кустам, как понтодемерская ищейка.

Дорожный мешок я подвязал за седлом, а ружье висело на ремне за спиной. День был холодный, резкий ветер наводил тоску, по небу мчались темные тучи.

Поднимаясь на холм в коммуне Кантелё, я посмотрел на широкую долину Сены, прорезанную до самого горизонта змеиными извивами реки. Слева Руан вздымал к небу свои колокольни, а справа вид замыкали далекие горы, поросшие лесом. Затем, пуская лошадь то шагом, то рысью, я пересек Румарский лес и часам к пяти добрался до «Павильона», где меня поджидали дядюшка Кавалье и Селеста.

Десять лет подряд в одну и ту же пору я приезжал сюда одной и той же дорогой, и одни и те же люди приветствовали меня одними и теми же словами:

— Добрый день, сударь. Как поживаете?

Кавалье совсем не изменился. Он противился разрушающему влиянию времени, как старый дуб. Но Селеста, особенно за последние четыре года, стала неузнаваема.

Она все еще была подвижна, но вся сгорбилась, согнулась в три погибели, и когда она стояла или шла, ее, казалось, так и клонит к земле.

Старуха любила меня, всегда казалась взволнованной при встрече со мной, а расставаясь, неизменно повторяла:

— Надо думать, сударь, уж последний раз видимся.

И от печального, тревожного прощания этой бедной служанки, от ее горькой готовности к неизбежной и несомненно близкой смерти у меня больно сжималось сердце.

Итак, я слез с лошади, пожал Кавалье руку, и, пока он отводил лошадь в маленькую пристройку, заменявшую конюшню, я вошел с Селестой в кухню, служившую также и столовой.

Вскоре к нам присоединился сторож. Я с первого взглядя заметил, что он не в своей тарелке, чем-то обеспокоен, озабочен, встревожен.

Я сказал ему:

— Ну, как, Кавалье? Все ли у вас в порядке?

Он пробормотал:

— Есть и хорошее, есть и дурное. А кое-что мне совсем не по вкусу.

Я спросил:

— В чем же дело, приятель? Расскажите.

Но он покачал головой:

— Нет, не сейчас, сударь. Не хочу расстраивать вас с самого приезда всякими неприятностями.

Я настаивал, однако он решительно отказался посвятить меня в свои горести до обеда. Но по его лицу я понял: дело серьезное.

Не зная, что сказать, я спросил:

— А как дичь? Найдем что-нибудь?

— Ну, дичи-то много. Поохотитесь вволю! Я, слава богу, гляжу в оба.

Он говорил с такой серьезностью, с такой отчаянной серьезностью, что это становилось смешным. Пышные седые усы моего сторожа обвисли и, казалось, вот-вот свалятся с губ.

Вдруг я вспомнил, что еще не видел его племянника.

— А Мариус? Где он? Почему не показывается?

Сторож весь передернулся и, взглянув мне прямо в глаза, сказал:

— Ну, сударь, лучше уж я вам все сразу выложу; да, так оно будет лучше; ведь это из-за него у меня так тяжело на сердце.

— А, вот оно что! Где же он?

— На конюшне, сударь, и я жду, когда ему можно будет вам показаться.

— Что ж он натворил?

— Да вот какое дело, сударь...

Но сторож все еще колебался, голос его изменился, дрожал, на лице внезапно появились глубокие старческие морщины.

Он медленно заговорил:

— Да, вот какое дело. Нынешней зимой я стал примечать, что на участке Розерэ кто-то ставит силки, но поймать никого не мог. Я сторожил там целые ночи, сударь, целые ночи напролет. Ничего! А тем временем появились силки и в стороне Экоршвиля. Я похудел с досады. А поймать вора никак не мог. Он как будто заранее знал, негодяй, куда я пойду и где буду.

Но вот однажды чистил я брюки Мариуса, его воскресные брюки, и нашел в кармане сорок су. Откуда мальчишке взять сорок су?

Я думал об этом целую неделю и тут заметил, что он все куда-то убегает, и убегал он, сударь, как раз в те часы, когда я возвращался домой отдохнуть.

Тогда я начал следить за ним, но сначала ничего еще не подозревал; да, ничего еще не подозревал. И вот однажды утром я нарочно при нем лег отдохнуть, но тотчас же встал и пошел за мальчишкой следом. Выслеживать, сударь, лучше меня никто не умеет.

И тут-то я его и накрыл, моего Мариуса: он расставлял силки на вашей земле, сударь. Подумайте! Мой родной племянник, а ведь я служу у вас сторожем!

Кровь бросилась мне в голову, и я так отлупил его, что едва не прикончил на месте. Да, нечего сказать, здорово я его отлупил! И обещал еще раз проучить на ваших глазах, для острастки.

Вот какие дела! Я даже похудел от горя. Сами понимаете, каково приходится от таких передряг. Но что прикажете делать? У парня нет ни отца, ни матери, всей родни-то я один, вот я и оставил его у себя,— не выгонять же мне было сироту. Правда?

Но только я ему сказал, что если он опять примется за такие проделки, то конец, конец, пусть не ждет от меня жалости. Вот. Правильно я поступил, сударь?

Я ответил, протягивая ему руку:

— Вы правильно поступили, Кавалье, вы честный человек!

Он встал.

— Спасибо, сударь. Теперь я схожу за ним. Нужно его наказать для острастки.

Я знал, что старика бесполезно отговаривать. Поэтому я предоставил ему действовать по своему усмотрению.

Он пошел за мальчишкой и приволок его за ухо.

Я сидел на соломенном стуле, напустив на себя суровость судьи.

Мариус с прошлого года вырос и стал еще уродливее, еще противнее и хитрее.

Его длинные руки были чудовищны.

Дядюшка подтолкнул племянника ко мне и скомандовал по-военному:

— Проси у хозяина прощения.

Парень не произнес ни слова.

Тогда отставной жандарм схватил его под мышки, приподнял и принялся сечь с таким остервенением, что я встал, чтобы остановить порку.

Теперь мальчишка выл:

— Простите!.. Простите!.. Простите!.. Больше не буду!..

Кавалье опустил его на пол и, навалившись ему на плечи, заставил стать на колени.

— Проси прощения! — сказал он.

Мальчишка, опустив глаза, пробормотал:

— Простите.

Тогда дядюшка поднял его и выпроводил такой здоровенной затрещиной, что Мариус снова чуть не полетел кувырком.

Он убежал, и больше я его в тот вечер не видел.

Но Кавалье казался совершенно убитым.

— Дурной у него нрав! — сказал он.

Во время обеда он все повторял:

— Ах, как это меня печалит, сударь, я и сказать не могу, как это меня печалит!

Мои попытки утешить его были напрасны.

Я лег спать спозаранку, чтобы на заре выйти на охоту.

Собака моя уже спала на полу возле моей кровати, когда я задул свечу.

Среди ночи меня разбудил бешеный лай Бока. И тотчас я увидел, что комната полна дыма. Я вскочил с постели, зажег свечу и, подбежав к двери, распахнул ее. Ворвался вихрь пламени. Дом горел.

Я быстро захлопнул толстую дубовую дверь и, натянув брюки, спустил сначала в окно на веревке, сделанной из скрученных простынь, собаку, затем выбросил во двор всю одежду, охотничью сумку, ружье и, наконец, вылез сам тем же способом.

Затем я принялся кричать во все горло:

— Кавалье! Кавалье! Кавалье!

Но сторож не просыпался. Старый жандарм спал крепким сном.

Между тем в окна было видно, что весь первый этаж обратился в раскаленное горнило; при этом я заметил, что помещение набили соломой, чтобы дать пищу пламени.

Итак, дом подожгли!

Я снова неистово закричал:

— Кавалье!

Тут мне пришло в голову, что он может задохнуться от дыма. И, словно по наитию, я зарядил ружье двумя патронами и выстрелил прямо в окно.

Все шесть стекол, выскочив из переплетов, разбились вдребезги, и осколки посыпались в комнату. На этот раз старик услыхал и в одной рубахе появился в окне, растерянный и до безумия испуганный отблесками пламени, ярко освещавшими весь двор.

Я крикнул ему:

— Дом горит! Прыгайте в окно! Скорей! Скорей!

Сквозь щели нижнего этажа внезапно вырвались языки пламени, они лизали стены, подбирались к старику, грозили отрезать ему путь. Он прыгнул и встал на ноги, как кошка.

Он прыгнул вовремя! Соломенная крыша вдруг провалилась посредине, как раз над лестницей, образовав отдушину для огня, бушевавшего в нижнем этаже; огромный красный сноп пламени поднялся в воздух, рассыпался брызгами, как струи фонтана; огненный дождь полил вокруг хижины.

Еще несколько мгновений — и весь дом охватило огнем.

Кавалье растерянно спросил:

— Где загорелось?

Я ответил:

— Подожгли кухню.

Он пробормотал:

— Кто же мог поджечь?

И внезапно я догадался:

— Мариус!

Старик все понял. Он пробормотал:

— Иисус-Мария! Так вот почему он не вернулся домой!

Но тут ужасная мысль промелькнула у меня в голове. Я воскликнул:

— А Селеста? Селеста?

Он ничего не ответил, и в ту же минуту дом рухнул у нас на глазах, превратившись в чудовищный костер, сверкающий, слепящий, кроваво-красный, в настоящее море огня; значит, несчастная женщина сгорела и сама

стала лишь языком пламени, пламенеющим куском человеческой плоти.

Мы даже не слышали ни единого крика.

Огонь уже подбирался к соседнему сараю, я вспомнил о своей лошади, и Кавалье побежал выпустить ее.

Едва он открыл дверь конюшни, как чье-то гибкое тело быстро проскользнуло у него между ног, и старик упал. То был Мариус, удиравший во все лопатки.

Сторож тут же вскочил. Он хотел было бежать вдогонку за негодяем; но, сообразив, что не поймает его, обезумев от непреодолимой ярости и поддавшись одному из тех бессознательных и внезапных порывов, которых нельзя ни предупредить, ни сдержать, схватил мое ружье, лежавшее поблизости на земле, и прицелился. Не успел я опомниться, как он уже выстрелил, даже не проверив, заряжено ли ружье.

Один из патронов, которыми я зарядил ружье, чтобы предупредить Кавалье о пожаре, остался неиспользованным, заряд попал беглецу прямо в спину, и Мариус свалился наземь, обливаясь кровью. Он принялся тут же скрести землю руками и ногами, словно хотел еще бежать на четвереньках, как смертельно раненный заяц от приближающегося охотника.

Я бросился к нему. Мальчик уже хрипел. Прежде чем потушили пожар, он умер, не вымолвив ни единого слова.

Кавалье, все еще в одной рубахе и босой, стоял около него точно в столбняке.

Пришли люди из деревни и увели моего сторожа; он, казалось, сошел с ума.

Меня вызвали на суд в качестве свидетеля, и я подробно, ничего не изменяя, рассказал, как все произошло. Кавалье был оправдан. Но он исчез в тот же день и навсегда покинул эту местность.

Я никогда больше его не встречал.

Вот, господа, моя охотничья история.

БЕРТА

Мой престарелый друг (иногда ведь дружишь с людьми гораздо старше тебя), мой престарелый друг доктор Бонне настойчиво приглашал меня погостить к себе в Рионм. Я совершенно не знал Оверни и в середине лета 1876 года решил съездить к нему.

Я приехал с утренним поездом, и доктор был первым человеком, которого я увидел на станции. На моем друге был серый костюм и круглая черная шляпа из мягкого фетра, с широкими полями и очень высокой тульей, которая суживалась кверху, наподобие каминной трубы,— настоящая шляпа овернского угольщика. В таком уборе и в светлом пиджачке, щуплый и большеголовый, доктор был похож на седоволосого юношу.

Он обнял меня с нескрываемой радостью, так провинциалы обычно встречают долгожданного гостя, затем широко повел рукой и с гордостью воскликнул:

— Вон вам и Овернь!

Я видел перед собой только горную цепь с вершинами в форме усеченных конусов,— очевидно, потухшие вулканы.

Потом, указывая на название станции, начертанное по фронтону вокзала, он произнес:

— Рионм, родина юристов, гордость судейского сословия, хотя, казалось бы, ему следовало быть родиной врачей.

Я спросил:

— Почему?

Он ответил со смехом:

— Почему? Переверните это слово и получите «mori» — то есть «умирать»... Вот почему, молодой человек, я обосновался в этой местности.

И, в восхищении от своей шутки, он увел меня, весело потирая руки.

Едва успел я выпить чашку кофе с молоком, как уже пришлось приняться за осмотр старого города. Я полюбовался домом аптекаря и другими знаменитыми риомскими домами с каменной резьбой на фасадах, почерневшими от времени, но прелестными, как безделушки. Я полюбовался статуей мадонны, покровительницы мясников, и даже выслушал по этому поводу рассказ об одном забавном приключении, который перескажу в другой раз; затем доктор Бонне сказал:

— Теперь разрешите мне отлучиться на пять минут, чтобы посетить одну больную, а после этого я поведу вас на холм Шательгийон, покажу вам перед завтраком общий вид города и всей цепи Пюи-де-Дом. Обождите меня на улице, я сейчас же вернусь.

Он покинул меня около одного из старых провинциальных особняков, темных, замкнутых, безмолвных и мрачных. Но этот дом показался мне особенно зловещим, и вскоре я понял причину этого. Все окна второго этажа были до половины закрыты глухими деревянными ставнями. Открытым оставили только самый верх окон, словно для того, чтобы люди, запертые в этом большом каменном сундуке, не могли смотреть на улицу.

Когда доктор вернулся, я поделился с ним своими наблюдениями. Он ответил:

— Вы не ошиблись: несчастное существо, которое оберегают в этом доме, не должно никогда видеть, что происходит за стенами дома. Это сумасшедшая, вернее, слабоумная, еще вернее, идиотка, или, как у вас в Нормандии говорят, тронутая.

Ах, это тяжелая история, но в то же время любопытнейший патологический случай. Хотите, я вам расскажу?

Я согласился. Он продолжал:

— Вот в чем дело. Лет двадцать тому назад у владельцев этого особняка, моих пациентов, родился ребе-

нок — девочка, с виду совершенно нормальная девочка.

Но вскоре я заметил, что, несмотря на отличное физическое развитие этого маленького существа, разум его не просыпается.

Ходить она начала очень рано, но совсем не могла говорить. Сначала я думал, что она глухая, впоследствии же убедился, что слышит она превосходно, но ничего не понимает. От резкого шума она вздрагивала, пугалась, но в причине его не отдавала себе отчета.

Она росла, становилась красавицей, хоть и немой, немой из-за своего слабоумия. Я испробовал все средства для того, чтобы хоть малейший луч сознания блеснул в ее мозгу,— все было тщетно. Мне казалось, что она узнает свою кормилицу, но когда девочку отняли от груди, она перестала ее узнавать. Она так и не научилась говорить слово «мама» — первое слово, которое лепечут дети, и последнее, которое шепчут солдаты, умирая на поле сражения. Иногда она что-то невнятно бормотала или пронзительно кричала, как младенец,— и только.

В хорошую погоду она непрерывно смеялась и испускала легкие крики, похожие на птичье щебетание; когда шел дождь, она плакала, стонала, выла мрачно и зловеще, как собака воет по покойнику.

Она любила валяться по траве, словно молодой зверек, бегала, как полоумная, а когда солнце утром заглядывало в комнату, всякий раз хлопала в ладоши. Когда открывали окно, она тоже хлопала в ладоши и прыгала на кровати, чтобы ее скорей одели.

Она, казалось, не видела никакого различия между людьми: свою мать не отличала от няньки, отца — от меня, кучера — от кухарки.

Я любил ее родителей, несчастнейших людей, и навещал их почти ежедневно. Я часто обедал у них и заметил, что Берта (ее назвали Бертой) как будто разбирается в блюдах и одни кушанья предпочитает другим.

Ей исполнилось тогда двенадцать лет. Физически она была развита, как восемнадцатилетняя, а ростом уже выше меня.

Мне пришла в голову мысль развить в ней любовь

к лакомствам и попытаться этим путем внедрить в ее мозг представление о различии вещей; приучить ее с помощью разнообразных вкусовых ощущений, целой гастрономической гаммы, если не к сознательным суждениям, то хоть к полуинстинктивному отбору, что уже явилось бы в некотором роде примитивной работой мысли.

После этого, вызывая в ней пристрастия к кушаньям и тщательно отбирая те из них, которыми можно было воспользоваться, следовало добиться чего-то вроде обратного воздействия тела на психику и тем самым постепенно расширить круг едва заметной деятельности ее мозга.

И вот однажды я поставил перед ней две тарелки: одну — с супом, другую — с очень сладким ванильным кремом. Я заставил ее поочередно попробовать оба кушанья. Затем предоставил ей свободу выбора. Она съела крем.

Вскоре я сделал ее лакомкой, такой лакомкой, что казалось, у нее в голове была только одна мысль, или, вернее, только одно желание — поесть. Она прекрасно различала блюда, тянулась к тем, которые ей нравились, и с жадностью завладевала ими. Она плакала, когда их у нее отнимали.

Тогда я решил приучить ее приходить в столовую по звонку колокольчика. Это далось не сразу, но в конце концов я своего добился. В ее смутном сознании, несомненно, возникло представление о какой-то зависимости между звуком и вкусом, о соотношении между ними, об их перекличке и в результате появилось нечто вроде ассоциации, если только можно назвать ассоциацией подсознательную связь двух восприятий.

Я продолжал опыт и научил ее — но с каким трудом! — узнавать время еды на циферблате часов.

Долгое время мне не удавалось привлечь внимание Берты к часовым стрелкам, но зато я сумел вызвать ее интерес к бою часов. Я достиг этого очень простым средством: отменил обеденный колокольчик, и все поднимались с мест, чтобы идти к столу, как только медный молоточек начинал отбивать полдень.

Но считать удары молоточка я никак не мог ее научить. Она бросалась к двери каждый раз, как слыша-

ла бой часов; однако мало-помалу она поняла, что не каждый звон имеет отношение к еде, и ее взгляд, руководимый слухом, начал часто задерживаться на циферблате.

Заметив это, я стал каждый день в полдень и в шесть часов, когда приближалась ожидаемая ею минута, указывать пальцем на цифру двенадцать и на цифру шесть; вскоре я заметил, что она внимательно следит за движением маленьких медных стрелок, которые я часто переводил у нее на глазах.

Итак, она поняла, точнее следовало бы сказать, она усвоила! Я сумел внедрить в ее мозг если не понимание, то хоть ощущение времени: ведь этого можно добиться и от карпов, если регулярно кормить их в одно и то же время, хотя у них и нет наглядного пособия в виде часов.

Когда я достиг этого результата, все часы в доме стали предметом ее исключительного интереса. Она с утра до вечера разглядывала их, прислушивалась к их бою, поджидала его. Однажды произошел даже забавный случай. В прелестных стенных часах в стиле Людовика XVI, повешенных у изголовья ее кровати, испортился бой, и она это заметила. Она не спускала глаз со стрелок, ожидая, когда же пробьет десять часов. Но вот стрелка миновала эту цифру, и Берта была поражена, что ничего не слышит, настолько поражена, что села на стул, явно обуреваемая той жестокой тревогой, какая охватывает нас перед лицом великих катастроф. Она решила посмотреть, что будет дальше, и с необыкновенным терпением просидела перед часами до одиннадцати. Конечно, она и на этот раз ничего не услышала; тогда, охваченная вдруг не то безумным гневом обманутого, обольщенного существа, не то ужасом перед страшной загадкой, не то, наконец, просто бешеным нетерпением страстного человека, натолкнувшегося на препятствие, она схватила каминные щипцы и с такой силой ударила по часам, что мгновенно разбила их вдребезги.

Итак, ее мозг работал, она соображала, правда, какими-то темными путями и в очень узких границах, потому что я так и не мог научить ее различать людей, подобно тому как она различала часы дня. Чтобы про-

будить в ней проблеск сознания, нужно было обращаться к ее страстям в физиологическом смысле этого слова.

Вскоре мы получили и другое подтверждение этого факта, увы, ужасное.

Она стала красавицей; это был в полном смысле слова образцовый экземпляр женской породы, какая-то дивная, но безмозглая Венера.

Ей исполнилось шестнадцать лет, и я редко видел такое совершенство форм, такую стройную фигуру, такие правильные черты. Я назвал ее Венерой; да, это была Венера, золотоволосая, полная, сильная, с большими глазами, светлыми и пустыми, синими, как цветок льна, с большим ртом и сочными губами; у нее был рот сластолюбицы, чувственной женщины, рот, созданный для поцелуев.

И вот однажды утром ее отец пришел ко мне; у него было какое-то странное выражение лица, и, даже не ответив на мое приветствие, он сказал, садясь на стул:

— Мне надо поговорить с вами об одном очень серьезном деле. Как вы думаете... можно ли... можно ли выдать Берту замуж?

Я подскочил от удивления и воскликнул:

— Берту? Замуж?.. Но это немыслимо!..

Он продолжал:

— Да... я знаю... но подумайте, доктор... а вдруг... Мы так надеемся... быть может... у нее будут дети... и это окажется для нее таким потрясением... таким счастьем... И, как знать, может быть, материнство пробудит в ней сознание?..

Я был крайне озадачен. Это было логично. Вполне вероятно, что такое новое для нее чувство, тот чудесный материнский инстинкт, который заложен в сердце каждой женщины и каждой самки, который заставляет курицу бросаться на собаку, чтобы защитить своих цыплят, мог произвести бурный переворот в ее спящем мозгу и пустить в ход бездействующий механизм ее мысли.

Я тотчас припомнил, кроме того, один пример из личных наблюдений. За несколько лет до того у меня была охотничья собака, такая тупая, что от нее ничего нельзя было добиться. Она ощенилась и на следующий

же день стала не то, чтобы умной, но во всяком случае такой же, как все не особенно смышленые собаки.

Едва только я представил себе такую возможность, как почувствовал, что во мне крепнет желание выдать Берту замуж не столько из расположения к ней и к ее несчастным родителям, сколько ради научных наблюдений. Что из этого выйдет? Любопытнейшая проблема!

Поэтому я ответил отцу:

— Может быть, вы и правы... отчего бы не попробовать?.. Попробуйте... но... но вы никогда не найдете человека, который согласится на такой брак.

Он произнес вполголоса:

— У меня есть для нее жених.

Я изумился и спросил, запинаясь:

— Порядочный человек?.. Человек вашего круга?..

Он ответил:

— Да, конечно.

— Ага! Но... разрешите узнать его имя?

— Я затем и пришел, чтобы посвятить вас во все и посоветоваться. Это господин Гастон дю Буа Люсель.

Я едва не вскрикнул: «Какой подлец!», но сдержался и, помолчав, произнес:

— Отлично. Я не вижу никаких препятствий.

Бедняга пожал мне руку.

— Через месяц мы выдадим ее замуж,— сказал он.

Г-н Гастон дю Буа Люсель был повеса из хорошей семьи; прокутив отцовское наследство и наделав долгов всякими неблаговидными способами, он изыскивал теперь какой-нибудь источник дохода.

И нашел его.

Красивый и представительный малый, но кутила, из отвратительной породы провинциальных кутил, он показался мне подходящим мужем для Берты: от него потом можно будет отделаться, назначив ему денежное содержание.

Он стал бывать в доме, ухаживал, паясничал перед этой красивой дурочкой, которая к тому же ему как будто нравилась. Он приносил цветы, целовал ей руки, садился у ее ног и смотрел на нее нежным взглядом; но

она не обращала внимания на его любезности и совершенно не отличала его от окружавших ее людей.

Состоялась свадьба.

Вы понимаете, конечно, как было возбуждено мое любопытство.

На следующий день я пошел посмотреть на Берту, чтобы по выражению ее лица выяснить, как отразилось на ней это событие. Но она осталась такой же, как и прежде,— всецело была поглощена часами и обедом. Он, напротив, казался влюбленным, старался развеселить и привлечь к себе жену, заигрывал с ней и поддразнивал ее, как котенка.

Ничего лучшего он придумать не мог.

Я часто стал наведываться к новобрачным и вскоре заметил, что молодая уже узнает мужа и бросает на него жадные взгляды, какими до сих пор удостаивала только сладкие блюда.

Она следила за его движениями, различала его шаги на лестнице и в соседних комнатах, хлопала в ладоши, когда он входил, и лицо ее преображалось, загораясь огнем глубокой радости и вожделения.

Она любила его всем телом и всей душой, всей своей несчастной, убогой душой, всем своим несчастным сердцем благодарного животного.

Это была поистине трогательная и наивная картина страсти, простой, плотской, но в то же время целомудренной страсти, которою сама природа наделила живые существа, пока человек не осложнил и не изуродовал ее всеми оттенками чувства.

Но мужу очень скоро наскучило это красивое, пылкое и бессловесное существо. Он стал проводить с нею лишь несколько часов в день, считая вполне достаточным, что отдает ей свои ночи.

И она узнала страдание.

С утра до ночи она ждала мужа, устремив взгляд на часы, перестала интересоваться даже едой, потому что он всегда обедал на стороне — в Клермоне, в Шатель-Гийон, в Руайя, где угодно, лишь бы не дома.

Она похудела.

У нее пропали все другие помыслы, все другие желания, все другие стремления, все другие смутные надежды; часы, проведенные без него, стали для нее ча-

сами жестоких пыток. Вскоре он перестал ночевать дома. Он проводил вечера с женщинами в казино Руайя и возвращался домой лишь на рассвете.

Она отказывалась ложиться в постель до его прихода. Она неподвижно сидела на стуле, не сводя пристального взгляда с маленьких медных стрелок, которые неуклонно, медленно и мерно двигались по фаянсовому кругу, размеченному цифрами.

Она издалека различала топот его лошади и сразу вскакивала, а когда он входил в комнату, жестом привидения указывала на часы, словно говорила: «Взгляни, как поздно!» Мало-помалу он начал бояться этой влюбленной и ревнивой идиотки и стал раздражаться, как все грубые натуры. Однажды вечером он ее ударил.

Послали за мной. Она билась и рычала в жестоком припадке отчаяния, гнева или страсти — как это узнаешь? Разве можно угадать, что происходит в таком первобытном мозгу?

Я успокоил ее уколами морфия и запретил допускать к ней этого человека, так как понял, что брак неизбежно приведет ее к гибели.

Тогда она сошла с ума! Да, дорогой мой, эта идиотка сошла с ума. Она непрерывно думает о нем и ждет его. Она ждет его весь день и всю ночь, когда бодрствует и когда спит, в эту минуту и всегда. Так как я видел, что она все худеет и худеет, что она не может оторвать взгляда от циферблата часов, я велел убрать из дому все, что напоминало ей о времени. Я лишил ее таким образом возможности считать часы и беспрерывно разыскивать в смутных воспоминаниях, когда же в былые дни он возвращался домой. Я надеюсь в конце концов убить в ней память и погасить слабый огонек сознания, который сам с таким трудом зажег.

На днях я произвел опыт. Я дал ей свои часы. Она взяла их, некоторое время рассматривала, а потом дико закричала, словно вид этого маленького механизма внезапно пробудил в ней уже заглохшее воспоминание.

Она теперь страшно худа, так худа, что внушает жалость, глаза ее впали и ярко блестят. И она все мечется по комнате, точно зверь в клетке.

Я велел загородить решетками окна, приделать высокие ставни и прибить все стулья к паркету, чтобы она не могла выглядывать на улицу, смотреть, не возвращается ли он домой.

О несчастные родители! Что за горькая жизнь у них!

Мы взобрались на холм; доктор обернулся ко мне и сказал:

— Посмотрите отсюда на Риом.

У города был угрюмый вид старинной крепости. За ним широко раскинулась зеленая лесистая равнина, усеянная деревнями и городками, подернутая легкой голубой дымкой, придававшей особое очарование пейзажу. Справа от меня вздымалась вдали высокая горная гряда с чередой вершин, то круглых, то словно срезанных ударом сабли наотмашь.

Доктор начал перечислять названия окрестностей и горных вершин, рассказывал их историю.

Но я его не слушал: я думал только о сумасшедшей, видел только ее. Она словно парила, как зловещий дух, над всем этим обширным краем.

И я внезапно спросил:

— А что сталось с ее мужем?

Мой друг слегка удивился, но после минутного колебания ответил:

— Он живет в Руайя, и ему выплачивают содержание. Он доволен и распутничает.

Когда мы неторопливым шагом возвращались домой, оба опечаленные и молчаливые, нас обогнала английская коляска, которую мчала галопом чистокровная лошадь.

Доктор схватил меня за руку:

— Вот он!

Я разглядел только серую фетровую шляпу, сдвинутую на ухо, и широкие плечи, промелькнувшие в облаке пыли.

СКАЗКИ ДНЯ И НОЧИ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, РАСКРЫТОЕ ДЯДЮШКОЙ БОНИФАСОМ

В тот день почтальон Бонифас, выходя из почтовой конторы, рассчитал, что обход будет короче обычного, и почувствовал от этого живейшую радость. Он обслуживал все деревни, расположенные вокруг местечка Вирвиль, и иной раз под вечер, возвращаясь широким усталым шагом домой, ощущал, что ноги его отмахали по меньшей мере сорок километров.

Итак, разноска писем кончится рано; он может даже не слишком торопиться и вернется домой часам к трем. Вот благодать!

Он вышел из села по сеннемарской дороге и приступил к делу. Стоял июнь, месяц зелени и цветов, настоящий месяц полей.

Почтальон в синей блузе и в черном кепи с красным кантом шел узкими тропинками по полям, засеянным рапсом, овсом и пшеницей, пропадая в хлебах по самые плечи; голова его, двигаясь над колосьями, словно плыла по спокойному зеленеющему морю, мягко волнуемому легким ветерком.

Он входил через деревянные ворота на фермы, осененные двумя рядами буков, величал крестьянина по имени: «Мое почтение, кум Шико» — и вручал ему номер «Пти Норман». Фермер вытирал руку о штаны, брал газету и совал ее в карман, чтобы почитать в свое удовольствие после полдника. Собака, выскочив из бочки у подножия накренившейся яблони, неистово лаяла и рвалась с цепи, а почтальон, не оборачиваясь,

опять пускался в путь, по-военному выбрасывая вперед длинные ноги, положив левую руку на сумку, а правой орудуя тростью, которая, как и он, двигалась размеренно и проворно.

Он разнес газеты и письма по деревушке Сеннемар, а потом снова пошел полями, чтобы доставить почту сборщику податей, жившему в уединенном домике на расстоянии километра от местечка.

Это был новый сборщик податей, г-н Шапати, молодожен, приехавший сюда на прошлой неделе.

Он получал парижскую газету, и почтальон Бонифас иногда, если было свободное время, заглядывал в нее, перед тем как сдать подписчику.

Он и теперь раскрыл сумку, взял газету, осторожно вынул ее из бандероли, развернул и стал на ходу читать. Первая страница его не интересовала; к политике он был равнодушен, он неизменно пропускал и финансовый отдел, зато происшествия страстно захватывали его.

В тот день они были многочисленны. Сообщение об убийстве, совершенном в сторожке какого-то лесника, настолько его взволновало, что он даже остановился посреди клеверного поля, чтобы не спеша перечесть заметку. Подробности были ужасны. Дровосек, проходя утром мимо сторожки, обнаружил на пороге капли крови — словно у кого-то шла носом кровь. «Лесник, верно, зарезал вчера кролика»,— подумал он; однако, подойдя ближе, он увидел, что дверь полуоткрыта, а запор взломан.

Тогда дровосек в испуге побежал на село, чтобы сообщить об этом мэру; тот взял на подмогу полевого сторожа и учителя, и они вчетвером направились к месту происшествия. Они нашли лесничего с перерезанным горлом возле очага, его жена, удавленная, лежала под кроватью, а их шестилетняя дочь была задушена между двух матрацев.

Почтальон Бонифас так разволновался при мысли об этом убийстве, ужасные подробности которого вставали в его воображении одно за другим, что почувствовал слабость в ногах и громко проговорил:

— Черт возьми! Бывают же на свете такие мерзавцы!

Он всунул газету в бандероль и двинулся дальше; в голове его все еще витали картины преступления. Вскоре он добрался до жилища г-на Шапати, открыл садовую калитку и подошел к дому. Это было низкое одноэтажное строение с мансардой. Метров на пятьсот вокруг не было никакого жилья.

Почтальон поднялся на крыльцо, взялся за ручку, попробовал отворить дверь, но убедился, что она заперта. Тогда он обратил внимание на то, что ставни закрыты — по всем признакам в этот день никто еще не выходил из дому.

Это его встревожило, потому что г-н Шапати, с тех пор как приехал, вставал довольно рано. Бонифас вынул часы. Было еще только десять минут восьмого, следовательно, он пришел на час раньше обычного. Все равно сборщик податей в это время обычно уже бывал на ногах.

Тогда дядюшка Бонифас, крадучись, обошел вокруг дома, словно чего-то опасаясь. Он не обнаружил ничего подозрительного, если не считать следов мужских ног на грядке клубники.

Но, проходя под одним из окон, он вдруг замер, оцепенев от ужаса. В доме раздавались стоны.

Он приблизился, перешагнул через бордюр из кустиков тимьяна и, вслушиваясь, прильнул ухом к ставню,— сомнений не было, в доме кто-то стонал. Почтальон ясно слышал протяжные страдальческие вздохи, какое-то хрипение, шум борьбы. Потом стоны стали громче, чаще, сделались еще явственней и перешли в крик.

Тут Бонифас, уже больше не сомневаясь, что в этот самый миг у сборщика податей совершается преступление, бросился со всех ног через палисадник и помчался напрямик по полям, по посевам; он долго бежал, задыхаясь, сумка тряслась и отбивала ему бока, но наконец он достиг дверей жандармского поста, совсем запыхавшись, обезумев и в полном изнеможении.

Бригадир Малотур, вооружившись молотком и гвоздями, занимался починкой сломанного стула. Жандарм Ротье держал поврежденный стул между колен и наставлял гвоздь на край излома, а бригадир, жуя

усы и выпучив влажные от напряжения глаза, изо всех сил колотил молотком и при этом попадал по пальцам своего подчиненного.

Едва завидев их, почтальон закричал:

— Скорей! Режут податного, скорей, скорей!

Жандармы бросили работу и, подняв головы, уставились на него с удивлением и досадой, как люди, которым помешали.

Бонифас, видя, что они скорее удивлены, чем испуганы, и ничуть не торопятся, повторил:

— Скорей, скорей! Грабители еще в доме, я слышал крики, идемте скорей!

Бригадир опустил молоток на землю и спросил:

— Как вы узнали о происшествии?

Почтальон ответил:

— Я принес два письма и газету, но увидел, что дверь заперта, и подумал, что податной еще не вставал. Чтобы удостовериться, я обошел вокруг дома и тут услышал стоны, словно кого-то душат или режут; тогда я со всех ног пустился за вами. Идемте скорей.

Бригадир спросил, вставая:

— А сами-то вы не могли помочь?

Почтальон растерянно ответил:

— Я боялся, что один не справлюсь.

Тогда бригадир, убежденный этим доводом, сказал:

— Дайте мне только надеть мундир, я вас догоню.

И он вошел в жандармскую вместе со своим подчиненным, который захватил с собою стул.

Они вернулись почти тотчас же, и все трое бегом пустились к месту преступления.

Подойдя к дому, они из предосторожности замедлили шаг, а бригадир вынул револьвер; потом они тихонько проникли в сад и подошли к стене. Не было никаких признаков, что преступники ушли. Двери по-прежнему были заперты, окна затворены.

— Не уйдут! — прошептал бригадир.

Дядюшка Бонифас, дрожа от волнения, повел их вокруг дома и указал на одно из окон.

— Вот здесь,— шепнул он.

Бригадир подошел к окну и приложился ухом к створке. Двое других впились в него взглядом и ждали, готовые ко всему.

Он долго не двигался, прислушиваясь. Чтобы плотнее прижаться головой к деревянному ставню, он снял треуголку и держал ее в правой руке.

Что он слышал? Его бесстрастное лицо ничего не выражало, но вдруг усы дернулись, щеки сморщились от беззвучного смеха, и, перешагнув через зеленый бордюр, он вернулся к своим спутникам, изумленно смотревшим на него.

Потом сделал знак, чтобы они следовали за ним на цыпочках, а проходя мимо крыльца, приказал Бонифасу подсунуть газету и письма под дверь.

Почтальон недоумевал, но покорно повиновался.

— А теперь в дорогу! — сказал бригадир.

Но едва они вышли за калитку, он обернулся к почтальону — причем глаза его весело щурились и блестели — и проговорил насмешливо, с лукавой улыбкой:

— Ну и озорник же вы, скажу я вам!

Старик спросил:

— Почему это? Я слышал, ей-богу, слышал!

Жандарм не мог уже больше выдержать и разразился хохотом. Он хохотал до слез, задыхаясь, схватившись за живот, согнувшись пополам, и уморительно морщил нос. Спутники смотрели на него в полной растерянности.

Но так как он не мог ни говорить, ни сдержать хохота, ни дать понять, что с ним творится, он сделал только жест — простонародный озорной жест.

Они все еще ничего не понимали; тогда бригадир повторил этот жест несколько раз подряд и кивнул на дом, по-прежнему запертый.

Тут солдат вдруг догадался, и его тоже охватило неистовое веселье.

Старик стоял перед полицейскими и в недоумении глядел, как они корчатся от смеха.

Бригадир в конце концов немного угомонился и, шутливо хлопнув старика по животу, воскликнул:

— Ну и забавник, ах, чертов забавник! До самой смерти не забуду, какое преступление раскрыл дядюшка Бонифас!

Почтальон таращил глаза и твердил:

— Ей-богу, я слышал!

Бригадира опять обуял смех. А солдат, чтобы

всласть нахохотаться, уселся на траву в придорожной канаве.

— Ах, ты слышал? А свою-то жену ты таким же манером режешь, старый проказник?

— Свою жену?..

Бонифас долго соображал, потом ответил:

— Моя жена... Она вопит, слов нет, когда я ей дам тумака... Да, тут уж она вопит как следует... Что же, значит, и господин Шапати свою колотил?

Тогда бригадир, вне себя от восторга, повернул его за плечи, как куклу, и шепнул на ухо что-то такое, от чего тот остолбенел.

Потом старик задумчиво пробормотал:

— Нет... не так... не так... не так... Моя и рта не разевает... Вот бы не подумал... Быть не может!.. Всякий поклялся бы, что ее режут...

И в смущении, посрамленный, сбитый с толку, он пошел своей дорогой, по полям; а бригадир с жандармом все еще смеялись и, выкрикивая ему вдогонку сальные казарменные шутки, смотрели, как удаляется его черное кепи над безмятежным морем хлебов.

РОЗА

Две молодые женщины словно погребены под цветочным покровом. Они одни в просторном ландо, которое наполнено букетами, как гигантская жардиньерка. На переднем сиденье две корзинки, обтянутые белым атласом, полны фиалками из Ниццы; на медвежьей шкуре, прикрывающей ноги женщин,— груды роз, флердоранжа, мимоз, левкоев, маргариток и тубероз, перевязанных шелковыми лентами. Цветы как бы готовы раздавить два хрупких тела; из этого ослепительного и душистого ложа выступают только плечи, руки и часть корсажей, из них один голубой, другой сиреневый.

Кнут кучера обвит анемонами, упряжь расцвела желтыми левкоями, спицы колес убраны резедой, а два огромных круглых букета, заменяющих фонари, кажутся диковинными глазами этого цветистого движущегося зверя.

Лошадь бежит крупной рысью, ландо катит по антибской дороге; ему предшествует, его преследует и сопровождает вереница других разукрашенных гирляндами экипажей, где женщины утопают в море фиалок. Это праздник цветов в Каннах.

Вот и бульвар Ла Фонсьер, где происходит бой цветов. Вдоль всей широкой аллеи взад и вперед, подобно бесконечной ленте, движется двойной ряд разукрашенных колясок. Из экипажа в экипаж перебрасываются цветами. Цветы пролетают в воздухе, как пули, ударяются о свежие лица, порхают и падают на пыль-

ную мостовую, где их подбирает целая армия мальчишек.

На тротуарах выстроились плотными рядами любопытные, шумливо, но спокойно наблюдая зрелище, а конные жандармы грубо наезжают, теснят эту пешую толпу словно для того, чтобы не дать черни смешаться с богачами.

Из коляски в коляску перекликаются, раскланиваются, обстреливают друг друга розами. Колесница с хорошенькими женщинами, наряженными в красное, как чертенята, привлекает восхищенные взоры. Какой-то господин, удивительно похожий на Генриха IV, с веселым задором бросает огромный букет, привязанный на резинке. Защищаясь от удара, женщины прикрывают рукой глаза, а мужчины наклоняют головы, но изящный и послушный снаряд, быстро описав кривую, возвращается к хозяину, который тотчас же кидает его в другую мишень.

Обе молодые женщины полными пригоршнями опустошают свой арсенал, и на них самих сыплется град букетов; наконец, после часа сражения, немного утомившись, они приказывают кучеру ехать по дороге вдоль моря к заливу Жуан.

Солнце исчезает за горной цепью Эстерель, на фоне огненного заката черным силуэтом вырисовываются ее зубчатые вершины. Спокойное море, голубое и ясное, сливается на далеком горизонте с небом; посреди залива стоит на якорях эскадра, словно стадо чудовищных животных, зверей Апокалипсиса, неподвижно застывших на воде, горбатых, покрытых панцирями, вздымающих мачты, легких, как перья, и сверкающих по ночам огненными глазами.

Молодые женщины, покоясь под тяжелым мехом, томно смотрели вокруг. Наконец одна из них сказала:

— Какие бывают чудесные вечера! И все тогда кажется прекрасным. Не правда ли, Марго?

Та ответила:

— Да, хорошо бывает. Но всегда чего-то недостает.

— Чего же? Я чувствую себя вполне счастливой. Мне ничего не нужно.

— Нужно. Но ты об этом не думаешь. В каком бы

блаженном покое ни пребывало наше тело, мы вечно хотим чего-то еще... для души.

Первая улыбнулась:

— Немного любви?

— Да.

Они умолкли, глядя куда-то вдаль; потом та, которую звали Маргаритой, прошептала:

— Без этого жизнь кажется мне несносной. Мне нужно, чтобы меня кто-то любил, ну, хотя бы собака. Впрочем, все мы, женщины, такие, что ни говори, Симона.

— Да нет же, дорогая. Лучше, чтоб меня никто не любил, чем любил первый встречный. Ты думаешь, мне было бы приятно сознавать, что в меня влюбился, ну, скажем... ну...

Окидывая взором обширный пейзаж, она перебирала в уме, кто бы мог в нее влюбиться. Наконец ее взгляд упал на две металлические пуговицы, сверкавшие на спине кучера, и она договорила, смеясь:

— ...мой кучер.

Г-жа Марго чуть улыбнулась и тихо произнесла:

— Уверяю тебя, очень забавно быть любимой простым слугою.

Это случалось со мною два — три раза. Они начинают так забавно таращить глаза, что можно умереть со смеху. Разумеется, чем больше они влюблены, тем строже с ними обращаешься, а потом, в один прекрасный день, под каким-нибудь предлогом выгоняешь их вон — ведь если кто-нибудь это заметит, окажешься в смешном положении.

Г-жа Симона слушала, устремив вдаль неподвижный взгляд, потом сказала:

— Нет, положительно сердце моего выездного лакея не удовлетворило бы меня. Но расскажи, как ты замечала, что они в тебя влюблены?

— Я замечала это у них так же, как и у других мужчин: они начинали глупеть.

— Мужчины вовсе не кажутся мне такими уж глупыми, когда влюблены в меня.

— Да нет, право, они становятся идиотами, дорогая; они лишаются способности говорить, отвечать, понимать что бы то ни было.

— Ну, а что ты сама ощущала, зная о любви лакея? Ты была... растрогана... польщена?

— Растрогана? Нет! Польщена? Да, немного. Любовь мужчины, кто бы он ни был, всегда льстит.

— Что ты, Марго!

— Конечно, дорогая. Да вот я расскажу тебе одно необыкновенное приключение, случившееся со мной. Ты увидишь, как любопытно и как сумбурно то, что происходит иногда в нашей душе.

Осенью будет четыре года с тех пор, как я однажды очутилась без горничной. Я нанимала для пробы пять—шесть, одну за другою, но все они не годились, и я уже прямо отчаялась подыскать себе что-нибудь подходящее, как вдруг прочла в газете объявление, что молодая девушка, умеющая шить, вышивать и причесывать, ищет место и может представить лучшие рекомендации. Вдобавок она говорила по-английски.

Я написала по указанному адресу, и на следующий день эта особа явилась. Она была довольно высокого роста, тонкая, немного бледная, очень застенчивая на вид. У нее были прекрасные черные глаза, прелестный цвет лица; она сразу же мне понравилась. Я спросила ее рекомендации; она подала мне письмо, написанное по-английски, по ее словам, она только что ушла от леди Римуэлл, у которой прослужила десять лет.

Рекомендация подтверждала, что девушка уволилась по собственному желанию, чтобы вернуться во Францию, и что за все время продолжительной службы ее можно было упрекнуть лишь в известной доле «французского кокетства».

Целомудренный оттенок английской фразы вызвал у меня легкую улыбку, и я тотчас же наняла горничную.

Она в тот же день поступила ко мне, ее звали Розой.

Месяц спустя я просто обожала ее.

Это была истинная находка, жемчужина, чудо природы.

Она умела причесывать с бесконечным вкусом, укладывала кружева на шляпке лучше самых искусных модисток, умела даже шить платья.

Я была поражена ее способностями. Никогда еще мне так не угождали.

Она одевала меня быстро, и руки ее были удивительно легкими. Я никогда не ощущала ее пальцев на своей коже, а ничто мне так не противно, как прикосновение рук горничной. Вскоре я страшно разленилась... так мне было приятно, что меня одевала с головы до ног, от рубашки до перчаток, эта робкая высокая девушка, которая вечно краснела и никогда не произносила ни слова. Когда я выходила из ванны, она растирала и массировала меня, а я тем временем дремала на диване. Право, в этой девушке из низшего общественного слоя я видела скорее подругу, чем простую служанку.

Но вот однажды утром швейцар таинственно попросил разрешения переговорить со мною. Я была удивлена, но велела его впустить. Это был очень надежный человек, старый солдат, бывший денщик моего мужа.

То, что он собирался сказать, казалось, смущало его. Наконец он проговорил, запинаясь:

— Сударыня, внизу дожидается полицейский комиссар.

Я резко спросила:

— Что ему надо?

— Он хочет произвести в доме обыск.

Полиция, конечно, полезна, но я ее ненавижу. Я считаю, что это неблагородное занятие. Меня это оскорбило, и я ответила сердито:

— Какой обыск? По какому случаю? Не пускать.

Швейцар возразил:

— Он говорит, что у нас скрывается преступник.

Тогда я испугалась и велела привести полицейского комиссара, чтобы лично объясниться с ним. Это был довольно воспитанный человек, с орденом Почетного легиона. Он извинился, попросил прощения, а потом подтвердил, что среди моих слуг есть каторжник!

Я была возмущена, я заявила, что ручаюсь за всю свою прислугу, и стала всех перечислять.

— Швейцар Пьер Куртен, бывший солдат.

— Не он.

— Кучер Франсуа Пенго, крестьянин из Шампани, сын фермера моего отца.

— Не он.

— Конюх, тоже из Шампани, тоже сын крестьянина, из семьи, известной мне лично, наконец, выездной лакей, которого вы только что видели.

— Не они.

— В таком случае, сударь, признайте, что вы ошиблись.

— Простите, сударыня, я уверен, что не ошибаюсь. Так как речь идет об опасном преступнике, не откажите в любезности вызвать сюда всю вашу прислугу.

Сначала я воспротивилась, потом уступила и велела созвать всех слуг, и мужчин и женщин.

Полицейский комиссар окинул их беглым взглядом, потом сказал:

— Здесь не все.

— Простите, сударь, остается только моя горничная, девушка, которую уж никак нельзя спутать с каторжником.

Он спросил:

— А могу я повидать ее?

— Разумеется.

Я позвонила, и Роза тотчас же явилась. Едва она вошла, как комиссар подал знак, и двое мужчин, которых я не видела,— они прятались за дверью,— накинулись на нее, схватили и связали ей руки веревкой.

Я вскрикнула от негодования и хотела броситься на ее защиту. Комиссар остановил меня:

— Сударыня, эта девушка — переодетый мужчина по имени Жан-Никола Лекапе, осужденный в 1879 году за изнасилование и убийство. Смертная казнь была ему заменена пожизненным тюремным заключением. Четыре месяца тому назад он бежал. С тех пор мы его разыскиваем.

Я была потрясена, обезумела. Я не верила. Комиссар продолжал, смеясь:

— Могу представить вам только одно доказательство: правая рука у него татуирована.

Засучили рукав. Так и оказалось. Полицейский позволил себе шутку довольно дурного тона:

— Что касается прочих доказательств, поверьте нам на слово.

И мою горничную увели!

Так вот, поверишь ли, во мне преобладал не гнев, что меня удалось провести, обмануть, поставить в смешное положение, не стыд, что меня одевал, раздевал, вертел во все стороны и касался мужчина, а чувство... глубокого унижения... унижения женщины. Понимаешь?

— Нет, не совсем.

— Ну как же... Подумай... Он, этот юноша, был осужден... за изнасилование... Так вот, я думала... о той, которую он изнасиловал... и это... это меня оскорбляло... Вот... Понимаешь теперь?

Но г-жа Симона не отвечала. Она смотрела прямо перед собой, вперив пристальный и странный взгляд на две блестящие пуговицы кучерской ливреи, и улыбалась той загадочной улыбкой, которая появляется иногда на лице женщины.

ОТЕЦ

Он квартировал в Батиньоле, а служил в министерстве народного просвещения и каждое утро добирался к себе в канцелярию в омнибусе. И каждое утро напротив него сидела молоденькая девушка, в которую он и влюбился.

Ежедневно в один и тот же час она ехала в магазин, в центре Парижа, где работала. Это была хорошенькая брюнетка, из тех брюнеток, у которых при матовой коже такие черные глаза, что кажется, это два темных пятна на бледном лице. Она всегда появлялась на том же самом углу и бежала за громоздким омнибусом, боясь опоздать. Она бежала торопливыми шажками, легкая и грациозная, и вскакивала на подножку еще до того, как лошади остановятся. Потом, слегка запыхавшаяся, входила в вагон, а усевшись, оглядывала окружающих.

Франсуа Тесье как только ее увидел, сразу почувствовал, что она безумно ему нравится. Бывает, что встретишь женщину и тебе неудержимо захочется сжать ее в объятиях, тут же, сейчас, хотя ты ее совсем не знаешь. Эта девушка отвечала его сокровенным желаниям, его затаенным помыслам, тому идеалу любви, который бессознательно лелеешь в глубине сердца.

Он не мог отвести от нее глаз. Ее смутил его взгляд, и она покраснела. Он это заметил и отвернулся, но каждую минуту снова взглядывал на нее, хотя и старался смотреть в сторону.

Через несколько дней они уже были знакомы, несмотря на то, что не перемолвились еще ни словом. Когда омнибус бывал переполнен, он уступал ей место и поднимался на империал, правда, с большим сожалением. Теперь она улыбалась ему при встрече, и хотя все еще опускала глаза, смущенная его слишком пылким взглядом, ей, казалось, уже было приятно, что на нее смотрят так упорно.

В конце концов они разговорились. Очень скоро между ними завязалась дружба, дружба на полчаса в день. И для него эти полчаса, несомненно, были самыми отрадными минутами в жизни. Весь день он думал о ней, она непрестанно всплывала у него перед глазами, пока он сидел за нудной канцелярской работой, его преследовал, томил, не давал ему покоя неуловимый, но неотступный образ, лицо любимой женщины. Ему казалось, что было бы безумным счастьем, почти недоступным человеку, если бы это хрупкое существо принадлежало ему.

Теперь каждое утро она здоровалась с ним за руку, и до вечера он хранил ощущение от ее пожатия, воспоминание о легком прикосновении ее пальчиков; ему казалось, будто оно запечатлелось у него на ладони.

Все остальное время он с трепетом ждал этой короткой поездки в омнибусе, а по воскресеньям томился целый день.

Ей он, верно, тоже нравился, и как-то раз, в субботу, она приняла его приглашение поехать на следующий день позавтракать в Мезон-Лафит.

На вокзал она пришла первой и ждала его. Он удивился, но она сказала:

— Раньше чем ехать, мне надо с вами поговорить. В нашем распоряжении двадцать минут: это более чем достаточно.

Она была бледна, не поднимала глаз и дрожала, опираясь на его руку. Она заговорила:

— Я не хочу, чтобы вы плохо обо мне думали. Я порядочная девушка и поеду с вами только, если вы мне обещаете, если вы мне поклянетесь ничего...

ничего не делать... такого... такого... что не полагается.

Она вдруг зарделась, как маков цвет. И замолчала. Он не знал, что ответить, и обрадованный и разочарованный. В глубине души он, пожалуй, был доволен; и все же... все же сегодня ночью ему не давали покоя мечты, от которых кровь закипала в жилах. Конечно, он не любил бы ее так, будь она девушкой легкого поведения, но зато сколько бы радости, сколько наслаждений это ему сулило! И его одолевали эгоистические мысли, свойственные мужчинам в любовных делах.

Он молчал. Тогда она снова заговорила взволнованным голосом, со слезами на глазах:

— Дайте слово, что отнесетесь ко мне с полным уважением, иначе я пойду домой.

Он нежно пожал ее локоть и ответил:

— Честное слово! Все будет, как вы хотите.

Она как будто успокоилась и спросила с улыбкой:

— Правда?

Он посмотрел ей в глаза.

— Клянусь вам!

— Берите билеты,— сказала она.

Дорогой они не могли разговаривать, так как вагон был переполнен.

По приезде в Мезон-Лафит они пошли к Сене.

От теплого воздуха душу и тело охватывала истома. Солнце ярко светило на реку, на листву, на лужайку, зажигало искорки веселья в сердце и в крови. Они шли по берегу, взявшись за руки, и смотрели на рыбешек, стайками скользивших в воде. Они шли, охваченные счастьем, словно неслись над землей в блаженном упоении.

Наконец она сказала:

— Вы, верно, считаете меня безумной?

Он спросил:

— Почему?

Она продолжала:

— Разве не безумие поехать сюда вдвоем с вами?

— Да нет же! Это вполне естественно.

— Нет, нет! Совсем не естественно! Для меня,— потому что я не хочу оступиться, а вот так-то и осту-

паются. Но если б вы только знали, как это грустно,— каждый день одно и то же, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Мы живем вдвоем с мамой. А она на своем веку видела много горя и разучилась радоваться. Я стараюсь не унывать. Смеюсь, когда могу, да не всегда выходит. Все равно нехорошо, что я поехала. Вы-то хоть не осуждайте меня.

Вместо ответа он быстро поцеловал ее в шею. Но она отстранилась резким движением и сразу рассердилась:

— О, господин Франсуа! Ведь вы мне поклялись!

И они возвратились в Мезон-Лафит.

Они позавтракали в «Тихой пристани», приземистом домике, приютившемся под сенью четырех огромных тополей на берегу реки.

От воздуха, жары и легкого белого вина они раскраснелись, их смущало то, что они вместе, и они чувствовали себя неловко и молчали.

Но после кофе на них внезапно напала веселость, и, переправившись на противоположный берег, они пошли вдоль Сены к деревне Ла Фретт.

Вдруг он спросил:

— Как вас зовут?

— Луиза.

Он повторил:

— Луиза.

И больше ничего не сказал.

Река, образовав большую излучину, подступала вдали к ряду белых домиков, отражавшихся в воде вверх ногами. Девушка рвала ромашки, набрала целый сноп полевых цветов, а он пел во все горло и резвился, как жеребенок, выпущенный на волю.

Слева от них вдоль реки тянулся косогор, засаженный виноградниками. Вдруг Франсуа остановился, остолбенев от изумления.

— О! — вырвалось у него.— Посмотрите!

Виноградники кончились, и теперь весь берег покрывали заросли цветущей сирени. Это был сплошной лиловый лес, громадный ковер, разостланный по земле, на два—три километра, вплоть до самой деревни.

Она остановилась, тоже пораженная, взволнованная. Она пролепетала:

— Ах, как красиво!

И они бегом пустились прямо по полю к этому чудесному холму, ежегодно снабжающему Париж сиренью, которую цветочницы развозят в тележках по всему городу.

Под кустами вилась узкая тропка. Они пошли по ней и, набредя на полянку, сели.

Над ними кружились рои мошек, наполняя воздух тонким непрерывным жужжанием. Солнце, яркое солнце, какое сияет в безветренные дни, заливало длинный цветущий склон, и сиреневая роща дышала — от нее шел одуряющий аромат, благоуханное дуновение.

Вдали в церкви звонил колокол.

И вот они потянулись друг к другу, потом обнялись, лежа в траве, позабыв обо всем на свете, кроме своих объятий. Она закрыла глаза и, обхватив его обеими руками, не помня себя, прильнула к нему без мысли, без памяти, вся истомленная страстным ожиданием. И она отдалась ему, не сознавая, что делает, даже не понимая, что отдается.

Она очнулась в смятении, какое бывает после непоправимого несчастья, и горько заплакала, судорожно всхлипывая, закрыв лицо руками.

Он пытался ее утешить. Но она хотела домой, скорее, сейчас же домой. Она быстро шла, непрестанно повторяя:

— Боже мой, боже мой!

Он говорил:

— Луиза! Луиза! Побудем здесь! Прошу вас!

Теперь щеки ее пылали, глаза ввалились. В Париже, как только они вышли из вагона, она убежала, даже не попрощавшись.

На следующий день, в омнибусе, она показалась ему изменившейся, похудевшей. Она промолвила:

— Я должна поговорить с вами; сойдемте на бульваре.

Как только они очутились вдвоем на улице, она сказала:

— Нам надо проститься. Я не могу видеться с вами после того, что случилось.

Он пробормотал:

— Но почему?

— Потому что не могу. Я виновата. Больше это не повторится.

Тогда он принялся просить, умолять, терзаясь страстью, обезумев от желания владеть ею целиком в полном слиянии любовных ночей.

Она упрямо повторяла:

— Нет, не могу. Нет, не хочу.

А он настаивал, возбуждаясь все больше. Он обещал жениться. Она опять повторила:

— Нет.

И ушла.

Неделю он ее не видел. Встретить ее ему не удавалось, адреса он не знал и потому считал, что она навсегда потеряна.

Через неделю, вечером, кто-то позвонил к нему. Он открыл дверь. Это была она. Она кинулась ему в объятия и больше не противилась.

Три месяца она была его любовницей. Он уже начинал тяготиться этой связью, и вдруг Луиза сказала ему, что она беременна. Тогда его стала преследовать одна мысль: порвать во что бы то ни стало.

Но у него ничего не выходило, он не знал, как за это взяться, не знал, что сказать, терялся от страха перед растущим в ней ребенком и поэтому принял крайнее решение: однажды ночью он съехал с квартиры и скрылся.

Удар был так жесток, что она не стала искать своего обидчика. Она бросилась на колени перед матерью и призналась в своем несчастье. Несколько месяцев спустя она родила мальчика.

Годы шли. Франсуа Тесье старился, и в жизни его ничто не менялось. Он влачил однообразное и беспросветное существование чиновника, которому не на что надеяться и нечего ждать. Изо дня в день он вставал в

тот же час, шел по тем же улицам, открывал ту же дверь, проходил мимо того же швейцара, поднимался в ту же канцелярию, садился на то же место и выполнял ту же работу. Он был одинок на свете, одинок днем, среди равнодушных товарищей, одинок ночью, в своей холостяцкой спальне. Он откладывал по сто франков в месяц на старость.

Каждое воскресенье он совершал прогулку по Елисейским Полям, чтобы полюбоваться блестящим обществом, собственными выездами и красивыми женщинами.

На следующий день он говорил сослуживцам, тянувшим с ним одну лямку:

— Вчера на Елисейских Полях публика была очень шикарная.

И вот как-то в воскресенье он случайно свернул на другую улицу и очутился в парке Монсо. Было ясное летнее утро. Няни и мамаши сидели в аллеях и присматривали за играющими детьми.

Вдруг Франсуа Тесье вздрогнул. Мимо прошла женщина, ведя за руку двух детей — мальчика лет десяти и девочку лет четырех. Это была она.

Он сделал еще несколько шагов, затем опустился на скамью, задыхаясь от волнения. Она его не узнала. Тогда он вернулся, чтобы посмотреть на нее еще раз. Теперь она расположилась на скамейке. Мальчик чинно сидел рядом, а девочка лепила пирожки из песка. Это была она, несомненно, она. У нее был солидный вид настоящей дамы, одета она была просто, держала себя уверенно и с достоинством.

Он смотрел на нее издали, не решаясь подойти. Мальчик поднял голову. Франсуа Тесье задрожал. Конечно, это был его сын. Он стал разглядывать мальчика, и ему почудилось, будто он узнает в нем себя, каким он сам был на давней фотографии.

И, притаившись за деревом, он выжидал, когда она встанет, чтобы пойти за ней следом.

Ночью он не сомкнул глаз. Особенно мучила его мысль о мальчике. Его сын! О, если бы только знать, если бы только быть уверенным! Но что бы он тогда предпринял?

Он видел ее дом, он навел справки. Узнал, что на

ней женился сосед, порядочный, серьезный человек, тронутый ее горем. Этот человек знал о ее падении, простил ей, даже усыновил ребенка, его ребенка.

Франсуа Тесье каждое воскресенье ходил теперь в парк Монсо. Каждое воскресенье он видел ее, и каждый раз им овладевало безумное, непреодолимое желание схватить сына в объятия, расцеловать, унести, похитить.

Он жестоко страдал от своего одиночества, от грустного одиночества холостяка, не знающего привязанностей; он терпел тяжкие муки, снедаемый отцовской нежностью, в которой было и раскаяние, и ревность, и зависть, и потребность любви к своему детенышу, вложенная природой в каждое живое существо.

Наконец он решился на отчаянный шаг и однажды, когда она входила в парк, подошел, загородил ей дорогу и, весь бледный, пролепетал дрожащими губами:

— Вы меня не узнаете?

Она подняла глаза, посмотрела, вскрикнула от испуга, от ужаса, схватила за руки детей и стремительно увела их прочь.

Он вернулся домой и наплакался вволю.

Прошло еще несколько месяцев. Больше он ее не встречал. Но он страдал денно и нощно, его томила, мучила отцовская нежность.

Он согласился бы умереть или убить, взвалить на себя любые тяготы, пойти на любой риск, пренебречь любой опасностью, только бы расцеловать сына.

Он написал ей. Она не ответила. Отослав двадцать писем он понял, что смягчить ее нет надежды. Тогда он принял отчаянное решение, готовый, если придется, подставить грудь под пулю. Он отправил ее мужу коротенькую записку.

«Милостивый государь!

Мое имя внушает вам, вероятно, отвращение. Но я так несчастен, так тоскую, вся моя надежда на вас.

Прошу вас уделить мне десять минут для разговора.

Имею честь» и т. д.

На следующий день он получил ответ:

«Милостивый государь!
Жду вас во вторник, в пять часов».

Поднимаясь по лестнице, Франсуа Тесье останавливался на каждой ступеньке, так у него стучало сердце. Оно стремительно колотилось в груди, словно там метался зверь, колотилось глухо, неистово. Он с трудом дышал и, чтобы не упасть, держался за перила.

На четвертом этаже он позвонил. Ему открыла служанка. Он спросил:

— Господин Фламель дома?

— Дома, пожалуйте.

И он вошел в прилично обставленную гостиную. Он остался один; он ожидал в смятении, как перед надвигающейся катастрофой.

Открылась дверь. Появился мужчина. Рослый, строгий, солидный, в черном сюртуке. Он указал на кресло.

Франсуа Тесье сел и заговорил прерывающимся голосом:

— Милостивый государь... Милостивый государь... Я не знаю, известно ли вам мое имя... Если вы знаете...

Г-н Фламель прервал его:

— Не беспокойтесь, сударь, я знаю. Жена рассказывала мне о вас.

Он старался говорить строгим тоном, как добряк, который хочет быть суровым, и держал себя с достоинством честного буржуа. Франсуа Тесье продолжал:

— Ну, так вот, сударь. Я изнемогаю от горя, от раскаяния, от стыда, и мне хотелось бы всего раз, всего один раз, поцеловать мальчика...

Г-н Фламель встал, подошел к камину, позвонил. Появилась служанка. Он сказал:

— Позовите Луи.

Она вышла. Они остались вдвоем и ждали молча,— им не о чем было говорить.

И вдруг в гостиную вбежал мальчик лет десяти и бросился к тому, кого считал отцом. Но при виде чужого остановился, сконфузившись.

Г-н Фламель поцеловал его в лоб, затем сказал:

— Теперь, дружок, поцелуй этого господина.

И мальчик посмотрел на чужого господина и послушно подошел к нему.

Франсуа Тесье встал. Он уронил цилиндр, чуть сам не упал. Он не спускал глаз с сына.

Г-н Фламель отвернулся из деликатности и стал смотреть в окно.

Мальчик ждал, ничего не понимая. Он поднял цилиндр и подал его гостю. Тогда Франсуа схватил ребенка в объятия и принялся целовать его, как безумный, покрывая поцелуями лицо, глаза, щеки, рот, волосы.

Мальчик, растерявшись от такого града поцелуев, старался уклониться, отворачивался, отстранял ручонками жадные губы незнакомого человека.

Но вдруг Франсуа Тесье поставил его на пол.

— Прощайте, прощайте! — крикнул он.

И убежал, как вор.

ПРИЗНАНИЕ

Полуденное солнце потоками льется на поля. Волнистые, раскинулись они меж купами деревьев, обступивших фермы; спелая рожь, желтеющая пшеница, светло-зеленый овес и темно-зеленый клевер одевают длинным полосатым покровом, струистым и мягким, нагое чрево земли.

На вершине бугра в ряд, как солдаты, вытянулись бесконечной вереницей коровы; лежа или стоя, они жуют жвачку и щиплют клевер на широком, как озеро, поле, прищурив под ярким солнцем огромные глаза.

Две женщины, мать с дочерью, вразвалку идут, одна за другой, по узкой, протоптанной в хлебах тропинке к этому стаду коров.

Обе несут по два цинковых ведра на обруче от бочки, держа их далеко от себя, и при каждом шаге женщин солнце, ударяя в металл, бросает слепящий белый отсвет.

Они не разговаривают. Они идут доить коров. Приходят, ставят наземь ведра, направляются к первым двум коровам и поднимают их пинком деревянного башмака в бок.

Коровы медленно встают, сначала на передние ноги, затем с трудом приподымают широкий зад, который кажется еще тяжелей от огромного белого, грузно свисающего вымени.

Тетка Маливуар и ее дочь, опустившись на колени под самым брюхом коров, тянут сильным движением пальцев набухший сосок, и всякий раз, как они его сжимают, в ведро падает тоненькая струйка молока. Чуть желтоватая пена поднимается по краям, и женщины переходят от коровы к корове, до конца их длинного ряда.

Подоив одну корову, они переводят ее на новый клочок пастбища, с не ощипанной еще травой.

Затем отправляются в обратный путь более медленным шагом, нагруженные ведрами, полными молока; мать впереди, дочь позади.

Но вдруг дочь, разом остановившись, поставила свою ношу, села и расплакалась.

Тетка Маливуар, не слыша за собой шагов, обернулась и от удивления застыла на месте.

— Что с тобой? — спросила она.

И дочь, Селеста, рослая, рыжая, с огненными волосами, с огненно-красными щеками, вся в веснушках, как будто огонь брызгами попал ей на лицо, когда она причесывалась однажды на солнышке, пролепетала, тихонько всхлипывая, как побитый ребенок:

— Невмоготу мне больше таскать молоко.

Подозрительно взглянув на нее, мать повторила:

— Да что с тобой?

Селеста повалилась на землю между ведрами и, закрывая лицо фартуком, ответила:

— Очень уж тянет. Невтерпеж!

Мать в третий раз спросила:

— Да что же с тобой, говори!

Дочь простонала:

— Боюсь, беременна я!

И зарыдала.

Тут и старуха поставила ведра, до того опешив, что не нашлась, что сказать. Наконец, запинаясь, она проговорила:

— Ты... ты... Ты беременна, мерзавка? Ты что, сдурела?

Маливуары были богатые фермеры, люди с большим достатком, степенные, уважаемые, хитрые и влиятельные.

Селеста пробормотала:

— Да нет, боюсь, что вправду.

Мать ошеломленно смотрела, как дочь лежит перед ней и плачет, и вдруг закричала:

— Так ты беременна? Ты беременна? Где ж ты это нагуляла, шлюха?

Селеста, вся вздрагивая от волнения, прошептала:

— Думается мне, в повозке у Полита.

Старуха старалась понять, угадать, узнать, наконец, кто же виновник такого несчастья. Если это парень богатый и у людей в почете, то, умеючи, можно все уладить, и тогда это еще полбеды: такие дела случаются с девушками, Селеста не первая и не последняя. Но все-таки неприятно: пройдет дурная слава, а ведь они у всех на виду. Она спросила:

— Кто ж это с тобой сделал, потаскуха?..

И Селеста, решившись все рассказать, шепотом произнесла:

— Да, наверно, Полит.

Тут тетка Маливуар в ярости бросилась на дочь и принялась колотить ее с таким остервенением, что потеряла с головы чепец. Она била ее кулаком по голове, по спине, куда попало, а Селеста, растянувшись во всю длину меж двумя ведрами, которые немножко ее защищали, прикрывала только лицо ладонями.

Коровы от удивления бросили щипать траву и, повернувшись, смотрели на них большими выпуклыми глазами. Крайняя замычала, вытянув морду по направлению к женщинам.

Тетка Маливуар устала бить, запыхалась и, приходя понемногу в себя, попыталась разобраться в том, что произошло:

— Полит! Матерь божья, да как же это приключилось? Как ты могла? С кучером дилижанса? Ты что, рехнулась? Не иначе, как он тебя приворожил, прощелыга!

Селеста, все еще уткнувшись лицом в пыль, тихонько сказала:

— Я не платила за проезд.

И старая нормандка все поняла.

Каждую неделю, по средам и субботам, Селеста возила в городок продукты с фермы: птицу, сливки и яйца.

Она отправлялась в семь утра с двумя большими корзинами: в одной — молочные продукты, в другой — птица; выходила на большую дорогу и дожидалась там почтовой кареты из Ивето.

Поставив корзины наземь, Селеста садилась на край канавы; куры с коротким острым клювом, утки с широким плоским носом, просунув головы сквозь ивовые прутья, таращили круглые, глупые и удивленные глаза.

Подкидывая задок в такт неровной рысце белой клячи, вскоре подъезжал неуклюжий рыдван, нечто вроде желтого сундука с покрышкой из черной кожи. И кучер Полит, веселый, здоровенный малый, с брюшком, хотя и молодой, до того опаленный солнцем, истеганный ветрами, вымоченный ливнями и покрасневший от водки, что лицо и шея стали у него кирпичного цвета, кричал еще издали, пощелкивая кнутом:

— Здравствуйте, мамзель Селеста! Как здоровье? Как живете?

Она протягивала ему одну за другой корзины, он ставил их на империал. Затем Селеста задирала ногу, чтобы вскарабкаться на высокую повозку, и показывала толстые икры, обтянутые синими чулками.

И всякий раз Полит отпускал одну и ту же шутку:

— Смотри-ка, они не похудели.

И Селеста смеялась, находя это забавным.

Затем раздавалось: «Но-о-о, Малютка!» — и тощая лошадь трогалась в путь.

Селеста, достав кошелек из глубокого кармана, медленно извлекала десять су — шесть за себя и четыре за корзины — и через плечо передавала их Политу. Тот брал их, говоря:

— Ну как, а забавляться-то еще не сегодня будем?

И он хохотал от всей души, повернувшись всем туловищем, чтоб удобнее было на нее смотреть.

Она с болью в сердце отдавала всякий раз полфранка за три километра пути. А когда у нее не случалось медяков, она страдала еще больше, никак не решаясь разменять серебряную монету.

И как-то раз, платя ему, она сказала:

— А ведь с меня, как я постоянно езжу, вам бы не надо брать больше шести су, а?

Он засмеялся:

— Шесть су, красавица? Нет, вы стоите дороже, право.

Она настаивала:

— Для вас это не составило б и двух франков в месяц.

Настегивая свою клячу, он закричал:

— Идет, я парень сговорчивый, я уступлю вам, а мне чтоб за это была забава.

Она простодушно спросила:

— Про что это вы говорите?

Его это так рассмешило, что он даже закашлялся от хохота.

— Забава, черт возьми, и есть забава. Ну, какая бывает забава у девки с парнем, когда они пляшут вдвоем, только без музыки.

Она поняла и, покраснев, заявила:

— Такая забава не по мне, господин Полит.

Но он не смутился и повторил, все больше и больше потешаясь:

— Не миновать вам этой забавы, какая бывает у девки с парнем.

И с той поры всякий раз, как она ему платила, он завел привычку спрашивать:

— Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?

Теперь и она тоже отвечала шуткой:

— Сегодня нет, господин Полит, а уж в субботу непременно.

И он кричал, смеясь, как всегда:

— Ладно, красавица, в субботу, значит.

Все же про себя она прикидывала, что за два года поездок с Политом она переплатила добрых сорок восемь франков, а в деревне сорок восемь франков на дороге не валяются; она подсчитала также, что еще через два года это встанет ей около ста франков.

И как-то раз, в весенний день, когда они ехали одни и он, по обыкновению, спросил ее: «Ну как, забавляться-то еще не сегодня будем?» — она ответила:

— Как вам будет угодно, господин Полит.

Он нисколько не удивился и, перешагнув через заднюю скамейку, довольный, пробормотал:

— Ну вот и хорошо. Я ведь знал, что так и будет.

Старая белая кобыла поплелась таким медленным шагом, что казалось, она топчется на месте, глухая к окрику, который время от времени доносился из повозки: «Но-о-о, Малютка! Но-о-о, Малютка!»

Три месяца спустя Селеста заметила, что она беременна.

Все это она плачущим голосом рассказала матери, и старуха, побелев от гнева, спросила:

— Сколько же ты выгадала?

Селеста ответила:

— За четыре месяца восемь франков наверняка.

Тут бешенство крестьянки прорвалось, она бросилась на дочь и опять начала ее так бить, что у самой дух занялся. Потом, придя немного в себя, спросила:

— Ты сказала ему, что беременна?

— Ясное дело, не сказала.

— Почему не сказала?

— Да он опять бы заставил меня платить.

Старуха задумалась, потом, взявшись за ведра, проговорила:

— Ну, ладно, вставай и постарайся дойти.

И, помолчав, добавила:

— Смотри, ничего ему не говори, пока сам не заметит, чтоб нам этим попользоваться до седьмого, а то и до девятого месяца.

Селеста поднялась, все еще плача, растрепанная, с распухшим лицом, и продолжала путь тяжелым шагом.

— Ясное дело, ничего не скажу,— буркнула она.

ОЖЕРЕЛЬЕ

Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые, словно по иронии судьбы, рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества, и она приняла предложение мелкого чиновника министерства народного образования.

Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы,— красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий ум и вкус— вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами.

Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все, чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучило ее и возмущало

Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, осве-

щенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые раздушенные гостиные, где в пять часов за чаем принимают близких друзей-мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых льстит каждой женщине.

Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!..» — она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, украшающих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса; мечтала об изысканных яствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика.

У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. А она только это и любила, она чувствовала, что для этого создана. Ей так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе, хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали.

Изредка она навещала богатую подругу, с которой они вместе воспитывались в монастыре, и каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния.

Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт.

— Вот возьми,— сказал он,— это тебе сюрприз.

Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано:

«Министр народного образования и г-жа Жорж Рампонно просят г-на и г-жу Луазель пожаловать на вечер в министерство, в понедельник 18 января».

Вместо того чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол.

— На что оно мне, скажи, пожалуйста?

— Как же так, дорогая, я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь, и это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех, мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Ты там увидишь все высшее чиновничество.

Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением:

— В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!

Ему это в голову не приходило; он пробормотал:

— Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее.

Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупные слезы медленно катились по ее щекам к уголкам рта. Он произнес, заикаясь:

— Что с тобой? Что?

Сделав над собой усилие, она подавила горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки:

— Ничего. Только у меня нет туалета, и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня.

В отчаянии он начал уговаривать ее:

— Послушай, Матильда. Сколько это будет стоить — приличное платье, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз, что-нибудь совсем простое?

Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез.

Наконец она ответила с запинкой:

— Точно не знаю, но, по-моему, четырехсот франков мне хватило бы.

Он слегка побледнел: как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить летом на

охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков.

Однако он ответил:

— Хорошо. Я тебе дам четыреста франков. Только постарайся, чтобы платье было нарядное.

Приближался день бала, а госпожа Луазель не находила себе места, грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей:

— Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная.

Она ответила:

— Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер.

Он возразил:

— Ты приколешь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две — три великолепные розы.

Она не сдавалась.

— Нет, не хочу... это такое унижение — выглядеть нищенкой среди богатых женщин.

Но тут муж нашелся:

— Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпоже Форестье, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка.

Она вскрикнула от радости:

— Верно! Я об этом не подумала.

На следующий день она отправилась к г-же Форестье и рассказала ей свое горе.

Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала г-же Луазель:

— Выбирай, дорогая.

Она видела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно. И все спрашивала:

— У тебя больше ничего нет?

— Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться.

Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо:

— Можешь ты мне дать вот это, только это?

— Ну, конечно, могу.

Г-жа Луазель бросилась на шею подруге, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем.

Настал день бала. Г-жа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил.

Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная, словно облаком счастья, всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца.

Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились.

Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха.

Луазель удержал ее:

— Да погоди же. Ты простудишься на улице. Я поищу фиакр.

Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль.

Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества.

Он привез их домой, на улицу Мартир, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам ему надо быть в министерстве.

Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелья не было у нее на шее.

Муж, уже полураздетый, спросил:

— Что с тобой такое?

— Со мной... у меня... у меня пропало ожерелье госпожи Форестье.

Он растерянно вскочил с места:

— Как!.. Что такое? Не может быть!

Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И ничего не нашли.

Он спросил:

— Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала?

— Да, я его трогала в вестибюле министерства.

— Но если б ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре.

— Да. Скорее всего. Ты запомнил номер?

— Нет. А ты тоже не посмотрела?

— Нет.

Они долго смотрели друг на друга, убитые горем. Потом Луазель оделся.

— Пойду, —сказал он,— проделаю весь путь, который мы прошли пешком, посмотрю, не найдется ли ожерелье.

И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая огня, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая.

Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел.

Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках — словом, всюду, куда его толкала надежда.

Она ждала весь день, все в том же отупении от страшного несчастья, которое над ними стряслось.

Луазель вернулся вечером, бледный, осунувшийся; ему не удалось ничего узнать.

— Напиши своей приятельнице,— сказал он,— что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться.

Она написала письмо под его диктовку.

К концу недели они потеряли всякую надежду, и Луазель, постаревший лет на пять, объявил:

— Надо возместить эту потерю.

На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах:

— Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня; я продал только футляр.

Тогда они стали ходить от ювелира к ювелиру, в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги.

В одном магазине Пале-Рояля они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь таким, какое они искали. Оно стоило сорок тысяч франков. Им его уступили за тридцать шесть тысяч.

Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение трех дней и поставили условием, что его примут обратно за тридцать четыре тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля.

У Луазеля было восемнадцать тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальные он решил занять.

И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на

себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода заимодавцами. Он закабалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться, и, подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективой материальных лишений и нравственных мук, он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок тридцать шесть тысяч.

Когда г-жа Луазель отнесла ожерелье г-же Форестье, та сказала ей недовольным тоном:

— Что же ты держала его так долго, оно могло понадобиться мне.

Она даже не раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, если бы заметила подмену?

Может быть, сочла бы ее за воровку?

Г-жа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг. И она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру — наняли мансарду под самой крышей.

Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти о жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки, полотенца и развешивала их на веревке; каждое утро выносила на улицу сор, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам — в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бранилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств.

Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку по третьим. Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда не спал ночей, переписывая рукописи по пяти су за страницу.

Такая жизнь продолжалась десять лет. Через десять лет они все выплатили, решительно все, даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Г-жа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плёчах, жестче, грубее, стала такою, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, в съехавшей на сторону юбке, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда, в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна.

Что было бы, если бы она не потеряла ожерелья? Кто знает? Кто знает? Как изменчива и капризна жизнь! Как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека.

Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Елисейским Полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Это была г-жа Форестье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная.

Г-жа Луазель взволновалась. Заговорить с ней? Ну конечно. Теперь, когда она выплатила долг, можно все рассказать. Почему бы нет.

Она подошла ближе.

— Здравствуй, Жанна.

— Но... сударыня... я не знаю... Вы, верно, ошиблись.

— Нет. Я Матильда Луазель.

Ее приятельница ахнула:

— Бедная моя Матильда, как ты изменилась!

— Да, мне пришлось пережить трудное время, с тех пор как мы с тобой расстались. Я много видела нужды... и все из-за тебя!

— Из-за меня? Каким образом?

— Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве?

— Помню. Ну и что же?

— Так вот, я его потеряла.

— Как! Ты же мне вернула его.

— Я вернула другое, точно такое же. И целых де-

сять лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось, у нас ничего не было. Теперь с этим покончено. И сказать нельзя, до чего я этому рада.

Г-жа Форестье остановилась как вкопанная.

— Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего?

— Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи.

И она улыбнулась торжествующе и простодушно.

Г-жа Форестье в волнении схватила ее за руки.

— О бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые! Они стоили самое большее пятьсот франков.

СЧАСТЬЕ

Настал час вечернего чая, скоро должны были внести лампы.

Вилла возвышалась над морем. После заката солнца небо было все розовое и как бы посыпанное золотой пыльцой, а Средиземное море, без единой морщинки, без малейшей ряби, гладкое и еще блестящее в свете умирающего дня, походило на полированную металлическую пластинку необъятной величины.

Вдали, справа, на побледневшем пурпуре заката вырисовывались черные очертания зубчатых гор.

Разговор шел о любви; эту старую тему обсуждали, повторяя вновь все то, что уже было сказано столько раз. Ласковая меланхолия сумерек придавала речи медлительность, вливала в сердца умиление, а слово «любовь», беспрестанно повторявшееся, произносимое то густым мужским голосом, то легкозвучным голосом женщин, казалось, заполняло всю гостиную, порхало в ней, как птичка, реяло, как бесплотный дух.

— Можно ли любить в течение многих лет?

— Да,— настаивали одни.

— Нет,— утверждали другие.

Присутствующие разбирали отдельные случаи, спорили, приводили примеры; и все, как мужчины, так и женщины, объятые волнующими воспоминаниями, о которых они не могли рассказать, но которые просились на язык, были явно растроганы и с глубоким трепетом, с жгучим интересом обсуждали эту обыденную и

величественную тему,— говорили о нежном и таинственном союзе двух существ.

Но вдруг один из собеседников, пристально вглядываясь вдаль, воскликнул:

— Посмотрите, что это там?

На поверхности моря, на самом горизонте, всплыла огромная и туманная серая масса.

Женщины поднялись с мест и в недоумении глядели на это изумительное, никогда ими не виданное явление.

Кто-то сказал:

— Это Корсика. Она видна отсюда два—три раза в год при исключительных атмосферных условиях, когда воздух совершенно прозрачен и нет мглистой дымки, обычно заслоняющей горизонт.

Там, вдали, смутно вырисовывались гребни гор, казалось даже, что можно разглядеть снег на их вершинах. Все замерли, пораженные, взволнованные, почти испуганные этим внезапным появлением целого мира, этим призраком, всплывшим над водою. Такие странные видения, быть может, являлись тем, кто отправлялся, подобно Колумбу, в далекие неисследованные моря.

Один пожилой господин, до тех пор молчавший, сказал:

— Взгляните, этот остров возник перед нами как живой ответ на то, о чем мы говорили, и пробудил во мне одно особенное воспоминание; я видел там прекрасный пример постоянной любви, любви до неправдоподобия счастливой.

Вот что я видел.

Пять лет тому назад я путешествовал по Корсике. Этот дикий остров менее известен и более далек от нас, чем Америка, хотя его и видно иногда с французских берегов, как, например, сегодня.

Представьте себе мир, еще находящийся в состоянии первобытного хаоса, буйное нагромождение гор, разделенных узкими ущельями, по которым несутся стремительные потоки; кругом ни единой равнины, только громадные гранитные валы и гигантские волно-

образные складки гор, покрытые маки́ или высокими каштановыми и сосновыми лесами. Это девственный, невозделанный, пустынный край, хотя изредка там и встречаются деревушки, напоминающие издали груды камней на вершине горы. Ни земледелия, ни промышленности, ни искусства. Здесь не встретишь ни кусочка резного дерева, ни обломка хотя бы самого грубого изваяния, ни малейшего следа, который говорил бы о ребяческом или утонченном пристрастии предков нынешних корсиканцев к изящным и красивым вещам. Больше всего поражает в столь прекрасной и суровой стране врожденное безразличие к тому исканию пленительных форм, которое зовется искусством.

Италия, где каждый дворец полон шедевров и сам по себе настоящий шедевр, где мрамор, дерево, бронза, железо, металлы и камни свидетельствуют о человеческом гении, где самые обиходные старинные предметы, валяющиеся в старых домах, говорят о божественном стремлении к изящному, Италия для всех нас — священная отчизна, которую мы любим, потому что она являет и доказывает нам величие, порыв, могущество и торжество человека-творца.

А рядом с нею дикая Корсика осталась такою, какой была в младенческие дни. Человек живет здесь в своей лачуге, равнодушный ко всему, что не касается его существования или семейных дрязг. Он сохранил все недостатки и достоинства некультурных племен: он резок, злобен, бессознательно кровожаден, но вместе с тем гостеприимен, благороден, самоотвержен, простодушен, готов открыть свои двери каждому прохожему и отплатить надежной дружбой за малейшее проявление сочувствия.

Итак, я в течение месяца бродил по этому величественному острову, и мне казалось, будто я нахожусь на краю света. Ни постоялых дворов, ни трактиров, ни дорог. По тропинкам, проторенным мулами, добираешься до деревушек, прилепившихся к высоким скалам над извилистыми ущельями, откуда по вечерам доносится беспрерывный шум — глухой и глубокий голос потока. Стучишься в дверь. Просишь приюта на ночь и пропитания до следующего дня. И садишься за скромный ужин, спишь под скромной кровлей, а утром пожи-

маешь руку хозяина, проводившего тебя до края деревни.

И вот однажды вечером, после десятичасовой ходьбы, я набрел на маленький домик, одиноко стоявший на дне тесной долины, которая одним лье дальше выводила к морю. Крутые склоны гор, покрытые маки, обломками скал и высокими деревьями, сжимали, как две мрачные стены, эту бесконечно печальную ложбину.

Вокруг хижины был садик и несколько виноградных лоз, поодаль росло несколько больших каштанов — словом, было чем жить; для такой нищей страны это уже целое богатство.

Меня встретила старая, суровая и, что редкость в тех краях, опрятная женщина. Сидевший на соломенном стуле мужчина встал, поклонился мне и опять сел, не вымолвив ни слова. Его подруга сказала мне:

— Не взыщите, пожалуйста, он оглох. Ему восемьдесят два года.

Она говорила на чистом французском языке. Меня это удивило.

Я спросил:

— Вы не корсиканка?

Она ответила:

— Нет, мы с материка. Но мы живем здесь уже пятьдесят лет.

Тоскливое и тревожное чувство охватило меня: пятьдесят лет прожить в этой мрачной дыре, так далеко от городов, от людей! Вошел старик-пастух, и все уселись за стол и стали есть густую похлебку из картошки, сала и капусты — единственное блюдо, из которого состоял ужин.

Когда кончилась краткая трапеза, я вышел посидеть у порога; я глядел на угрюмый ландшафт, и сердце мое сжималось от печали, томилось той тоской, что охватывает путешественников в иные грустные вечера, в иных безотрадных местах. Кажется, все близится к концу — и собственная жизнь и жизнь вселенной. Внезапно начинаешь постигать ужасающую горечь бытия, разобщенность всех людей, ничтожество всего земного и непроглядное одиночество сердца, которое убаюкивает и обманывает себя неустанно до самой смерти.

Старуха вышла ко мне и, подстрекаемая любопытством, которое таится даже в глубине безропотно смирившихся душ, спросила:

— Вы, значит, из Франции?

— Да, я путешествую удовольствия ради.

— Вы не из Парижа ли?

— Нет, я из Нанси.

— Вы из Нанси?

Мне показалось, что ее охватило глубокое волнение. Каким образом я заметил или, вернее, почувствовал это — не знаю.

Она медленно повторила:

— Вы из Нанси?

На пороге показался ее муж, безучастный к окружающему, как и все глухие.

Она молвила:

— Ничего! Он не слышит.

Потом, спустя несколько мгновений, продолжала:

— Значит, в Нанси у вас есть знакомые?

— Как же, я знаю почти весь город.

— А семью Сент-Аллез знаете?

— Еще бы, прекрасно знаю; это были друзья моего отца.

— Как ваша фамилия?

Я назвал себя. Она пристально посмотрела на меня, потом проговорила тихим голосом, как говорят, вспоминая о чем-нибудь.

— Да, да, помню. А что сталось с Бризмарами?

— Все умерли.

— Вот как! А Сирмоны? Вы их знали?

— Да, младший из них — генерал.

Тогда она произнесла, трепеща от волнения, от тоски, от какого-то смутного, мощного и священного чувства, от какой-то потребности признаться, высказать все, говорить о том, что до сих пор таилось в глубине ее сердца, и о людях, имя которых потрясло ее душу.

— Да, Анри де Сирмон. Как не знать! Это мой брат.

Я взглянул на нее, растерявшись от неожиданности.

И вдруг во мне пробудилось воспоминание.

В свое время это событие произвело страшный переполох в среде лотарингского дворянства. Миловидная, богатая девушка Сюзанна де Сирмон бежала с унтер-офицером, служившим в гусарском полку, которым командовал ее отец.

Солдат, обольстивший дочь своего полковника, был красивый малый, простой крестьянин, но голубой доломан сидел на нем очень ловко. Она, вероятно, увидала его, когда смотрела на дефилирующие эскадроны, отметила и полюбила. Но как ей удалось заговорить с ним, как они могли встретиться, объясниться? Как решилась она дать ему понять, что любит его? Этого никто так и не узнал.

Окружающие ничего не подозревали, ничего не видели. Отслужив свой срок, солдат однажды вечером исчез вместе с нею. Их разыскивали, но не нашли. Она ни разу не подала о себе вести, и ее считали умершей.

И вот я встретил ее здесь, в этой зловещей долине.

— Да, припоминаю,— сказал я.— Вы мадмуазель Сюзанна?

Она утвердительно кивнула головой. Слезы катились по ее щекам. Потом, взглянув на старика, который неподвижно сидел на пороге лачуги, она промолвила:

— Это он.

И я понял, что она по-прежнему любит его, что все еще очарована им.

Я спросил:

— Были ли вы счастливы по крайней мере?

Она ответила голосом, исходившим из глубины сердца:

— О да, очень счастлива! Он дал мне большое счастье. Я ни разу ни о чем не пожалела.

Я смотрел на нее, опечаленный, пораженный, восхищенный могуществом любви. Она, богатая девушка, последовала за этим человеком, за этим крестьянином. Она сама стала крестьянкой. Она приноровилась к жизни, лишенной изящества, роскоши, лишенной какой бы то ни было утонченности, она применилась к его простым привычкам. И она все еще любила его. Она стала женою простолюдина, ходила в чепце, в холщовой юбке. Сидя на соломенном стуле, за некрашеным столом,

она ела из глиняной миски картофельную похлебку, приправленную салом. Она спала рядом с ним на сеннике.

Она никогда не думала ни о чем, кроме него! Она не сожалела ни о роскоши, ни о драгоценностях, ни о шелках, ни о мягких креслах, ни о тепле надушенных комнат, обитых штофом, ни о ласке пуховых перин, в которые погружается усталое тело. Ей ничего не нужно было — только он; лишь бы он был подле нее, она ничего больше не желала.

Она отказалась от привычной жизни совсем еще юная, отказалась от света, от тех, кто ее любил, вырастил. Она ушла с ним одна в это глухое ущелье. И он был для нее всем — всем, чего желаешь, о чем грезишь, всем, чего беспрестанно ждешь, на что бесконечно надеешься. Всю свою жизнь с ним она была счастливейшей из женщин.

И всю ночь, прислушиваясь к хриплому дыханию старого солдата, лежавшего на своей убогой койке, возле той, которая последовала за ним так далеко, я думал об этой необыкновенной и простой любви, об этом счастье — таком полном и созданном из такой малости.

С восходом солнца я ушел, пожав на прощание руки старым супругам.

Рассказчик умолк. Одна из женщин сказала:

— Ну, у нее был уж слишком несложный идеал, слишком примитивные потребности и слишком простые желания. Так могла жить только дурочка.

Другая задумчиво проговорила:

— Что ж из этого? Она была счастлива!

А вдали, на самом горизонте, Корсика погружалась в ночь, медленно уходила обратно в море, постепенно стушевывалась ее огромная тень, возникшая словно для того, чтобы поведать историю двух скромных любовников, которых приютили ее берега.

СТАРИК

Нежаркое осеннее солнце освещало двор фермы сквозь высокие деревья ограды. Трава, ощипанная коровами, блестела от недавнего дождя, земля была пропитана влагой и, сочно хлюпая, расползалась под ногами; тяжелые ветви яблонь гнулись, роняя светло-зеленые яблоки в темную зелень травы.

Четыре телки, привязанные в ряд, паслись на лугу и время от времени мычали, повернувшись к дому; куры пестрой гурьбой копошились перед конюшней, разгребая навоз и кудахтая; два петуха пели без умолку и разыскивали червяков для своих кур, подзывая их убедительным клохтаньем.

Открылась деревянная калитка; появился крестьянин лет сорока, но сгорбленный и весь в морщинах, как шестидесятилетний; он шел медленно, большими шагами, тяжелыми от увесистых деревянных башмаков, набитых соломой. Длинные не по росту руки висели, как плети.

Как только он подошел к ферме, желтая шавка, привязанная к высокой старой груше, рядом с бочонком, заменявшим конуру, завиляла хвостом и радостно залаяла. Он прикрикнул:

— Молчать, Фино!

Собака умолкла.

Из дома вышла крестьянка. Шерстяная кофта плотно обтягивала ее ширококостную, плоскогрудую фигуру. Из-под серой короткой юбки, не доходившей до щиколоток, видны были ноги в синих чулках и деревянных

башмаках, тоже набитых соломой. Застиранный чепец прикрывал реденькие, гладко прилизанные волосы; на черном, худом, некрасивом лице с ввалившимся ртом застыло тупое и угрюмое выражение, какое часто видишь на крестьянских лицах.

Муж спросил:

— Ну, как он?

Жена ответила:

— Господин кюре сказал, что теперь уж конец, он и до утра не протянет.

Оба вошли в дом.

Пройдя через кухню, они очутились в комнате, низкой, мрачной, так как свет едва пробивался сквозь окно, занавешенное лоскутом нормандского ситца. Толстые балки, потемневшие от времени и копоти, пересекали потолок из конца в конец, поддерживая жиденький настил чердака, по которому и ночью и днем сновали стада крыс. Земляной шишковатый пол лоснился от сырости; в углу комнаты смутным пятном белела кровать. Там в потемках умирал старик, отец крестьянки; оттуда доносилось тяжелое дыхание, глухой равномерный хрип со свистом и захлебыванием, напоминающий шум испорченного насоса.

Муж и жена подошли к умирающему и уставились на него покорным, равнодушным взглядом.

Зять сказал:

— Ну, теперь кончено, ему и до утра не дотянуть.

Крестьянка ответила:

— С самого полдня он вот так хрипит.

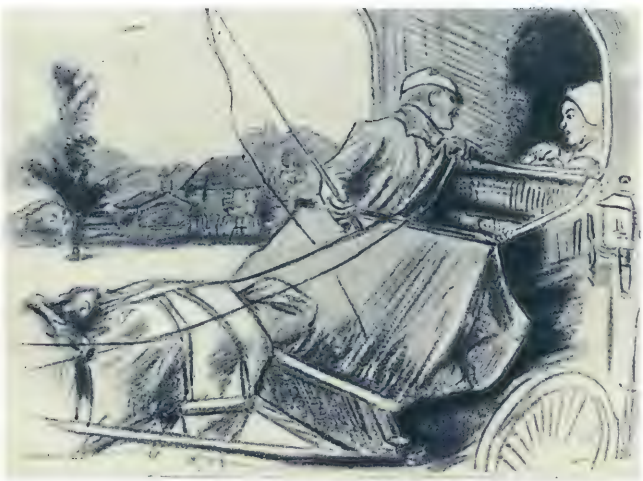
Они замолчали. Отец лежал с закрытыми глазами; землистое, иссохшее лицо казалось выточенным из дерева. Неровное дыхание с трудом вырывалось из полуоткрытого рта, простыня небеленого полотна приподнималась на груди от каждого вздоха.

После долгого молчания зять произнес:

— Придется ждать, пока не кончится. Ничего не поделаешь. Не знаю только, как теперь быть с сурепкой, погода стоит хорошая, надо бы завтра полоть.

Жену встревожила эта мысль. Подумав немного, она заметила:

— Если он нынче помрет, раньше субботы его хо-



Худ. Жаннио. 1903. «ПРИЗНАНИЕ».

Худ. В. Боккино. «СТАРИК».

ронить не станут,— значит, для сурепки у тебя весь завтрашний день.

Крестьянин долго раздумывал, потом сказал:

— Так-то оно так, а только завтра надо будет звать на похороны; меньше чем за шесть часов мне не управиться,— пока-то обойдешь всех от Турвиля до Мането.

Жена, подумав минуты две—три, ответила:

— А ты начни сегодня, обойди турвильскую сторону,— успеешь засветло, сейчас только начало третьего. Говори, что он уже помер, ведь ему и до вечера не прожить.

Муж колебался некоторое время, взвешивая все доводы за и против. Наконец решился.

— Ну что ж, пойду.

Он собрался уходить, потом вернулся и сказал, помявшись:

— Раз тебе нечего делать, натряси яблок, испечешь четыре дюжины пышек для тех, кого позовем на похороны. Надо же будет закусить. На топку возьмешь хворост, что лежит под навесом, возле давильни. Он сухой.

Из комнаты он прошел на кухню, открыл шкаф, достал шестифунтовую ковригу хлеба, осторожно отрезал ломоть, собрал в руку крошки и ссыпал их в рот, чтобы ничего не пропадало даром. Потом зацепил на кончик ножа чуть-чуть соленого масла из глиняного горшка, намазал его на хлеб и стал жевать так же неторопливо, как он делал все.

Он еще раз пересек двор, унял собаку, которая опять залаяла, вышел на дорогу, проходившую мимо фермы, и зашагал по направлению к Турвилю.

Оставшись одна, жена принялась за работу. Она открыла ларь с мукой и замесила тесто для пышек. Месила долго, переваливая с руки на руку, мяла, распластывала. Наконец, скатав большой желтовато-белый шар, положила его на край стола; потом она отправилась за яблоками и, чтобы не повредить веток шестом, залезла на яблоню, приставив к ней лесенку. Она рвала яблоки с разбором, снимая только самые спелые, и складывала их в передник. С дороги ее кто-то окликнул:

— Эй, тетушка Шико!

Она обернулась. Сосед, дядя Озим Фаве, деревенский мэр, ехал в поле на телеге с навозом, свесив ноги через ее край. Она обернулась и ответила:

— Что скажете, дядя Озим?

— Ну, как отец, жив еще?

Она крикнула:

— Да почитай что помер! Хоронить будем в субботу утром, в семь часов,— с сурепкой торопиться надо.

Сосед отозвался:

— Понятно. Всего вам хорошего. Будьте здоровы!

Она ответила так же вежливо:

— Спасибо, и вам того же.

И опять принялась рвать яблоки.

Вернувшись в дом, она прежде всего пошла взглянуть на отца, думая, что он уже умер. Но еще с порога она услышала его однотонный громкий хрип и, даже не подойдя к кровати, чтобы не терять даром времени, начала разделывать пышки.

Она завертывала каждое яблоко в тонкий слой теста и раскладывала их рядами на краю стола. Сделав сорок восемь пышек, по дюжине в каждом ряду, она вспомнила, что пора готовить ужин, и повесила над огнем котелок с картошкой; печку она решила сегодня не топить: на приготовления остается еще весь завтрашний день.

Муж вернулся к пяти часам. Едва переступив порог, он спросил:

— Кончился?

Она ответила:

— Нет еще, все хрипит.

Они пошли посмотреть. Старик был все в том же положении. Хриплое дыхание, размеренное, как ход часов, не стало ни быстрее, ни медленнее. Оно слышалось каждую секунду, и только тон слегка менялся, в зависимости от того, входил ли воздух в грудь или выходил из нее.

Зять посмотрел на него, потом сказал:

— Он кончится так, что мы и не заметим, угаснет, как свечка.

Оба ушли в кухню и, не разговаривая, сели за ужин. После супа съели по ломтику хлеба с маслом и, как

только была вымыта посуда, вернулись в комнату умирающего.

Жена взяла в руки маленькую лампочку с коптящим фитилем, поднесла ее к лицу старика. Если б не слышалось дыхания, можно было бы подумать, что он умер.

Супружеская кровать стояла на другом конце комнаты, в нише. Они легли, не обменявшись ни единым словом, погасили свет, закрыли глаза, и вскоре разноголосый храп, один густой, другой тоненький, присоединился к непрерывному хрипению умирающего.

Крысы все так же сновали по чердаку.

Муж проснулся, как только начало светать. Тесть был все еще жив. Шико растолкал жену, встревоженный упорством старика.

— Послушай, Феми, он все не помирает. Что теперь делать?

Он привык с ней советоваться.

Она ответила:

— До вечера он не доживет, это уж верно. Бояться нечего. И мэр, надо думать, разрешит хоронить завтра, ведь уж был такой случай, когда у дяди Ренара помер отец в самый сев.

Убежденный этим веским доводом, муж отправился в поле.

Жена испекла пышки, потом переделала всю работу по дому.

В полдень отец был еще жив. Поденщики, нанятые полоть сурепку, гурьбой пришли поглядеть на старика, который никак не мог помереть. Каждый высказался по этому поводу, и все опять ушли в поле.

В шесть часов, когда люди вернулись с работы, старик все еще дышал. Зять наконец взволновался:

— Что ж теперь делать, как ты думаешь, Феми?

Она ничего не могла придумать. Пошли к мэру. Он обещал, что сделает поблажку и разрешит хоронить старика на другой день. Доктор, к которому тоже ходили, согласился, из уважения к дядюшке Шико, пометить задним числом свидетельство о смерти. Муж и жена вернулись успокоенные.

Они легли и уснули, как накануне, и их звучный храп присоединился к слабеющему дыханию старика.

Когда они проснулись, он был все еще жив.

Тут они совсем растерялись. Они стояли у изголовья кровати, глядя на старика подозрительно, словно он собирался сыграть над ними скверную шутку, надуть их, досадить им ради собственного удовольствия, а больше всего их сердило то, что из-за него потеряно даром столько времени.

Зять спросил:

— Как же теперь быть?

Она тоже не знала, как поступить, и ответила:

— Вот беда какая, право!

Теперь уже нельзя было известить приглашенных, которые должны были прийти с минуты на минуту. Решили подождать их и объяснить, как это получилось.

Без десяти семь явились первые гости. Женщины в черном, покрытые большими платками, подходили с печальным видом. Мужчины чувствовали себя точно связанными в суконных куртках, но держались проще и шли попарно, толкуя о делах.

Дядя Шико с женой растерянно встречали их, убитые горем, и, подойдя к первой группе, вдруг начали оба плакаться. Они объясняли, что случилось, рассказывали о своем затруднительном положении, предлагали гостям стулья, хлопотали, извинялись, из кожи лезли, доказывая, что на их месте всякий бы так поступил, и говорили без умолку, не давая никому вставить слово.

Они переходили от одного гостя к другому.

— Мы и сами никак не думали, что он столько протянет. Просто не поверишь!

Гости, поняв, что церемония не состоится, озадаченные, разочарованные в своих ожиданиях, не знали, что им делать, и расселись, где пришлось. Некоторые собрались уже уходить. Но дядя Шико удержал их:

— Мы все-таки заморим червячка. Напекли пышек, так не пропадать же им.

Лица гостей просветлели при этих словах. Послышался негромкий говор. Двор понемногу заполнялся народом; прибывшие первыми сообщали новость остальным. Гости перешептывались. Узнав, что будут пышки, все оживились.

Женщины входили посмотреть на умирающего. Подойдя к постели, они крестились и, пробормотав молитву, уходили. Мужчины, менее падкие на такие зрелища, только заглядывали в окно, которое было теперь открыто.

Тетушка Шико объясняла:

— Вот уже два дня так, ни взад, ни вперед, ни хуже, ни лучше. Хрипит, будто насос без воды.

После того как поглядели на умирающего, пора было и закусить. Но кухня не могла вместить всех сразу, и потому стол вынесли во двор и поставили перед дверью. Четыре дюжины пышек, румяных и аппетитных, привлекали все взоры, покоясь на двух больших блюдах. Каждый торопился протянуть руку за пышкой, боясь, что на его долю не хватит. Однако четыре штуки даже остались.

Дядюшка Шико говорил с полным ртом:

— Если б он нас видел, папаша-то, вот бы расстроился. При жизни охотник был до пышек.

Толстый шутник-крестьянин отозвался:

— Ну, теперь уж он больше не попробует пышек. Каждому свой черед.

Это замечание ничуть не опечалило гостей, а, наоборот, развеселило. Теперь был их черед есть пышки.

Тетушка Шико, огорченная большими расходами, то и дело бегала в погреб за сидром. Кувшины быстро пустели. Все смеялись, говор стал громче, поднялся даже крик, как бывает на пирушках. Вдруг старуха-крестьянка, которая осталась около умирающего из жадного любопытства и страха перед тем, что вскоре предстояло ей самой, высунулась из окна и пронзительно закричала:

— Помер! Помер!

Все замолчали. Женщины быстро встали из-за стола и побежали смотреть.

И в самом деле, старик умер. Он перестал хрипеть. Мужчины переглядывались и опускали глаза, чувствуя себя неловко. Ведь еще и пышки не успели доесть. Вот уж нашел время, нечего сказать.

Супруги Шико больше не плакались. Все было кончено, и они успокоились. Они твердили:

— Мы так и знали, что это недолго протянется. А если бы он помер нынче ночью, никакого бы и беспокойства не было.

Ну да все равно, теперь кончено. Похоронят его в понедельник, вот и все, и опять будут есть пышки — ради такого случая.

Гости ушли, разговаривая о совершившемся событии, довольные тем, что присутствовали при нем и заморили червячка.

А когда муж с женой остались одни, с глазу на глаз, жена сказала, озабоченно морща лоб:

— Опять придется печь четыре дюжины пышек! Не мог уж помереть нынче ночью!

Муж, покорный судьбе, ответил:

— Ну что ж, ведь это не каждый день бывает.

ТРУС

В свете его называли «красавец Синьоль». Его имя было виконт Гонтран-Жозеф де Синьоль.

Сирота и полный хозяин значительного состояния, он, как говорится, был на виду. У него была хорошая фигура, красивые манеры, умение вести разговор, вполне достаточное, чтобы прослыть умным человеком, какое-то врожденное изящество, благородная и гордая осанка, дерзкие усы и нежный взгляд — словом, все, что нравится женщинам.

Его охотно принимали в гостиных, дамы любили вальсировать с ним, а мужчины встречали его любезной улыбкой, скрывавшей враждебность, какую обычно вызывают люди энергической внешности. Ему приписывали несколько любовных связей, способных создать холостяку прекрасную репутацию. Он жил счастливо, спокойно, в состоянии полнейшего душевного равновесия. Все знали, что он хорошо владеет шпагой и еще лучше — пистолетом.

— Если мне когда-нибудь придется драться на дуэли,— говорил он порой,— я выберу пистолет. Из пистолета я непременно убью своего противника, я в этом уверен.

И вот, как-то вечером, в театре, после спектакля, на котором он был в обществе двух дам, своих приятельниц, а также их мужей, он предложил им зайти поесть мороженого к Тортони. Через несколько минут после того, как они вошли в кафе, он заметил, что какой-то господин, сидевший за соседним столиком, упорно рассматривает одну из его спутниц. Это, видимо, сму-

щало ее, тревожило, она сидела с опущенной головой и, наконец, сказала мужу:

— Вон тот человек все время смотрит на меня. Я его не знаю. Может быть, ты знаешь?

Муж, который до сих пор ничего не замечал, взглянул и заявил:

— Нет, совершенно не знаю.

Полуулыбаясь, полусердито молодая женщина воскликнула:

— Какая досада! Этот субъект портит мне аппетит, мороженое, и то кажется мне невкусным.

Муж пожал плечами.

— Полно! Не обращай внимания. Если думать о каждом встречном нахале, этому конца не будет.

Но виконт быстро поднялся с места. Он не мог допустить, чтобы какой-то посторонний человек портил вкус мороженого, которым угощал он. Его друзья зашли в это кафе из-за него и ради него, и, следовательно, оскорбление относилось к нему лично. Итак, дело касалось его одного.

Он подошел к сидевшему за соседним столиком мужчине и сказал ему:

— Милостивый государь, вашу манеру смотреть на этих дам я считаю недопустимой. Не угодно ли вам положить конец этой назойливости.

Тот ответил:

— Знаете что, убирайтесь к черту!

Стиснув зубы, виконт заявил:

— Берегитесь, сударь. Вы заставите меня перейти границы.

Господин ответил одним лишь словом, циничным словом, которое отдалось во всех концах кафе и произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Сидевшие спиной сразу обернулись, остальные подняли голову; три лакея круто повернулись, как волчки; обе буфетчицы за стойкой вздрогнули и наклонились вперед всем туловищем, словно два автомата, приведенные в действие одним и тем же механизмом.

Наступила полная тишина. И вдруг резкий звук прорезал воздух: виконт дал пощечину обидчику. Все вскочили с мест, чтобы разнять их. Мужчины обменялись визитными карточками.

Вернувшись домой, виконт несколько минут широким быстрым шагом ходил взад и вперед по комнате. Он был так возбужден, что не мог ни о чем рассуждать. Одна лишь мысль — «дуэль» — носилась в его уме, но эта мысль еще не пробуждала в нем какого-либо определенного чувства. Он сделал то, что должен был сделать; он выказал себя таким, каким следует быть. Об этом заговорят, его будут одобрять, хвалить. Он несколько раз сказал вслух, как обычно говорят наедине с самим собой в минуты сильного душевного потрясения:

— Какая скотина этот субъект!

Затем он сел и начал рассуждать. Завтра, с утра, надо будет заняться поисками секундантов. К кому обратиться? Он стал перебирать в памяти своих знакомых, наиболее солидных и пользующихся наибольшим весом в обществе. Наконец он остановился на маркизе де Ла Тур-Нуар и на полковнике Бурдене. Дворянин и солдат — это отлично. Их имена в газетах произведут впечатление. Ему захотелось пить, и он выпил подряд три стакана воды, затем снова начал шагать по комнате. Он был полон энергии. Надо выказать себя отчаянно-смелым, готовым на все, поставить суровые, опасные условия, потребовать серьезной, вполне серьезной, страшной дуэли, и тогда противник пойдет на попятный, принесет извинения.

Войдя в комнату, он вынул из кармана и бросил на стол визитную карточку, теперь он взял ее и вновь прочел, хотя уже читал в кафе и перечитывал в фиакре при свете каждого газового фонаря:

«Жорж Ламиль. Улица Монсей, 51».

И только.

Он вглядывался в это сочетание букв, и оно казалось ему таинственным, полным какого-то неясного смысла: Жорж Ламиль! Что это за человек? Чем он занимается? Почему он так пристально разглядывал эту даму? Нет, это просто возмутительно, что какой-то чужой, совершенно незнакомый человек является вдруг и переворачивает всю нашу жизнь, только потому, что ему вздумалось дерзко взглянуть на женщину. И виконт еще раз произнес вслух:

— Какая скотина!

Он долго стоял неподвижно и думал, не отрывая взгляда от визитной карточки. Гнев пробуждался в нем против этого кусочка картона, гнев и ненависть, к которым примешивалось какое-то странное, тягостное ощущение. Что за глупая история! Он взял раскрытый перочинный нож, оказавшийся у него под рукой, и проткнул напечатанное имя, словно заколол кинжалом живое существо.

Итак, надо драться! Что же выбрать — шпагу или пистолет? Оскорбленной стороной он, разумеется, считал себя. Со шпагой меньше риска, но, выбрав пистолет, он скорее вынудит противника отказаться от дуэли. Дуэль на шпагах редко имеет смертельный исход: взаимная осторожность всегда мешает противникам приблизиться друг к другу настолько, чтобы острие могло проникнуть глубоко. Избрав пистолет, он подвергает жизнь серьезному риску, зато может случиться, что он с честью выйдет из положения даже без всякой дуэли.

Он произнес:

— Надо быть твердым. Он струсит.

При звуке собственного голоса он вздрогнул и оглянулся. Несомненно, у него разыгрались нервы. Выпив еще стакан воды, он разделся и лег спать.

Очутившись в постели, он тотчас погасил свечу и закрыл глаза.

Он думал:

«Делами я могу заниматься весь завтрашний день. А сейчас надо поспать, чтобы успокоиться».

Под одеялом было очень тепло, но он никак не мог уснуть. То и дело он менял положение: минут пять лежал на спине, потом поворачивался на левый бок, потом ложился на правый.

Его все еще мучила жажда. Он встал, выпил воды. И вдруг встревожился:

«Неужели я трушу?»

Почему его сердце начинало яростно колотиться при каждом знакомом звуке, раздававшемся в спальне? Когда часы собирались бить, он вскакивал уже при слабом скрипе пружины и несколько секунд ловил ртом воздух, потому что у него перехватывало дыхание.

Он начал обсуждать сам с собой такую мысль:

«Возможно ли, чтобы я трусил?»

Нет, конечно, он не трусит, поскольку он решился идти до конца, поскольку у него есть определенное, твердое намерение драться, не отступать. Однако он чувствовал в душе такое глубокое смятение, что задал себе вопрос:

«А может человек трусить, вопреки самому себе?»

И сомнение, беспокойство, ужасный страх овладели им. А что, если сила, более могучая, чем его воля, властная, непреодолимая сила покорит его? Да, что случится тогда? Разумеется, он пойдет к барьеру, раз он так решил. Но если он задрожит? Или потеряет сознание? И он начал думать о своем положении, о своей репутации, о своем имени.

Вдруг у него явилось странное желание — встать и посмотреться в зеркало. Он снова зажег свечу. Он с трудом узнал свое лицо, отразившееся на гладкой поверхности стекла, как будто никогда до сих пор не видел себя. Глаза показались ему огромными, и он был бледен; да, он был бледен, очень бледен.

Он долго стоял перед зеркалом. Высунул язык, точно желая проверить состояние своего здоровья, и вдруг, словно пуля, его пронзила мысль: «Быть может, послезавтра, в этот час, я буду мертв».

И его сердце снова бешено забилось.

«Быть может, послезавтра, в этот час, я буду мертв. Вот этот человек — я вижу его в зеркале, это я сам — и этого человека скоро не будет. Как! Я здесь, я смотрю на себя, я чувствую, что живу, а через двадцать четыре часа буду лежать на кровати, мертвый, с закрытыми глазами, холодный, бездыханный, покончив всякие счеты с жизнью?»

Он повернулся к своему ложу и отчетливо увидел себя распростертым на той самой постели, с которой только что встал. Он лежал на спине, у него были впалые щеки мертвеца и бледные, восковые, навсегда застывшие руки.

Тогда он почувствовал страх перед своей кроватью и, чтобы не видеть ее, перешел в курительную комнату. Машинально он взял сигару, закурил и начал шагать взад и вперед. Его знобило; он подошел к звонку, что-

бы позвать лакея, поднял руку к шнуру и вдруг остановился:

«Этот человек заметит, что я боюсь».

И он не позвонил, он сам растопил камин. Его руки, касаясь предметов, слегка дрожали нервной дрожью. В голове у него мутилось; тревожные мысли путались, ускользали, причиняли боль. Какой-то угар дурманил голову, словно он напился пьяным.

И он беспрестанно спрашивал себя:

«Что мне делать? Что со мной будет?»

Дрожа, как в лихорадке, он встал, подошел к окну и раздвинул занавески.

Занималось утро, летнее утро. Розовое небо окрашивало в розовый цвет город, крыши, стены. Широкий поток света, первая ласка восходящего солнца, заливал весь проснувшийся мир, и вместе с этим светом радостная, внезапная, грубая надежда охватила сердце виконта. Да что с ним! С ума он сошел? С какой стати терзаться страхом, когда ничего еще не решено, когда его секунданты еще не виделись с секундантами этого Жоржа Ламиля, когда неизвестно даже, состоится ли дуэль?

Он умылся, оделся и твердым шагом вышел на улицу.

Дорогой он думал:

«Надо быть решительным, очень решительным. Надо доказать, что я не боюсь».

Секунданты, маркиз и полковник, предоставили себя в его распоряжение и, крепко пожав ему руку, начали обсуждать условия.

Полковник спросил:

— Вы хотите, чтобы дуэль была серьезной?

Виконт ответил:

— Вполне серьезной.

Маркиз тоже задал вопрос:

— Вы настаиваете на пистолетах?

— Да.

— Вы даете нам право договориться обо всем остальном?

Сухо и отрывисто виконт произнес:

— Двадцать шагов. Целиться по команде. Наводить пистолет снизу вверх. Стрелять до первой серьезной раны.

Полковник заявил удовлетворенным тоном:

— Превосходные условия. Вы стреляете хорошо, все шансы на вашей стороне.

И они ушли. Виконт вернулся домой и стал ждать их. Нервное возбуждение, утихшее на некоторое время, возрастало теперь с минуты на минуту. В ногах, в руках, в груди он ощущал какой-то трепет, непрерывную дрожь; он был не в состоянии ни стоять, ни сидеть на месте. Во рту пересохло, и он поминутно ворочал языком, словно боялся, что тот прилипнет к нёбу.

Он хотел было позавтракать, но не мог есть. Тогда ему пришло в голову выпить вина, чтобы подбодрить себя; он велел принести графинчик рому и одну за другой выпил шесть рюмок.

Жгучая, как огонь, струя сразу разлилась по всему телу и отуманила мозг.

«Я нашел средство,— подумал виконт.— Теперь все пойдет хорошо».

Но через час графинчик был пуст, а возбуждение снова стало невыносимым. Он чувствовал дикое желание кататься по полу, кричать, кусаться. Близился вечер.

Когда раздался звонок, виконт едва не задохнулся от волнения, у него не хватило сил подняться и пойти навстречу секундантам.

Он не решался даже заговорить с ними, поздороваться, произнести хоть слово, опасаясь, как бы по изменившемуся голосу они не угадали, что с ним происходит.

Полковник сообщил:

— Все улажено в соответствии с назначенными вами условиями. Сначала ваш противник требовал привилегий оскорбленной стороны, но сразу уступил и согласился на все. Его секунданты — двое военных.

Виконт произнес:

— Благодарю вас.

Маркиз сказал:

— Извините нас, но нам надо идти. У нас еще

тысяча разных дел. Раз дуэль будет прекращена только после серьезной раны,— а вы ведь сами знаете, что пули шутить не любят,— нам нужен хороший врач. Место поединка надо выбрать поблизости от какого-нибудь жилого дома, чтобы, в случае необходимости, перенести туда раненого. Словом, дела нам хватит еще на два, на три часа.

Виконт произнес еще раз:

— Благодарю вас.

Полковник спросил:

— Как вы себя чувствуете? Вы спокойны?

— Да, совершенно спокоен, благодарю вас.

И секунданты ушли.

Когда виконт опять остался один, ему показалось, что он сходит с ума. Лакей зажег лампы, и он сел за письменный стол, чтобы написать несколько писем. Надписав на одном листке: «Это мое завещание...» — он вдруг вскочил и отошел от стола, чувствуя, что неспособен думать, принять какое-либо решение, довести что бы то ни было до конца.

Итак, он будет драться на дуэли. Этого уже не избежать. Что же с ним происходит? Он хочет драться, он непоколебим в этом намерении, в этом решении, и, тем не менее, несмотря на все усилия, на все напряжение воли, он не в силах будет даже добраться до места поединка,— это ясно. Он старался представить себе дуэль, представить, как будет вести себя у барьера он сам, как будет держаться его противник.

Время от времени зубы у него негромко, дробно стучали. Он решил почитать и взял дуэльный кодекс Шатовийяра. Потом задал себе такой вопрос:

— Посещал ли мой противник тиры? Известен ли он? Классный ли он стрелок? Как бы это узнать?

На память ему пришла книга барона де Во о стрелках из пистолета, и он пробежал ее с начала до конца. Имя Жоржа Ламиля в ней не упоминалось. Однако, если бы этот человек не был хорошим стрелком, он не согласился бы так быстро на это опасное оружие, на эти смертельные условия.

Проходя мимо круглого столика, на котором лежал

ящик Гастина Ренетта, он вынул один из пистолетов; затем встал в позицию, словно собираясь стрелять, и поднял руку. Но он дрожал с ног до головы, и дуло качалось из стороны в сторону.

Тогда он сказал себе:

— Это невозможно. Я не могу драться в таком состоянии.

Он посмотрел на конец ствола, на маленькое черное и глубокое отверстие, которое изрыгает смерть, и начал думать о бесчестии, о перешептывании в клубах, о смешках в гостиных, о презрении женщин, о намеках, которые появятся в газетах, об оскорблениях, которые будут брошены ему подлецами.

Рассматривая пистолет, он поднял курок и вдруг увидел пистон, блеснувший внутри, словно красный язычок пламени. Случайно, по чьей-то небрежности, пистолет не был разряжен. И это доставило ему смутную, необъяснимую радость.

Если при встрече с противником у него не будет той благородной и спокойной осанки, которая необходима, он погиб навсегда. Его ждет бесчестие, клеймо позора, изгнание из общества! А у него не будет спокойной и мужественной осанки, он знал, он чувствовал это. Между тем он не лишен храбрости, потому что... Мысль, возникшая в его уме, не успела еще завершиться, как вдруг он раскрыл рот, глубоко, до самого горла засунул в него дуло пистолета и спустил курок...

Когда лакей прибежал на выстрел, виконт лежал на спине, мертвый. Струя крови забрызгала на столе белый лист бумаги, и большое красное пятно расплылось как раз под тремя словами:

«Это мое завещание».

ПЬЯНИЦА

Северный ветер, бушуя, яростно гнал по небу огромные, зимние тучи, и они неслись, тяжелые, черные, низвергая на землю жестокие ливни.

Разъяренное море ревело и сотрясало берег, неповоротливые громады пенистых волн ударяли о скалы с грохотом артиллерийских залпов.

Валы медленно набегали один на другой, высокие, как горы, и свирепый порывистый ветер брызгами рассеивал белую пену их гребней, похожую на пот взмыленных чудовищ.

Ураган завывал в маленькой долине Ипорта, свистел и стонал, сбрасывая черепицы с кровель, ломая навесы, снося дымовые трубы и с таким бешенством врываясь в узкие улицы, что ходить по ним можно было только держась за стены, а детей, пожалуй, унесло бы, как листья, через крыши домов и разметало бы по полям.

Рыбачьи лодки были вытащены далеко на берег из боязни, как бы море в сильный прилив не смыло их, и несколько матросов, укрывшись за выпуклым брюхом баркасов, лежавших на боку, следили за этим гневом неба и моря.

Постепенно они разошлись по домам, ибо спускалась ночь, окутывая тьмой обезумевший океан и весь этот разгул бушующих стихий.

Осталось только два человека: засунув руки в карманы, пригнувшись под ветром, надвинув шерстяные береты на самые глаза, стояли на берегу два рослых нормандских рыбака — у обоих лица в кайме жесткой

бороды, кожа выдублена солеными ветрами океанских просторов, а голубые глаза с черным зернышком зрачка, зоркие глаза моряков, взглядом пронизывают даль до самого горизонта, подобно глазам хищной птицы.

Один из них проговорил:

— Ну что ж, Иеремия, двинулись? Пойдем, скоротаем время за домино. Я плачу́.

Другой еще колебался: его соблазняли игра и водка, но он хорошо знал, что не миновать ему опять напиться, если он попадет к Помелю; удерживала также мысль о жене, которая осталась одна в их хибарке.

Он спросил:

— Ты что, о заклад побился поить меня допьяна каждый вечер? Скажи, тебе-то какая прибыль в том, что ты всегда платишь?

И он засмеялся, радуясь мысли, что выпил столько водки за чужой счет. Это был довольный смешок нормандца, оставшегося в барышах.

Матюрен, его приятель, все тащил его за рукав.

— Да ну, пошли, Иеремия. Не такой вечер сегодня, чтобы вернуться домой, не согрев нутра. Ну, чего ты боишься? Что жена озябнет без тебя в постели?

Иеремия отвечал:

— Намедни вечером я не угадал свою дверь. Меня чуть что не выудили из канавки перед нашим домом.

И он опять засмеялся, вспоминая об этом пьяном приключении. А сам уже двигался потихоньку к кабачку Помеля, сиявшему в ночи ярко освещенным окном. Матюрен тянул его за рукав, ветер подталкивал, и он шел, неспособный противиться этим двум силам.

Низкий зал был полон матросов, дыма и крика. Все эти люди в шерстяной одежде, навалившись локтями на стол, орали во всю глотку, чтобы их было слышно. Чем больше набивалось сюда любителей выпить, тем сильнее им приходилось кричать среди оглушительного шума и стука домино о мрамор столиков, и это было поводом для того, чтобы шуметь еще больше.

Иеремия с Матюреном уселись в уголке и начали партию, опрокидывая стаканчик за стаканчиком в свои широкие глотки.

Они сыграли много партий и выпили много стаканчиков. Матюрен все подливал, подмигивая одним глаз-

ком хозяину, толстому, краснорожему кабатчику, а тот весело скалился, словно был посвящен в какую-то давно разыгрываемую шутку. Иеремия, поглощая спирт, потряхивал головой, заливался хохотом, похожим на рычание, и все поглядывал на приятеля с ошалелым и блаженным видом.

Посетители понемногу разошлись. И всякий раз, как отворяли наружную дверь, в кабачок вторгался ветер, бурно колыхал тяжелые клубы табачного дыма, раскачивал подвешенные на цепочках лампы, причем пламя их начинало мигать, и слышался гулкий грохот прибоя и рев урагана.

Иеремия, расстегнув ворот, сидел в позе пьяного, вытянув далеко вперед ногу, уронив одну руку,— в другой он держал костяшки домино.

Приятели остались одни, и хозяин подошел к ним, полный живейшего интереса.

— Ну как, Иеремия, освежил себе нутро?

Иеремия пробурчал:

— Чем больше льешь в утробу, тем в ней суше.

Хозяин коварно взглянул на Матюрена.

— А брат твой, Матюрен, где сейчас, в такую пору?

Матюрен беззвучно засмеялся.

— За него не тревожься. Он-то в тепле.

И оба посмотрели на Иеремию, который, торжествуя, поставил двойную шестерку и объявил:

— Вот он, синдик!

Когда они кончили партию, хозяин заявил:

— Ну, ребята, мне пора на боковую. Оставляю вам лампу и литровку. За все гоните двадцать су. Ты запрешь за собой дверь, Матюрен, и сунешь ключ под навес, как намедни.

Матюрен ответил:

— Ладно, не беспокойся. Все сделаю.

Помель пожал руку обоим засидевшимся гостям и грузно поднялся к себе по деревянной лестнице. Несколько минут его тяжелые шаги отдавались по всему домику, а затем глухой треск возвестил, что он укладывается на свое ложе.

Приятели продолжали игру. Время от времени от бешеного, все возраставшего шторма дрожали стены, ходуном ходила дверь, и собутыльники поднимали го-

лову, думая, что кто-то вошел. Матюрен брал бутылку и наливал в стакан Иеремии. Часы пробили полночь. Их хриплый бой походил на лязг кастрюль, а после каждого удара стоял долгий гул, как от звона старого железа.

Матюрен сразу поднялся, словно матрос, который кончил вахту.

— Пошли, Иеремия, надо вытряхиваться.

Иеремии подняться было гораздо труднее: он нашел равновесие, только опершись о стол; затем добрался до двери и отворил ее, а в это время его товарищ гасил лампу.

Выбравшись на улицу, Матюрен запер на замок дверь и сказал:

— Ну, прощай, до завтра.

И исчез в потемках.

Иеремия ступил шага три, зашатался, протянул вперед руки, наткнулся на стену, благодаря ей удержался на ногах и, спотыкаясь, снова пустился в путь. Минутами вихрь, ворвавшись в узкую улицу, швырял его вперед, заставлял пробежать несколько шагов, а когда сила ветра спадала, пьяница, как бы лишившись двигателя, останавливался, шатаясь на своих неверных ногах.

Он шел к дому инстинктивно, как птица летит к гнезду. Наконец узнал свою дверь и принялся ощупью отыскивать замочную скважину, чтобы вставить в нее ключ. Но он никак не мог найти отверстия и все ругался вполголоса. Кончилось тем, что он стал колотить кулаками в дверь, призывая на помощь жену:

— Мелина! Эй, Мелина!

И он с такой силой налег на створку, что она не выдержала, поддалась, Иеремия, потеряв опору, ввалился в свою лачугу, грохнулся ничком посреди комнаты и почувствовал, как что-то тяжелое пробежало по нем и умчалось в темноту.

Он долго не шевелился, оцепенев от ужаса, обезумев от страха перед дьяволом, выходцами с того света и всеми таинственными делами, которые происходят в ночном мраке.

Но вокруг ничего больше не двигалось, и понемногу к нему вернулось сознание, затуманенное сознание пьяного. Он тихонько поднялся и сел. Выждав еще некоторое время, он, наконец, отважился заговорить и произнес:

— Мелина!

Жена не отвечала.

И вдруг сомнение закралось в его омраченный мозг, неясное сомнение, смутная догадка. Он снова застыл на месте, сидя на полу в черной тьме, собираясь с мыслями, цепляясь за ускользающие предположения, неуверенные и шаткие, как его ноги.

Он спросил:

— Скажи мне, кто тут был, Мелина? Скажи, кто тут был? Я ничего тебе не сделаю.

Он подождал. В темноте не слышно было ни звука. Теперь он рассуждал уже громко:

— Ну что ж, что я выпил? Ну да, выпил. Ведь это он меня накачал, сволочь этакая! Это он нарочно, чтоб я домой не шел. Ну я и напился.

И снова заладил свое:

— Скажи мне, Мелина, кто тут был? Лучше скажи, а то я натворю беды.

Прислушавшись опять, он продолжал с тяжеловесной упрямой логикой пьяного:

— Ну да, он нарочно задерживал меня у этого бездельника Помеля каждый вечер, каждый вечер, чтоб я домой не шел. Видно, они стакнулись между собой. А, падаль!

Он медленно поднялся на колени. В нем нарастал глухой гнев, к которому примешивалось возбуждение от винных паров.

Он повторил:

— Скажи мне, кто тут был, Мелина, а не то, смотри, изобью, слышишь?

Он стоял теперь, весь дрожа в своем грозном гневе, как будто выпитый алкоголь воспламенился в его жилах. Он ступил шаг, ударился о стул, схватил его, двинулся дальше, натолкнулся на кровать, ощупал ее и почувствовал под руками теплое тело жены.

Обезумев от ярости, он зарычал:

— А-а-а! Ты была тут, гадина, и ничего не отвечала.

И, подняв стул, который он держал в своей сильной матросской руке, он в исступлении хватил им наотмашь по постели. Раздался крик, безумный, душераздирающий крик. А пьяница принялся бить стулом, как цепом на гумне. Вскоре ничто уже не шевелилось. Стул разлетелся на куски, но в руках у него осталась ножка, и он, задыхаясь, все бил ею и бил.

Затем вдруг остановился и проговорил:

— Ну, теперь скажешь, кто тут был?

Мелина не отвечала.

Тогда, изнемогая от усталости, отупев от совершенного насилия, он опять опустился на пол, растянулся и сразу заснул.

Когда наступил день, сосед, заметив, что дверь открыта, вошел в дом. Он увидел Иеремию, который храпел на полу, усеянном обломками стула, а в кровати — месиво крови и мяса.

ВЕНДЕТТА

Вдова Паоло Саверини жила вдвоем с сыном в убогой лачуге у крепостной стены Бонифачо. Город, расположенный на выступе горы, местами нависшей над морем, смотрит на отлогие берега Сардинии поверх пролива, ощетинившегося подводными скалами. С противоположной стороны города, у его подножия, тянется расселина скалистой гряды, почти целиком его огибающая и похожая на гигантский коридор; она служит портом, так что итальянские и сардинские рыбачьи лодки, а дважды в месяц и старый пыхтящий пароход, направляющийся в Аяччо, подходят к самым домам, пройдя длинный путь между отвесными скалами.

Кучка домов выделяется на белой горе еще более белым пятном. Громоздясь над этим страшным коридором, в который не отваживаются заходить большие суда, они кажутся гнездами диких птиц, прилепившимися к скалам.

Ветер без устали терзает море, терзает оголенный, весь изъеденный его порывами берег, кое-где еще поросший травою; он врывается также в пролив и опустошает его берега. Полосы белесоватой пены цепляются за черные выступы бесчисленных скал, то тут, то там прорезающих волны, и кажется, будто это клочки парусины плавают и бьются на поверхности воды.

Домик вдовы Саверини, примостившийся на самом краю прибрежной скалы, выходил своими тремя окнами на этот дикий и безрадостный простор.

Она жила здесь одна с сыном Антонио и собакой

Семильянтой. Это была большая тощая сука с жесткой шерстью, из породы овчарок. Юноша ходил с нею на охоту.

Однажды вечером, после ссоры, Антонио Саверини был предательски убит ударом ножа, и убийца, Николо́ Раволати, в ту же ночь бежал в Сардинию.

Когда старухе-матери принесли тело ее сына, подобранное прохожими, она не заплакала, а долго неподвижно смотрела на него; потом, простерши над трупом морщинистую руку, обещала ему вендетту. Она не захотела, чтобы кто-нибудь остался с нею, и заперлась в доме вместе с воющей собакой. Собака стояла в ногах у покойника и выла непрерывно, протянув морду к хозяину и поджав хвост. Она не двигалась так же, как и мать, а та, склонившись над трупом и уставившись на него неподвижным взглядом, плакала безмолвными слезами.

Юноша, одетый в грубую суконную куртку, проколотую и изорванную на груди, лежал навзничь и словно спал; но он был весь в крови: кровь виднелась на рубахе, разорванной для оказания первой помощи, на жилете, на штанах, на лице и руках. Сгустки крови прилипли к волосам и к бороде.

Старуха-мать заговорила с ним. При звуке ее голоса собака смолкла.

— Ничего, ничего, я отомщу за тебя, мой мальчик, бедное мое дитя. Спи, спи, я отомщу, слышишь? Это мать обещает тебе! А мать, сам знаешь, всегда держит слово.

И она медленно склонилась к нему, прильнула холодными губами к его мертвым губам.

Тогда Семильянта снова завыла. Она протяжно скулила — заунывно, душераздирающе, ужасно.

Так старуха с собакой провели всю ночь.

На другой день Антонио Саверини похоронили, и скоро в Бонифачо о нем перестали вспоминать.

После Антонио Саверини не осталось брата — ни родного, ни двоюродного. Не было ни одного мужчины, который мог бы отомстить за него. Одна только старуха-мать и думала об этом.

По ту сторону пролива ей с утра до вечера видна была белая точка на прибрежных скалах: маленькое

сардинское селение Лонгосардо, куда скрываются корсиканские разбойники, когда их преследуют слишком рьяно. Деревушка почти сплошь заселена ими; они живут здесь лицом к лицу со своей родиной и выжидают время, когда можно будет снова приехать туда, вернуться в родные маки. Старуха знала, что именно там и скрывается Николо Раволати.

Целыми днями, сидя под окном в полном одиночестве, она смотрела в ту сторону и думала о мести. Как быть ей, немощной, одинокой, на краю могилы? Но она обещала, она поклялась над трупом. Она не может забыть, не может ждать. Как же поступить? Она лишилась сна, не находила ни покоя, ни утешения и упорно думала, как бы отомстить. У ног ее дремала собака и иногда, подняв голову, принималась выть, глядя вдаль. С тех пор, как не стало хозяина, она часто так выла, словно призывая его, словно и безутешная душа животного хранила о нем неизгладимое воспоминание.

И вот как-то ночью, когда Семильянта опять заскулила, матери вдруг пришла в голову мысль — мысль, достойная дикарки, мстительной и свирепой. Она обдумывала ее до утра, поднялась с рассветом и отправилась в церковь. Распростершись на каменном полу, повергаясь ниц перед богом, она молилась, заклиная его помочь ей, поддержать, даровать ее бедной изнуренной плоти ту силу, в которой она нуждалась, чтобы отомстить за сына.

Затем она вернулась домой. Во дворе у нее стояла старая бочка для дождевой воды; она опрокинула ее, опорожнила, укрепила на земле колышками и камнями, потом привязала к этой конуре Семильянту и пошла к себе в дом.

Теперь она без устали расхаживала по комнате, не сводя глаз с берегов Сардинии. Убийца — там!

Собака выла весь день и всю ночь. Поутру старуха снесла ей миску с водой — и только: ни похлебки, ни хлеба.

Прошел еще день. Изнуренная Семильянта спала. На другой день глаза у нее заблестели, шерсть взъерошилась, и она стала отчаянно рваться с цепи.

Старуха все еще не давала ей есть. Животное приходило в ярость и хрипло лаяло. Прошла еще ночь.

На рассвете старуха Саверини отправилась к соседу и попросила две вязанки соломы. Она отыскала старые лохмотья, оставшиеся от мужа, набила их соломой и превратила в подобие человеческого тела.

Она вбила в землю перед конурой Семильянты кол и привязала к нему чучело, которое теперь как бы стояло во весь рост. Потом из свертка старого белья она сделала ему голову.

Сука с удивлением смотрела на соломенного человека и молчала, хотя ее терзал голод.

Затем старуха купила в мясной длинный кусок черной кровяной колбасы. Вернувшись к себе, она развела во дворе, возле конуры, костер и стала поджаривать колбасу. Семильянта, обезумев, рвалась с цепи; из пасти ее падали клочья пены, и она не сводила глаз с жаркого, запах которого проникал ей в самый желудок.

Потом старуха обвязала шею соломенного человека дымящейся колбасой, как галстуком. Она долго прилаживала ее, словно желая поглубже вогнать в шею чучела. Покончив с этим, она отвязала суку.

Чудовищным прыжком собака бросилась на чучело и, вскинув ему лапы на плечи, принялась рвать горло. Она падала на землю с куском добычи в зубах, потом снова бросалась, впивалась клыками в веревки, вырывала кусочки пищи, опять падала и снова в остервенении кидалась на чучело. Она уничтожала его лицо мощными укусами, превращала его шею в лохмотья.

Старуха, неподвижная и безмолвная, наблюдала за собакой горящим взором. Потом она опять привязала животное на цепь, снова проморила его голодом двое суток и повторила это странное упражнение.

В течение трех месяцев она приучала собаку к этой борьбе, к кормежке, завоеванной собственными клыками. Теперь она уже не привязывала ее, а только движением руки натравливала на чучело.

Она научила ее рвать, раздирать чучело, даже когда на шее у него не было привязано пищи. А потом, в награду, давала собаке поджаренную колбасу.

Едва завидев чучело, Семильянта начинала дрожать, потом обращала взор на хозяйку, и та хриплым голосом кричала, подняв кверху палец:

— Возьми!

Когда старуха Саверини сочла, что настало время, она отправилась к исповеди, и в воскресенье утром причастилась с экстатическим рвением; потом, одевшись в мужское платье и превратившись в старого оборванного нищего, она сторговалась с сардинским рыбаком, который и перевез ее вместе с собакой на ту сторону пролива.

В холщовом мешке у нее лежал большой кусок кровяной колбасы. Семильянта голодала уже двое суток. Старуха то и дело возбуждала ее, давая ей понюхать вкусную пищу.

Они вошли в Лонгосардо. Корсиканка шла, прихрамывая. Она завернула в булочную и спросила, где живет Николо́ Раволати. Он снова занялся прежним делом, столярным ремеслом. Он работал один в своей мастерской.

Старуха толкнула дверь и окликнула его:

— Эй, Николо́!

Он обернулся; тогда она спустила собаку и крикнула:

— Возьми, возьми, рви, рви!

Обезумевшее животное рванулось и вцепилось ему в горло. Мужчина раскинул руки, обхватил собаку, покатился наземь. Несколько секунд он корчился, бился ногами об пол, потом замер, а Семильянта продолжала грызть ему шею, разрывая ее в клочья.

Двое соседей, сидевших у себя на пороге, ясно припоминали потом, что видели, как от столяра вышел старик-нищий в сопровождении тощей черной собаки, которая ела на ходу что-то коричневое, что бросал ей хозяин.

К вечеру старуха вернулась домой. В эту ночь она спала спокойно.

КОКО

Ферму Люкасов во всей округе называли мызой. Почему именно — этого никто не знал. У крестьян, несомненно, связывалось со словом «мыза» представление о богатстве и могуществе, так как ферма эта была бесспорно самой большой, самой зажиточной и самой благоустроенной в той местности.

Огромный двор был обсажен в пять рядов великолепными деревьями, чтобы защитить низкорослые нежные яблони от резкого ветра, дующего с долины; на дворе стояли длинные, крытые черепицей сараи для сена и амбары для зерна, прекрасные хлева из местного камня, конюшни на тридцать лошадей и красный кирпичный жилой дом, похожий на маленький замок.

Навоз лежал аккуратными кучами; сторожевые собаки жили в конурах; в высокой траве разгуливало множество птицы.

Ежедневно в полдень за длинный кухонный стол, на котором дымился суп в большой фаянсовой миске с голубыми цветочками, садилось пятнадцать человек — хозяева, работники и служанки.

Скотина — лошади, коровы, свиньи и овцы — была жирная, холеная и чистая; кум Люкас, высокий мужчина с брюшком, трижды в день сам обходил все хозяйство, лично за всем наблюдал и обо всем заботился.

В конюшне из милосердия держали в стойле очень старую белую лошадь, которую хозяйка решила кормить до ее естественной смерти, потому что сама выра-

стила эту лошадь, привыкла ее видеть и связывала с нею какие-то воспоминания.

За этим инвалидом ухаживал пятнадцатилетний конюх по имени Изидор Дюваль, или попросту Зидор; зимой он давал ей положенную меру овса и сена, а летом должен был ходить по четыре раза в день на луг, где лошадь паслась на привязи, и перебивать кол, чтобы у нее всегда был в изобилии свежий подножный корм.

Расслабленное животное с трудом передвигало отяжелевшие ноги, утолщенные в коленях и распухшие над копытами. Лохматая шерсть его, которую теперь уже не касалась скребница, напоминала седую шевелюру, а длинные-предлинные ресницы придавали глазам грустное выражение.

Когда Зидор вел лошадь на пастбище, ему приходилось тянуть ее на веревке,— так медленно она плелась; мальчишка шагал, весь изогнувшись, задыхаясь, ругал ее, и мысль о том, что ему приходится ухаживать за такою клячей, доводила его до исступления.

Работники фермы, видя, как конюх ненавидит Коко, забавлялись этим и, чтобы позлить мальчишку, вели беспрестанные разговоры о лошади Зидора. Приятели дразнили его. В деревне его прозвали «Зидор-Коко».

Парень выходил из себя, и день ото дня в нем росло желание выместить все это на лошади. Это был худой длинноногий малый, очень грязный, с густыми, жесткими и всклокоченными рыжими вихрами. Он казался дурачком, говорил заикаясь, с неимоверным трудом, словно мысли никак не могли сложиться в его невосприимчивом грубом мозгу.

Он давно уже удивлялся, зачем это держат Коко, и его возмущало, что на такое бесполезное животное зря изводят добро. Ему казалось несправедливым кормить лошадь, раз она уже не работает, ему казалось возмутительным тратить овес — такой дорогой овес — на эту паралличную клячу. И часто, вопреки распоряжению кума Люкаса, он недодавал лошади часть полагающегося корма, засыпал ей только полмеры овса, выгадывал подстилку и сено. И в его смутном ребяческом сознании росла ненависть, ненависть жадного крестья-

нина — скрытного, жестокого, грубого и трусливого крестьянина.

Когда вернулось лето, ему снова пришлось ходить на пастбище «перебивать» клячу. Конец был далекий. Конюх, свирепея день ото дня, брел неуклюжей походкой через хлеба. Работавшие в полях люди насмешливо кричали ему:

— Эй, Зидор! Кланяйся от нас Коко!

Он ничего не отвечал, но по пути выламывал в кустах прут и, перебив колышек, выжидал, пока лошадь снова примется щипать траву; тогда, исподтишка подобравшись к ней, он начинал хлестать ее по ногам. Животное пыталось бежать, лягаться, уклониться от ударов и, натянув веревку, кружилось, словно на беговой дорожке. А парень бежал сзади и яростно хлестал лошадь, остервенясь и стиснув от бешенства зубы.

Потом он медленно, не оборачиваясь, удалялся, а лошадь, с раздувающимися боками, задыхаясь от бега, смотрела ему вслед старческими глазами. И она до той поры не решалась наклонить к траве костлявую белую голову, пока синяя блуза парня окончательно не исчезала вдали.

Ночи стояли теплые, и Коко оставляли теперь ночевать в поле, на краю оврага, за лесом. Его навещал только Зидор.

Мальчишка забавлялся еще и тем, что кидал в лошадь камни. Он усаживался шагах в десяти от нее, на пригорке, и просиживал там с полчасика, то и дело бросая в клячу острые камни, а она стояла на привязи перед своим недругом и все смотрела на него, не смея приняться за траву, пока он не уйдет.

Но в голове конюха неизменно вертелась одна и та же мысль: «Зачем кормить лошадь, которая уже не работает?» Ему казалось, что жалкая кляча обкрадывает других, крадет людское достояние, божье добро, обкрадывает даже его самого, Зидора, а он-то ведь трудится.

В конце концов парень, перебивая колышек с веревкой, стал день ото дня уменьшать кляче площадь пастбища.

Животное голодало, худело, гибло. Слишком слабое, чтобы оборвать привязь, оно тщетно тянулось к густой

глянцевитой, зеленой траве — такой близкой, что оно чувствовало ее запах,— но достать ее все же не могло.

Но вот однажды утром Зидору пришла в голову мысль вовсе не перебивать кола. Довольно походил он в такую даль ради этой дохлятины!

Но все же он пошел, чтобы насладиться своей местью. Лошадь смотрела на него с беспокойством. На этот раз он ее не бил. Он прохаживался вокруг, засунув руки в карманы. Он даже сделал вид, что хочет переменить ей место, но воткнул колышек в ту же ямку и ушел, в восторге от своей выдумки.

Лошадь, видя, что он уходит, заржала, как бы зовя его назад, но конюх бросился бежать, оставив ее одну, одну во всей долине, крепко привязанную и без единой травинки в том месте, куда она могла дотянуться мордой.

Изголодавшись, она попыталась достать сочную зелень, которой почти касалась ноздрями. Она опустилась на колени, вытянула шею, выпятила толстые слюнявые губы. Но все было напрасно. Весь день дряхлое животное изнемогало в тщетных, в страшных усилиях. Голод терзал его и становился еще ужаснее оттого, что вокруг было так много пищи, зеленой травы, простиравшейся до самого горизонта.

В тот день конюх больше не приходил. Он шлялся по лесам, разорял птичьи гнезда.

На другой день он явился. Обессилевший Коко лежал. Увидя мальчишку, он поднялся на ноги, думая, что его, наконец, переведут на другое место.

Но парень даже не притронулся к деревянному молотку, который валялся тут же, в траве. Он подошел, посмотрел на клячу, бросил ей в морду комок земли, рассыпавшейся по белой шерсти, и ушел, посвистывая.

Лошадь стояла до тех пор, пока могла его видеть, потом, чувствуя, что ее попытки дотянуться до травы будут бесплодны, снова легла на бок и закрыла глаза.

На другой день Зидор не пришел.

Он явился через сутки и, когда приблизился к лошади, лежавшей по-прежнему, убедился, что она издохла.

Он постоял, глядя на нее, довольный успехом своей затеи и в то же время удивляясь, что все уже кончи-

лось. Он потрогал лошадь сапогом, приподнял ей ногу, потом опустил ее, уселся на тушу и долго сидел так, уставившись взглядом в траву и ни о чем не думая.

Он вернулся на ферму, но не рассказал о случившемся, так как хотел еще пошататься в те часы, когда он обычно ходил перебивать колышек.

На другой день он навестил Коко. При его приближении взлетела стая ворон. Несметный рой мух разгуливал по трупу и жужжал в воздухе.

Вернувшись, он объявил новость. Кляча была так стара, что никто не удивился. Хозяин сказал двум батракам:

— Возьмите лопаты и выройте яму там же, на лугу.

И батраки закопали лошадь на том самом месте, где она умерла с голоду.

И, вскормленная этим бедным телом, выросла там густая, буйная ярко-зеленая трава.

РУКА

Все окружили судебного следователя, г-на Бермютье, излагавшего свое мнение о таинственном происшествии в Сен-Клу. Уже целый месяц это необъяснимое преступление волновало Париж. Никто ничего не понимал.

Г-н Бермютье стоял, прислонившись к камину, и говорил об этом деле, приводя одно за другим доказательства, обсуждая различные мнения, но не делая никаких выводов.

Несколько женщин поднялись с места и подошли ближе, не сводя взгляда с выбритых губ судебного чиновника, произносивших важные, веские слова. Дамы содрогались, трепетали от мучительного любопытства, страха и ненасытной потребности ужасного, которая владеет женской душой и терзает ее, как чувство голода.

Когда наступило минутное молчание, одна из слушательниц, самая бледная, произнесла:

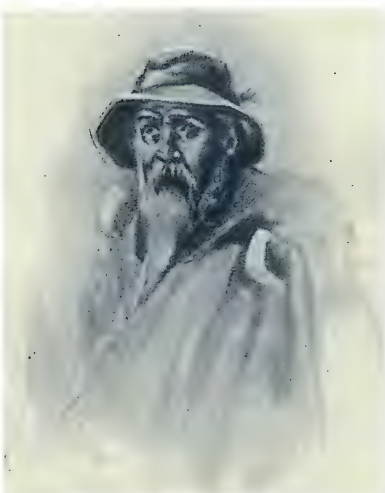
— Это ужасно. Это граничит с чем-то сверхъестественным. Здесь никогда и ничего не узнают.

Судейский чиновник повернулся к ней:

— Да, сударыня, весьма вероятно, что никто ничего не узнает. Однако слово «сверхъестественное», которое вы употребили, тут совсем ни при чем. Мы столкнулись с преступлением, очень ловко задуманным, очень ловко приведенным в исполнение и так умело окутанным тайной, что мы не можем постигнуть загадочных обстоя-

Худ. В. Боккино. «ПЬЯНИЦА».

Худ. Жаннио. 1903. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ, РАСКРЫТОЕ ДЯДЮШКОЙ БОНИФАСОМ».



Худ. В. Боккино. «НИЩИЙ».

тельств, при которых оно совершилось. Но мне однажды пришлось вести такое дело, в которое как будто действительно замешалось что-то фантастическое. Это дело пришлось, впрочем, бросить из-за полной невозможности внести в него какую-либо ясность.

Несколько женщин произнесли одновременно и так быстро, что их голоса слились:

— Ах, расскажите нам об этом.

Г-н Бермютье важно улыбнулся, как подобает улыбаться судебному следователю, и продолжал:

— Не подумайте, однако, что я сам, хоть на минуту, мог предположить участие в этом деле чего-то сверхъестественного. Я верю только в реальные объяснения. Поэтому будет гораздо лучше, если мы вместо слова «сверхъестественное» употребим для обозначения того, что для нас непонятно, просто слово «необъяснимое». Во всяком случае, в деле, о котором я собираюсь вам рассказать, меня взволновали прежде всего побочные обстоятельства, обстоятельства подготовки преступления.

Вот как это произошло.

Я был тогда судебным следователем в Аяччо, маленьком, белоснежном городке, дремлющем на берегу чудесного залива, у подножия высоких гор.

Чаще всего мне приходилось там вести следствие по делам вендетты. Попадались замечательные дела, драматичные до последней степени, жестокие, героические. Мы встречаемся там с самыми поразительными случаями мести, какие только можно себе представить, с вековой ненавистью, по временам затихающей, но никогда не угасающей совершенно, с отвратительными хитростями, с убийствами, похожими то на бойню, то на подвиг. Целых два года я только и слышал, что о цене крови, об этом ужасном корсиканском предрассудке, заставляющем мстить за всякое оскорбление и самому виновнику, и всем его потомкам и близким. Я сталкивался с убийством стариков, детей, дальних родственников, и голова у меня была полна таких происшествий.

Однажды я узнал, что какой-то англичанин снял на несколько лет маленькую виллу, расположенную в

глубине залива. Он привез с собою лакея-француза, наняв его по дороге, в Марселе.

Вскоре этот странный человек, который жил в полном одиночестве и выходил из дома только на охоту и на рыбную ловлю, привлек общее внимание. Он ни с кем не разговаривал, никогда не показывался в городе и каждое утро час или два упражнялся в стрельбе из пистолета и из карабина.

Вокруг него создавались легенды. Говорили, что это какое-то высокопоставленное лицо, бежавшее со своей родины по политическим причинам, затем стали утверждать, что он скрывается, совершив страшное преступление. Даже приводили ужасающие обстоятельства этого преступления.

По обязанности судебного следователя я счел нужным навести справки об этом человеке, но так ничего и не узнал. Он называл себя сэром Джоном Роуэллом.

Я ограничился поэтому тщательным наблюдением, но, по правде говоря, за ним не было замечено ничего подозрительного.

Однако, поскольку толки о нем не умолкали, а наоборот росли, ширились, я решил попробовать лично повидаться с иностранцем и для этого начал регулярно охотиться неподалеку от его владения.

Я долго ждал благоприятного случая. Он представился, наконец, когда я подстрелил куропатку под самым носом у англичанина. Собака принесла мне дичь, но я тотчас же извинился за свою невежливость и попросил сэра Джона Роуэлла принять убитую птицу.

Это был очень высокий, широкоплечий человек, с рыжей шевелюрой и рыжей бородой,— нечто вроде смирного и воспитанного Геркулеса. В нем совсем не было так называемой британской чопорности; за мою деликатность он горячо поблагодарил меня по-французски, но с сильным английским акцентом. В течение месяца мне случилось разговаривать с ним пять или шесть раз.

Как-то вечером, проходя мимо его виллы, я заметил, что он курит трубку в саду, сидя верхом на стуле. Я поклонился, и он пригласил меня зайти выпить стакан пива. Я не заставил себя просить.

Он принял меня с педантичной английской любез-

ностью, расхваливал Францию и Корсику и заявил, что очень любит «этот страна и эта берег».

Тогда я чрезвычайно осторожно и с видом живейшего участия задал ему несколько вопросов о его жизни, о его намерениях. Он отвечал без всякого замешательства и сообщил, что много путешествовал по Африке, по Индии и Америке. Он добавил со смехом:

— У меня был много приключений. О, yes!

Затем я перевел разговор на охоту, и он поведал мне немало интереснейших подробностей об охоте на бегемота, на тигра, на слона и даже на гориллу.

Я сказал:

— Какие это опасные животные!

Он улыбнулся.

— О, нет! Самый скверный животное это есть человек.

И он рассмеялся довольным смехом здоровяка-англичанина.

— Я много охотился на человек тоже.

Потом он заговорил об оружии и предложил зайти в дом посмотреть ружья разных систем.

Его гостиная была затянута черным шелком, расшитым золотом. Большие желтые цветы, разбросанные по черной материи, сверкали, как пламя.

Он объявил:

— Это есть японская материя.

Но тут мое внимание привлек странный предмет, висевший посредине самого большого панно. На квадрате красного бархата выделялось что-то темное. Я подошел ближе: это была рука, человеческая рука. Не рука скелета, белая и чистая, но черная, высохшая рука, с желтыми ногтями, с обнаженными мускулами и следами запекшейся крови, похожей на грязь, причем, кости были обрублены посередине предплечья как бы ударом топора.

Вокруг запястья обвилась толстая железная цепь, заклепанная, запаянная на этой грязной руке, которую она приковала к стене с помощью кольца, достаточно прочного, чтобы удержать даже слона.

Я спросил:

— Что это такое?

— Это был моя лучший враг. Он приехал из Аме-

рука. Рука был рассечен саблей, и его кожа сорван острым камнем, и он сушен на солнце один недель. А-о! Это есть очень хорошо для меня эта рука.

Я прикоснулся к этому обрубку человеческого тела, принадлежащему, должно быть, какому-то великану. Неимоверно длинные пальцы держались на огромных сухожилиях, и на них еще висели лоскутья кожи. На эту ободранную руку было страшно смотреть, и, естественно, она вызывала мысль о какой-то мести дикаря.

Я сказал:

— Этот человек был, наверное, очень силен.

Англичанин скромно ответил:

— А-о! Yes. Но я был более сильный, чем он. Я надел на него эта цепь, чтобы держать.

Я подумал, что он шутит, и сказал:

— Но теперь цепь не нужна, рука никуда не убежит.

Сэр Джон Роуэлл серьезно ответил:

— Она всегда хочет уходить. Эта цепь есть необходимая.

Я пристально взглянул на собеседника, спрашивая себя:

«Что это — сумасшедший или зубоскал?»

Но его лицо оставалось непроницаемо спокойным и любезным. Я заговорил о другом и начал расхваливать ружья.

Я заметил, однако, что на столе и на этажерке лежало три заряженных револьвера, точно этот человек жил в постоянном страхе, ожидая нападения.

Я заходил к нему еще несколько раз. Потом перестал бывать. Все привыкли к его присутствию и уже относились к нему с полнейшим равнодушием.

Прошел целый год. И вот однажды утром, в конце ноября, слуга разбудил меня и сообщил, что сэра Джона Роуэлла ночью убили.

Через полчаса я уже входил в дом англичанина вместе с главным полицейским комиссаром и жандармским капитаном. Растерянный лакей в отчаянии плакал, сидя перед дверью. Сперва я заподозрил этого человека, но он был невиновен.

Преступника так и не удалось найти.

Войдя в гостиную сэра Джона, я сразу же увидел труп, лежавший на спине посреди комнаты.

Жилет бы разодран, один рукав оторван совсем; все свидетельствовало, что тут происходила ужасная борьба.

Англичанина задушили! Его почерневшее, раздувшееся и страшное лицо выражало безмерный ужас, стиснутые зубы что-то сжимали, а шея, на которой виднелось пять небольших ран, как будто нанесенных железными остриями, была вся в крови.

Вскоре к нам присоединился врач. Он долго рассматривал отпечатки пальцев на теле и произнес странную фразу:

— Можно подумать, что его задушил скелет.

Дрожь пробежала у меня по спине, и я взглянул на стену, где когда-то видел ужасную руку с ободранной кожей. Ее там больше не было. Висела только разорванная цепь.

Тогда я наклонился над мертвецом и увидел в его сведенном рту один из пальцев этой исчезнувшей руки, который он отгрыз или, вернее, перепилил зубами как раз на втором суставе.

Затем началось следствие. Оно ничего не дало. Не были взломаны ни двери, ни окна, ни столы, ни шкафы. Обе сторожевые собаки не просыпались.

Вот в нескольких словах показания лакея.

В течение последнего месяца его хозяин казался взволнованным. Он получал много писем и сжигал их.

Часто он брал хлыст и в ярости, чуть ли не безумной, неистово бил им эту иссохшую руку, прикованную к стене и неизвестно как исчезнувшую в самый момент преступления.

Он ложился очень поздно и тщательно запирался. Оружие всегда было у него наготове. Нередко он громко разговаривал по ночам, словно с кем-то ссорился.

Но как раз в эту ночь у него в спальне не было никакого шума, и только утром, открывая окна, слуга нашел сэра Джона убитым. У него не было подозрений ни на кого.

Я сообщил судейским чиновникам и полиции то, что

знал о покойном, и на всем острове произвели тщательные розыски. Однако ничего не нашли.

Но вот однажды ночью, месяца через три после преступления, у меня был страшный кошмар. Мне казалось, что я вижу эту ужасную руку, вижу, как она бежит по моим занавескам, по моим стенам, словно скорпион или паук. Три раза я просыпался, три раза засыпал снова, и три раза я видел, что этот отвратительный обрубок бегает в моей комнате, шевеля пальцами, как лапками.

На следующий день мне принесли эту руку, найденную на могиле сэра Джона Роуэлла, которого похоронили на кладбище в Аяччо, так как не могли разыскать его родственников. Указательного пальца на руке не хватало.

Вот, сударыни, и вся история. Больше я ничего не знаю.

Ошеломленные женщины были бледны и дрожали. Одна из них воскликнула:

— Но ведь это не развязка и не объяснение! Мы не будем спать, если вы нам не скажете, что же там, по вашему мнению, произошло.

Чиновник улыбнулся и сказал серьезно:

— О, сударыни, я могу только испортить ваши страшные видения. Я просто-напросто думаю, что законный владелец руки не умер, что он явился за нею и отнял ее единственной оставшейся у него рукой. Но как он это сделал, этого я не мог дознаться. Это своего рода вендетта.

Одна из женщин пробормотала:

— Нет, быть этого не может, тут что-нибудь не так.

А судебный следователь, улыбаясь, заключил:

— Я же говорил вам, что мое объяснение вас не удовлетворит.

НИЩИЙ

Он знавал и лучшие дни, несмотря на то, что был калекой и нищим.

Ему было пятнадцать лет, когда на большой дороге в Варвиль ему раздавило ноги телегой. С тех пор он питался подаянием, бродя по дорогам и по дворам фермеров, раскачиваясь на костылях, от которых плечи у него поднимались до самых ушей. Голова пряталась между ними, как между двумя горами.

Он был подкидыш: кюре из Бийет нашел его в канаве в канун дня всех святых и окрестил поэтому Никола Туссен. Сирота, которого кормили из милости и никогда ничему не учили, потом калека — он попал под телегу, выпив несколько стаканчиков водки, которой смеха ради угостил его деревенский булочник,— и с тех пор, бездомный бродяга, он ничего не умел делать, только протягивал руку за подаянием.

Когда-то баронеса д'Авари разрешала ему ночевать на ферме, примыкавшей к замку, в набитой соломой конуре, возле курятника, и он знал, что в те дни, когда уж очень станет донимать голод, для него всегда найдется на кухне кусок хлеба и стакан сидра. Иной раз ему перепадало и несколько медных монет: старая дама бросала их ему с высокого крыльца или из окна своей спальни. Но она уже давно умерла.

В деревнях ему не подавали,— слишком он всем был знаком, он всем намозолил глаза за те сорок лет, что слонялся от лачуги к лачуге, волоча на двух деревяшках свое изуродованное и прикрытое лохмотьями

тело. Но покидать эти места он не хотел,— он ничего не знал на земле, кроме трех — четырех деревушек, в которых прошла вся его жалкая жизнь. Он как бы обвел границей территорию своего нищенства; ему и в голову не приходило, что можно эту границу переступить.

Что было там, за деревьями, скрывавшими от него остальной мир, да и было ли там что-нибудь, он не знал. Он не задумывался над этим. И когда крестьяне, которым надоело вечно натыкаться на него то на краю поля, то у обочины дороги, кричали ему: «Ну что ты в другую деревню не пойдешь, нет тебе места, как только тут клянчить!» — он не отвечал и торопливо уходил прочь, охваченный неясным страхом перед неизвестным, страхом, который заставляет бедняка смутно опасаться тысячи вещей — новых лиц, бранных криков, подозрительных взглядов, а пуще всего жандармов, расхаживающих по двое по дорогам: увидев их, он, сам не зная почему, спешил спрятаться за кустом или за грудой щебня.

Стоило им замаячить вдали, поблескивая галунами на солнце, и у него появлялось удивительное проворство, как у зверя, которого травят. Он соскальзывал с костылей, шлепался, как тряпка, наземь, съеживался, становился крохотным, незаметным, прижимался к земле, точно залегший в поле заяц, и его бурые лохмотья сливались с почвой.

А между тем у него никогда не было столкновений с полицией. Но этот страх и эта хитрость сидели у него в крови, словно он унаследовал их от своих родителей, которых никогда не видал.

У него не было пристанища, не было крова — даже шалаша, даже норы. Летом он спал где попало, а зимой с необыкновенной ловкостью забирался куда-нибудь в амбар или на конюшню. Он всегда успевал уйти раньше, чем его замечали. Он знал все лазейки, через которые можно было проникнуть в любой сарай, а руки и плечи у него от постоянного цепляния за костыли стали так сильны, что он мог, подтягиваясь на руках, вскарабкаться на сеновал; и там он, случалось, лежал, не выходя, по четыре — пять дней, если ему перед тем удавалось насбирать достаточно съестного.

Он жил среди людей, как зверь в лесу,— никого не

знал, никого не любил, а у крестьян встречал только равнодушное презрение и привычную враждебность. Его прозвали «Колокол», потому что на ходу он раскачивался между своими костылями, как колокол между двумя столбами.

Однажды случилось так, что он двое суток ничего не ел. Ему перестали подавать. Хватит, до коих же пор, на самом деле! Женщины, стоя на пороге, кричали ему еще издали:

— Уходи, уходи, проваливай! Трех дней не прошло, как я тебе кусок хлеба подала!

Он поворачивался на костылях и плелся к соседнему дому, где его ожидала такая же встреча.

Женщины, стоя в дверях своих домов, переговаривались между собой:

— Круглый год, что ли, кормить нам этого лодыря!..

Однако этому лодырю каждый день надо было есть.

Он обошел Сент-Илер, Варвиль и Бийет, не выпросив ни гроша, ни даже черствой корки. Оставалась одна надежда на Турноль, но туда было две мили по большой дороге, а он так устал, что шагу не мог ступить, и в животе у него было так же пусто, как в кармане.

Все же он двинулся в путь.

Дело было в декабре, в полях носился холодный ветер и свистел в голых деревьях, а по низкому темному небу мчались тучи, торопясь неизвестно куда. Калека брел медленно, с трудом передвигая костыли, опираясь на единственную свою изуродованную ногу с кривой ступней, обмотанной лохмотьями.

Время от времени он присаживался на краю канавы и отдыхал несколько минут. Голод наполнял тоской его темную, неповоротливую душу. Одна мысль владела им: «поесть», но он не знал, как этого добиться.

Три часа он тащился по бесконечной дороге; завидев деревья на краю села, он заковылял быстрей.

Первый же встречный крестьянин, у которого он попросил милостыни, закричал на него:

— Ты опять тут, попрошайка! Когда же мы от тебя избавимся?

И Колокол покорно отошел. В какую дверь он ни стучался, всюду его осыпали бранью и отсылали с

пустыми руками. Все же он переходил от дома к дому, терпеливый и упорный. Он не собрал ни гроша.

Потом он побрел на фермы, увязая в размокшей от дождя земле, еле переставляя от усталости костыли. Отовсюду его прогоняли. То был один из тех холодных, хмурых дней, когда сердце у человека замкнуто и ум ожесточен, когда рука не протягивается ни для того, чтобы дать, ни для того, чтобы оказать помощь.

Обойдя все знакомые фермы, он сел на краю канавы возле усадьбы фермера Шике. Он «снялся с петель»,— так о нем говорили, стараясь этими словами изобразить, как он вдруг соскальзывал наземь со своих высоких костылей,— и затем долго сидел неподвижно, мучась от голода, но не постигая тупым умом всей глубины своего несчастья.

Он ждал, сам не зная чего, с той неясной надеждой, которая вечно тлеет в сердце человека. Сидя у канавы, на ледяном ветру, он ждал чудодейственной помощи, которой мы никогда не перестаем ждать от неба или от людей, не задумываясь над тем, как, почему и через кого она может прийти. Мимо него прошла стайка черных кур: они копошились в земле, кормилице всего живого. То и дело они приостанавливались и подхватывали клювом зернышко или неразличимую для человеческих глаз букашку, потом продолжали свои неторопливые, уверенные поиски.

Колокол смотрел на них, не думая ни о чем; затем, скорей в желудке, чем в мозгу, у него зародилась не мысль, а так, глухое ощущение, что курица, если ее зажарить на костре из сухого валежника, будет очень вкусной.

Мысль, что он совершает воровство, даже не коснулась его сознания. Он нашел возле себя камень и швырнул в ту, что была поближе, и так как он был очень ловок, то уложил ее на месте. Курица повалилась на бок, трепыхая крыльями. Остальные разбежались, покачиваясь на тонких лапках, а Колокол, снова подвесившись на костыли и походкой очень напоминая курицу, заковылял, чтобы подобрать свою добычу.

Он уже приблизился к маленькому черному тельцу с перепачканной в крови головкой, как вдруг страшный толчок в спину вышиб у него из рук костыли, а его

самого отбросил на десять шагов в сторону. И фермер Шике, со всею яростью обворованного крестьянина, накинулся на грабителя, колотя его по чему попало кулаками и ногами, избивая смертным боем бессильного защититься калеку.

На подмогу хозяину сбежались работники и тоже принялись колотить нищего. Наконец, уморившись, они подняли его, оттащили в дровяной сарай и заперли там, в ожидании, пока придут жандармы: за ними уже послали.

Колокол лежал на земле, полумертвый, окровавленный, умирающий от голода. Настал вечер, потом ночь, потом утро. Он все еще ничего не ел.

В полдень явились жандармы и со всяческими предосторожностями отворили дверь. Они ожидали сопротивления, так как, по рассказам Шике, выходило, что бродяга сам напал на него и фермеру только с большим трудом удалось отбиться.

Бригадир скомандовал:

— Встать!

Но Колокол был не в силах пошевелиться. Он, правда, сделал попытку подняться, но безуспешно. Это было принято за хитрость, притворство, за уловку закоренелого преступника, и двое вооруженных мужчин грубо схватили его и силой поставили на костыли.

Его обуял страх, врожденный страх перед желтой перевязью жандарма, страх, который испытывает дичь при виде охотника, мышь — при виде кошки. И сверхъестественным усилием он удержался на костылях.

— Марш! — крикнул бригадир. И он зашагал. Все обитатели фермы собрались посмотреть, как его уводят. Женщины грозили ему кулаками. Мужчины зубоскалили и ругались: «Сцапали голубчика! Наконец-то! Туда ему и дорога!»

Он шел, а по бокам шагали жандармы. Его поддерживала энергия отчаяния, и до вечера он кое-как плелся по дороге, оглушенный, не понимая, что с ним случилось, да с перепугу и неспособный ничего понять.

Встречные крестьяне останавливались и бормотали, провожая его взглядом:

— Видать, вора поймали!

К ночи добрались до города. Он никогда тут раньше не бывал. Он совсем не представлял себе, ни что происходит сейчас, ни что ждет его дальше. Все было неожиданным и страшным — все эти новые лица и незнакомые дома.

Он молчал: ему нечего было сказать, потому что он решительно ничего не понимал. Да к тому же он столько лет ни с кем не разговаривал, что почти утратил дар речи; и мысли его были слишком смутны, чтобы их можно было облечь в слова.

Его отвели в городскую тюрьму. Жандармам не пришло в голову, что ему надо дать поесть, и его заперли до завтра.

Но когда на другой день рано утром пришли звать его на допрос, он лежал на полу мертвый. Какая неожиданность!

ОТЦЕУБИЙЦА

Адвокат настаивал на помешательстве. Как же было объяснить иначе это странное преступление?

Однажды утром в камышах, около Шату, были найдены два трупа — мужчины и женщины,— в которых опознали двух пожилых супругов, людей богатых и хорошо известных в высшем свете; они полюбили друг друга еще в молодости, но поженились только в прошлом году, так как женщина овдовела лишь за три года до этого.

Никто не знал, чтобы у них были враги, не было обнаружено также следов ограбления. Очевидно, их тела бросили с берега в реку после того, как они были убиты каким-то железным орудием с длинным острием.

Следствие ничего не раскрыло. Допрошенные лодочники ни о чем не знали, дело уже собирались прекратить, когда из соседней деревни явился молодой столяр Жорж Луи, по прозвищу «Буржуа», и отдал себя в руки властей.

На все вопросы он отвечал только одно:

— Мужчину я знал года два, а женщину полгода. Они часто давали мне чинить старинную мебель, потому что я мастер своего дела.

Когда же его спрашивали:

— Почему же вы их убили?

Он упрямо отвечал:

— Убил, потому что хотел убить.

Больше ничего от него не могли добиться.

Этот человек был, очевидно, незаконнорожденным:

его отдали ребенком на воспитание в деревню и затем бросили. У него не было иного имени, кроме Жорж Луи, но когда он подрос и стал проявлять исключительные способности, врожденный тонкий вкус, изящество, которых не было у его товарищей, ему дали прозвище «Буржуа» и уже не называли иначе. Он избрал своей профессией столярное ремесло и слыл замечательным мастером. Он даже занимался немного резьбой по дереву. Его считали человеком необузданным, сторонником коммунистических и даже нигилистических учений, искусным оратором на рабочих и крестьянских собраниях, имеющим влияние на избирателей; говорили также, что он большой любитель авантюрных романов с кровавой развязкой.

Адвокат настаивал на помешательстве.

Да и как было объяснить иначе, что этот мастеровой убил своих лучших клиентов, богатых и щедрых (он знал это), клиентов, которые за два года дали ему заработать три тысячи франков (это подтверждалось его книгой счетов)? Имелось только одно объяснение: сумасшествие, навязчивая идея, овладевшая декласси-рованным человеком, который в лице двух буржуа мстит всей буржуазии,— тут адвокат, умело намекнув на прозвище «Буржуа», данное в деревне этому незаконнорожденному, воскликнул:

— Разве это не ирония, не такая ирония, которая способна еще более ожесточить несчастного человека, не имеющего ни отца, ни матери? Он ярый республиканец. Да что я говорю? Он даже принадлежит к той политической партии, представителей которой республика когда-то расстреливала и ссылала, но теперь принимает с распростертыми объятиями, к партии, для которой поджог является принципом, а убийство — лишь обычным средством для достижения цели.

Этого человека погубили те самые плачевные доктрины, которые проповедуются теперь на публичных собраниях. Он слышал, как республиканцы, даже женщины,— да, да, женщины! — требовали крови господина Гамбетты, крови господина Греви; его больной рассудок совсем помрачился, и он тоже захотел крови,

крови буржуа! Не его надо судить, господа, а Коммуну!

В зале послышался гул одобрения. Чувствовалось, что адвокат выиграл дело. Государственный прокурор отказался от реплики.

Тогда председатель суда задал подсудимому обычный вопрос:

— Обвиняемый, что вы можете сказать в свое оправдание?

Подсудимый поднялся.

Он был маленького роста, с светлыми, льняными волосами и серыми глазами, смотревшими пристальным и ясным взглядом. Его сильный, смелый и звучный голос с первых же слов изменил мнение, которое уже составилось об этом хрупком на вид парне.

Он говорил громко, с ораторскими приемами и так отчетливо, что каждое его слово было слышно во всем огромном зале:

— Господин председатель. Так как я не хочу попасть в сумасшедший дом и предпочитаю ему даже гильотину, я решил рассказать все...

Я убил этого мужчину и эту женщину, потому что они были моими родителями.

Теперь выслушайте меня и судите.

Одна женщина, родив сына, отправила его куда-то на воспитание. Она, может быть, даже не знала, куда, в какую деревню отвез ее сообщник маленькое существо, ни в чем не повинное, но осужденное на вечную нищету, на позор незаконного рождения и, более того,— на смерть, потому что его покинули, потому что кормилица перестала получать ежемесячную плату и могла бы, как это часто случается, предоставить ему чахнуть, мучиться от голода и умереть от недостатка ухода.

Женщина, которая меня выкормила, оказалась честной,— более честной, более женщиной, более великодушной, более матерью, чем моя настоящая мать. Она воспитала меня. Исполняя этот долг, она поступила неправильно. Пусть бы уж лучше гибли несчастные дети, выброшенные в пригородные деревни, как выбрасывают сор в помойную яму.

Я вырос со смутным ощущением, что на мне лежит какое-то позорное пятно. Другие дети однажды назва-

ли меня «байстрюком». Они не понимали этого слова, подхваченного кем-нибудь из них от родителей. Я тоже не понимал, но почувствовал его значение.

Могу сказать, что я был одним из самых развитых учеников в школе. Возможно, я был бы уважаемым человеком, господин председатель, и, кто знает, даже выдающимся человеком, если бы мои родители не совершили преступление, бросив меня.

В сущности, преступление совершили они. Я был жертвой, они — виновными. Я был беззащитен, они — безжалостны. Они должны были бы любить меня, но они от меня отреклись.

Я обязан им жизнью. Но разве жизнь — это подарок? Моя жизнь, во всяком случае, была только несчастьем. За то, что они так позорно бросили меня, я ничем не был им обязан, кроме мести. Они совершили по отношению ко мне самый бесчеловечный, самый подлый, самый чудовищный поступок, какой только можно совершить по отношению к живому существу.

Оскорбленный человек бьет оскорбителя, обворованный человек силой отнимает свое добро. Человек, обманутый, которого высмеивали и мучили,— убивает; человек, которому дали пощечину,— убивает; человек, которого обесчестили,— убивает. Меня обворовали, обманули, обесчестили, измучили, убили морально; я страдал гораздо больше тех людей, гневу которых вы находите оправдание.

Я отомстил за себя, я убил. Это было мое законное право. Я отнял их счастливую жизнь из мести за ту ужасную жизнь, которую они мне навязали.

Вы назовете это отцеубийством! Но разве можно считать моими родителями этих людей, если сами они считали меня отвратительным бременем, ужасающим, постыдным пятном, если мое рождение было для них несчастьем, а моя жизнь грозила им позором? Они искали эгоистического наслаждения, а у них родился нежеланный ребенок. Они устранили этого ребенка. Наступил и мой черед устранить их.

И все же еще недавно я был готов их полюбить.

Два года тому назад, как я вам уже сказал, этот человек, мой отец, пришел ко мне в первый раз. Я ничего не подозревал. Он заказал мне мебель. Как я узнал

позже, он наводил справки у кюре,— секретно, разумеется.

Он стал часто бывать у меня, давал мне работу и хорошо платил за нее. Иногда он даже болтал со мной о том, о сем. И я почувствовал к нему расположение.

В начале этого года он привел свою жену, мою мать. Войдя ко мне, она дрожала так сильно, что я принял ее за первнобольную. Она попросила стул и стакан воды. Она ничего не говорила, безумным взглядом смотрела вокруг, а на все вопросы, которые он ей задавал, отвечала только «да» или «нет», и то невпопад. Когда она ушла, я подумал, что она немного не в себе.

Через месяц она пришла опять. Она была спокойна и владела собой. На этот раз они проболтали со мной довольно долго и, уходя, поручили выполнить крупный заказ. Я видел ее еще три раза и ни о чем не догадывался, но как-то раз она завела со мной разговор о моей жизни, о моем детстве, о моих родителях. Я ответил:

— Сударыня, мои родители были подлые люди, они бросили меня.

Тогда она схватилась рукой за грудь и упала без чувств. Я тут же подумал: «Это моя мать!» — но решил и виду не показывать, что догадался. Мне хотелось, чтобы она пришла еще раз.

Со своей стороны, я тоже навел справки. Я узнал, что они поженились только в июле прошлого года, так как моя мать овдовела всего три года назад. Ходили слухи, что они любили друг друга еще при жизни ее первого мужа, но доказательств этому не было никаких. Доказательством был я, но это доказательство они сперва скрыли, а потом надеялись уничтожить.

Я стал ждать. Раз вечером она появилась снова, по-прежнему в сопровождении моего отца. В этот день она была сильно взволнована, не знаю почему. И вот перед уходом она сказала мне:

— Я хочу вам добра, потому что вы кажетесь мне честным человеком и хорошим работником: вы, конечно, рассчитываете когда-нибудь жениться; так вот, я хочу вам помочь, чтобы вы могли свободно выбрать подходящую жену. Меня выдали замуж против воли, и я знаю, как это тяжело. Теперь я богата, бездет-

на, свободна и могу распоряжаться своим состоянием. Вот вам приданое.

И она протянула мне большой запечатанный пакет.

Я пристально посмотрел на нее и спросил:

— Вы моя мать?

Она попятилась и закрыла лицо руками, чтобы не видеть меня. А он, мой отец, обнял ее и крикнул мне:

— Да вы с ума сошли!

Я ответил:

— Вовсе нет. Я отлично знаю, что вы мои родители. Меня не так-то легко обмануть. Признайтесь в этом, и я сохраню тайну, я не желаю вам зла; я останусь попрежнему столяром.

Он отступал к двери, поддерживая жену, которая начала рыдать. Я побежал к двери, запер ее и, положив ключ в карман, сказал:

— Взгляните только на свою жену, неужели вы и теперь посмеете утверждать, что она не моя мать!

Тогда он вышел из себя, страшно побледнел, испугавшись мысли, что внезапно может разразиться скандал, которого им так долго удавалось избегнуть, что их положение, имя и честь сразу погибнут. Он забормотал:

— Вы негодяй, вы хотите вытянуть у нас денег. Вот, делайте после этого добро простонародью, помогайте всяким хамам, заботьтесь о них!

Моя мать в отчаянии повторяла:

— Уйдем отсюда! Уйдем отсюда!

Но дверь была заперта. Он крикнул:

— Откройте сию же минуту, не то я засажу вас в тюрьму за шантаж и насилие!

Я сохранил самообладание, я открыл дверь и увидел, как они исчезли в темноте.

Тогда мне вдруг показалось, что я вновь остался сиротой, что меня бросили, выгнали на улицу. Ужасающая тоска, гнев, ненависть, отвращение охватили меня; все во мне восстало, восстало справедливо, с полным правом, восстало на защиту поруганной чести, на защиту отвергнутой любви. Я бросился бежать за ними берегом Сены, по той дороге, где они должны были пройти к вокзалу Шату.

Я скоро догнал их. Ночь была очень темная. Я крал-

ся по траве, и они не слышали меня. Моя мать все еще плакала. Отец говорил ей:

— Вы сами виноваты. Зачем вам понадобилось его видеть? В нашем положении это безумие. Можно было помогать тайно, не показываясь ему на глаза. Раз мы все равно не можем признать его сыном, зачем эти рискованные посещения?..

Тогда я бросился к ним с мольбой. Я говорил:

— Вы же знаете, что вы мои родители. Один раз вы уже меня бросили, неужели вы снова оттолкнете меня?

Тогда, господин председатель, он поднял на меня руку,— клянусь вам честью, законом, республикой. Он ударил меня, я схватил его за шиворот, а он вытащил револьвер.

В глазах у меня потемнело, я ничего больше не сознавал, я выхватил из кармана свой циркуль и ударил его, ударил изо всех сил.

Тогда она стала кричать: «Помогите! Убивают!» — и вцепилась мне в бороду. Кажется, я убил и ее. Разве я помню, что делал в эту минуту?

А когда я увидел, что оба они лежат на земле, я, не раздумывая, бросил их в Сену.

Вот и все. Теперь судите меня.

Обвиняемый сел. Ввиду его признания разбор дела был отложен. Скоро оно вновь будет слушаться. Если бы мы с вами были присяжными заседателями, как поступили бы мы с этим отцеубийцей?

МАЛЫШ

Г-н Лемонье, овдовев, остался один с ребенком. Жену он любил безумно, любил восторженной, нежной любовью, ни на мгновение не ослабевавшей в продолжение всей их совместной жизни. Он был добрый, честный человек, простодушный, совсем простодушный, искренний, доверчивый, чуждый хитрости и лукавства.

Влюбившись в небогатую соседку, он сделал ей предложение и женился. Он довольно успешно торговал сукном, получал хорошие барыши, но ни на секунду не сомневался, что девушка вышла за него замуж ради него самого.

Впрочем, она сделала его счастливым. Во всем мире для него существовала только она одна, он думал только о ней и без конца смотрел на нее восхищенным, обожающим взором. За столом он не сводил глаз с любимого лица и поэтому совершал множество промахов,— наливал вино в тарелку, воду в солонку, потом сам хохотал, как ребенок, и оправдывался:

— Видишь ли, я слишком люблю тебя, вот и делаю всякие глупости.

Она улыбалась в ответ спокойной, покорной улыбкой, но отводила глаза в сторону, словно обожание мужа смущало ее, и старалась переменить тему разговора, а он брал через стол ее руку и, не выпуская из своей, твердил:

— Жанна, моя дорогая, моя любимая Жанна.

В конце концов она выходила из терпения и говорила:

— Послушай, перестань дурачиться. Ешь сам и дай мне спокойно поесть.

Он вздыхал и, отломив кусочек хлеба, начинал медленно жевать его.

Пять лет у них не было детей. И вдруг она забеременела. От счастья он был как в бреду. За все время беременности жены он не отходил от нее ни на шаг, так что служанка, старая служанка, которая вырастила его самого и пользовалась в доме большим авторитетом, чуть не силой выпроваживала его погулять, чтобы он подышал свежим воздухом.

Г-на Лемонье связывала тесная дружба с одним молодым человеком, который с детства знал его жену. Г-н Дюретур служил помощником начальника канцелярии в префектуре. Он через день обедал у Лемонье, приносил цветы хозяйке дома, а иногда доставал ложу в театр. Добряк Лемонье умилялся и нередко за десертом говорил, обращаясь к жене:

— С такой подругой, как ты, и с таким другом, как он, чувствуешь себя самым счастливым человеком на земле.

Она умерла от родов. Он тоже едва не умер. Но ребенок, маленькое, сморщенное, жалобно пищавшее существо, вдохнул в него волю к жизни.

Он полюбил его страстной и мучительной любовью, болезненной любовью, к которой примешивалось воспоминание о смерти и где еще жило что-то от его преклонения перед умершей. Ребенок был для него плоть от плоти его жены, продолжение и как бы квинтэссенция ее существа. Она заронила, перенесла в тело ребенка собственную жизнь и исчезла, словно лишь для того, чтобы он мог существовать. И с какой-то исступленной нежностью отец целовал сына. Но ведь ребенок убил ее, отнял, похитил эту обожаемую женщину, впитал ее жизнь, захватил принадлежавшую ей долю под солнцем. И г-н Лемонье, положив сына в колыбель, садился рядом и смотрел на него. Он просиживал так целыми часами, глядя на ребенка, и предавался воспоминаниям, то сладостным, то грустным. Потом он наклонялся над личиком спящего сына и плакал, роняя слезы на кружева его постельки.

Ребенок подрос. Отец не мог и часа обойтись без не-

го; он ходил за ним по пятам, водил его гулять, сам одевал его, мыл, сам кормил. Его друг, г-н Дюретур, видимо, тоже очень любил этого шалуна. Он порывисто обнимал его и целовал с той бурной нежностью, которая обычно свойственна только близким родственникам. Он подбрасывал его на руках, целыми часами раскачивал, посадив верхом на свою ногу, и, внезапно опрокинув к себе на колени, задирал короткое платьице и целовал толстенькие, пухлые ножки малыша.

Г-н Лемонье шептал в восхищении:

— Какой он хорошенький, какой хорошенький!

А г-н Дюретур, сжимая ребенка в объятиях, щекотал ему шею усами.

Одна только старуха Селеста не питала, казалось, никакой нежности к мальчику. Ее раздражали его шалости и возмущало баловство обоих мужчин. Она не раз кричала им:

— Разве можно так баловать ребенка? Да он у вас вырастет сущим шалопаем.

Годы шли, и Жану минуло девять лет. Его так избаловали, что он еле умел читать и делал только то, что ему нравилось. Он был очень капризен, крайне упрям и чрезвычайно вспыльчив. Отец во всем уступал ему и решительно все позволял. Г-н Дюретур без конца покупал и дарил мальчику всевозможные игрушки, закармливал его пирожными и конфетами.

Селеста выходила из себя и кричала:

— Стыдно, сударь, стыдно! Вы сделаете ребенка несчастным, слышите, несчастным! Нужно этому положить конец. И конец придет,— да, да, поверьте мне,— и придет очень скоро, помяните мое слово.

Г-н Лемонье отвечал с улыбкой:

— Что поделаешь, милая. Я его слишком люблю и не могу устоять, когда он о чем-нибудь просит. Придется уж тебе с этим примириться.

Жан рос слабеньким, болезненным ребенком. Врач нашел у него малокровие и прописал железо, полусырые бифштексы, жирные супы.

Однако ребенок любил только сласти и отказывал-

ся от всякой другой пищи; отец в отчаянии пичкал его бисквитами с кремом и шоколадными эклерами.

Как-то вечером, когда они садились вдвоем за стол, Селеста внесла суповую миску с таким уверенным и властным видом, какого у нее обычно не бывало. Резким движением она сняла крышку, опустила в суп разливательную ложку и заявила:

— Такого бульона я вам еще никогда не готовила; уж на этот раз мальчику придется поесть его.

Г-н Лемонье испуганно опустил голову. Он увидел, что дело принимает скверный оборот.

Селеста взяла тарелку г-на Лемонье, наполнила ее и поставила перед ним.

Он тотчас же попробовал суп и сказал:

— В самом деле, прекрасный суп.

Тогда служанка взяла тарелку мальчика и налила ее до краев. Затем отошла шага на два и стала ждать.

Жан понюхал, оттолкнул тарелку и с отвращением произнес: «Фу». Селеста побледнела, быстро подошла к нему и, схватив ложку, насильно влила суп в полуоткрытый рот ребенка.

Он чуть не подавился, закашлялся, чихнул, выплюнул суп и, с ревом схватив стакан, запустил им в няньку. Стакан попал ей прямо в живот. Тогда, выйдя из себя, она обхватила рукой голову мальчика и ложку за ложкой начала вливать ему суп в рот. Ребенок выплевывал суп, бился, корчился, задыхался, размахивал руками и так побагровел, что казалось, вот-вот умрет от удушья.

Отец был сперва настолько поражен, что не мог шевельнуться. Но вдруг он вскочил, с дикой яростью схватил служанку за горло и прижал ее к стене, выкрикивая:

— Вон отсюда!.. Вон!.. Вон!.. Скотина!

Но Селеста, растрепанная, со сбитым назад чепцом и горящим взглядом, мгновенно высвободилась и крикнула:

— Что с вами такое? Что на вас нашло? Вы хотите меня избить за то, что я заставляю ребенка есть суп? Да вы погубите мальчика своим баловством!..

Но он повторял, дрожа с головы до ног:

— Вон!.. Убирайся!.. Убирайся, скотина!..

Тогда она в ярости стала наступать на него и, глядя ему прямо в глаза, проговорила дрожащим голосом:

— Ах так!.. Вы думаете... вы думаете, что со мной можно так обращаться, это со мной-то?.. Ну, нет!.. И из-за кого, из-за кого... из-за этого сопляка? Да ведь он вовсе не ваш сын... Да... не ваш!.. Не ваш!.. Все об этом знают! Все, кроме вас!.. Спросите у бакалейщика, у мясника, у булочника, у всех, у всех...

Она продолжала что-то бормотать вне себя от бешенства, но, взглянув на хозяина, внезапно замолчала.

Он весь побелел и застыл на месте, опустив руки. Через несколько секунд он прошептал дрожащим, глухим голосом, выдававшим страшное волнение:

— Что ты сказала?.. Что ты сказала?.. Что такое ты сказала?

Она испуганно смотрела на него и молчала. Он шагнул к ней, повторяя:

— Что ты сказала?.. Что такое ты сказала?

Тогда она спокойно ответила:

— Сказала то, что знаю, черт возьми! То, что все знают.

Он поднял кулаки и бросился на нее, как зверь, пытаясь сбить ее с ног. Но Селеста, несмотря на старость, была еще сильной и ловкой. Она вырвалась от него и, обежав вокруг стола, вновь злобно завизжала:

— Да вы посмотрите на него, посмотрите, бестолковый вы человек, ведь это вылитый господин Дюретур! Посмотрите на нос, на глаза,— разве у вас такие глаза, такой нос? А волосы? Разве у матери такие были волосы? Я же говорю вам, что все это знают — все, кроме вас! Весь город над вами смеется. Посмотрите же на него...

Но тут она очутилась около двери и, открыв ее, выбежала.

Испуганный Жан сидел неподвижно перед своей тарелкой.

Через час она тихонько вернулась посмотреть, что делается. Мальчик съел все пирожные, крем, засахаренные груши и ел теперь варенье столовой ложкой. Отца в комнате не было.

Селеста взяла мальчика на руки, поцеловала, тихо ступая, отнесла в детскую и уложила спать. Потом она вернулась в столовую, убрала со стола и привела все в порядок, тревожно думая о том, что будет дальше.

В доме не слышно было ни малейшего шума. Она подошла к комнате хозяина, приложила ухо к двери. Ничего не было слышно и там. Она посмотрела в замочную скважину. Он писал и казался спокойным.

Тогда она вернулась к себе на кухню и села, чтобы быть наготове, если позовут, так как чуяла недоброе. Она заснула на стуле и проснулась только утром.

Принявшись, как обычно, за утреннюю уборку, она подмела пол, стерла пыль и к восьми часам приготовила г-ну Лемонье кофе.

Однако, отлично зная, как ее встретит хозяин, она не решалась отнести ему кофе и ждала звонка. Он не звонил. Пробило девять, потом десять часов.

Растерянная Селеста взяла поднос с завтраком и пошла к хозяину. Сердце ее билось. У двери она остановилась, прислушалась. Ни звука. Она постучалась; никто не ответил. Тогда, собравшись с духом, она открыла дверь, вошла и вдруг с диким криком выронила из рук поднос.

Г-н Лемонье висел посреди комнаты на веревке, привязанной к крюку в потолке. Язык у него высунулся, страшный язык удавленника. Туфля с правой ноги упала и валялась на полу. На левой ноге туфля осталась. Опрокинутый стул отлетел к кровати.

Обезумев от ужаса, Селеста убежала, вопя на весь дом. Сбежались соседи. Врач установил, что смерть наступила в полночь.

На столе самоубийцы нашли письмо, адресованное г-ну Дюретуру. Оно состояло только из одной строки:

«Оставляю вам малыша и поручаю заботу о нем».

СКАЛА ЧИСТИКОВ

Наступил сезон чистиков.

С начала апреля и до конца мая, еще до приезда парижских купальщиков, на маленьком пляже Этрета внезапно появляется несколько пожилых господ в высоких сапогах и туго подпоясанных охотничьих куртках. Они проводят четыре — пять дней в гостинице Овиль, исчезают и возвращаются недели через три; затем, пожив еще несколько дней, уезжают окончательно.

На следующую весну они появляются снова.

Это последние охотники на чистиков, остатки старой гвардии; лет тридцать — сорок тому назад этих фанатиков было человек двадцать, теперь же из них осталось всего несколько заядлых стрелков.

Чистик — очень редкая перелетная птица со странными привычками. Почти весь год она живет на берегах Ньюфаундленда и островов Сен-Пьер и Микелон; но в брачный период стая этих птиц неизменно перелетает океан; они кладут яйца и выводят птенцов в одном и том же месте — на так называемой «Скале чистиков», около Этрета. Их можно найти здесь, только здесь. Они всегда прилетали сюда, на них всегда тут охотились, и, тем не менее, они снова возвращаются и будут возвращаться всегда. Как только птенцы подрастают, чистики отправляются в путь и исчезают на целый год.

Почему они никогда не прилетят еще куда-нибудь, почему не выберут другого местечка на этом однообразном белом скалистом берегу, простирающемся от Па-де-Кале до Гавра? Какая сила, какой непреодоли-

мый инстинкт, какая вековая привычка побуждает этих птиц возвращаться сюда? С чем связан их первый прилет? Быть может, когда-то буря прибила их предков к этой скале? Но почему их дети, внуки и все дальнейшие потомки постоянно возвращаются сюда же?

Их бывает немного, самое большее сотня, словно традиция этого ежегодного паломничества сохраняется только в одном роде.

И каждую весну, как только маленькое кочевое племя водворится на скале, в деревне появляются все те же охотники. Их знали когда-то молодыми людьми; теперь они старики, но они верны обещанию ежегодно встречаться здесь, которое дали друг другу тридцать — сорок лет назад.

Ни за что на свете они не нарушили бы его.

Случилось это однажды апрельским вечером, несколько лет тому назад. Три охотника на чистиков только что прибыли; не хватало одного — г-на д'Арнеля.

Он никому не написал, не подал о себе вести. Однако он не умер, как многие другие охотники, — об этом было бы известно. Наконец, наскучив ожиданием, прибывшие сели за стол; обед уже подходил к концу, когда во двор гостиницы въехал экипаж; вскоре запоздавший охотник вошел в комнату.

Весело потирая руки, он присел к столу, ел с большим аппетитом, а когда один из товарищей удивился, что видит его в сюртуке, он спокойно ответил:

— Да у меня не было времени переодеться.

Выйдя из-за стола, все сразу легли спать, потому что на следующий день надо было отправиться до рассвета, чтобы захватить птиц врасплох.

Что может быть чудеснее этой охоты, этой утренней прогулки?

В три часа утра матросы будят охотников, бросая в окна пригоршни песка. Через несколько минут все одеты и выходят на откос. Хотя еще темно, звезды блестят уже не так ярко; море шуршит галькой, а ветер такой свежий, что, несмотря на плотную одежду, слегка пробирает дрожь.

Вскоре две лодки, подталкиваемые матросами, быстро съезжают по усыпанному круглыми камешками откосу, слышится треск, как будто разрывают полотно, и вот они уже качаются на мелководье. Поднимают бурые паруса; они слегка надуваются, дрожат, колеблются, снова натягиваются и, округлившись, словно пузыри, уносят просмоленные скорлупки к широкому, смутно различимому в темноте выходу из порта.

Небо светлеет, сумрак словно тает; появляется линия белого берега, отвесного, как стена, и еще окутанного дымкой.

Минуют огромный скалистый свод Манн-Порт, под которым может пройти целый корабль, огибают мыс Куртин, вот уже долина Антифер, мыс того же названия — и сразу становится виден пляж, где расположились сотни чаек. Вот и скала чистиков.

Это всего лишь небольшой уступ скалистого берега; на узких карнизах белого утеса чернеют головки птиц, которые смотрят на приближающиеся лодки.

Они сидят неподвижно, выжидают и еще не собираются улетать. Некоторые из них примостились на самом краю выступов и напоминают издали стоймя поставленные бутылки; лапки у чистиков до того коротки, что, когда эти птицы ходят, кажется, что они катятся, как игрушки на колесиках; они не могут взлететь сразу: для полета им нужно сначала камнем броситься со скалы, так что они падают почти к ногам подстерегающих их людей.

Они знают свою беспомощность, знают, как она опасна для них, и поэтому долго не решаются улететь.

Но матросы поднимают крик, стучат деревянными ключинами о борта лодок, и тогда испуганные птицы, одна за другой, бросаются вниз, в пустоту, падая почти до самых волн, а затем, быстро-быстро махая крыльями, летят в открытое море, пока свинцовый дождь не свалит их в воду.

Так их расстреливают в течение целого часа, спугивая одну за другой. Иной раз самки, сидящие на яйцах, не хотят улетать; тогда их убивают на месте; по белому камню брызжут капельки розовой крови, и птицы умирают, не покидая своих гнезд.

В первый день г-н д'Арнель охотился с обычным увлечением, но около десяти часов, когда поплыли в обратный путь под лучами высоко поднявшегося ослепительного солнца, лучи которого проникали в расщелины белых прибрежных скал, образуя большие светлые треугольники, он хмурил лоб и, против своего обыкновения, не раз глубоко задумывался.

Как только все вернулись в Этрета, какой-то человек, одетый в черное и похожий на лакея, подошел к г-ну д'Арнелю и заговорил с ним шепотом. Г-н д'Арнель, казалось, что-то обдумывал, колебался и наконец ответил:

— Нет, завтра.

На следующий день охота возобновилась. На этот раз г-н д'Арнель часто давал промах, хотя птицы падали почти у самого его дула; друзья смеялись над ним и спрашивали, не влюблен ли он, не овладело ли тайное волнение его сердцем, его рассудком?

В конце концов он признался:

— Да, верно. Мне нужно скоро уезжать, и это мне крайне досадно.

— Как, вы уезжаете? А почему?

— О, у меня неотложное дело, и я не могу оставаться дольше.

Разговор перешел на другую тему.

Как только кончили завтракать, снова появился лакей, одетый в черное. Г-н д'Арнель велел запрягать, и человек уже хотел выйти, но тут три других охотника вмешались в разговор и стали настойчиво упрашивать, убеждать своего друга остаться.

В конце концов один из них спросил:

— Но, может быть, это дело не такое уж важное, раз вы его отложили на два дня?

Охотник молчал в замешательстве, явно колеблясь между соблазном удовольствия и чувством долга; он был подавлен, огорчен и смущен.

После долгого размышления он нерешительно пробормотал:

— Дело в том, дело в том, что я здесь не один: со мной зять.

Это вызвало возгласы удивления:

— Ваш зять?.. Но где же он?

Тогда г-н д'Арнель вдруг смутился и покраснел.

— Как! Вы не знаете?.. Но... он в сарае. Он умер.

Воцарилось изумленное молчание.

Г-н д'Арнель продолжал, все более и более смущаясь:

— Я только что имел несчастье потерять его. Я вез тело к себе в Бризвиль и сделал небольшой крюк, чтобы не пропустить нашего свидания. Но вы понимаете, нельзя же мне задерживаться дольше.

Тогда один из охотников, похрабрее других, заявил:

— Но ведь... раз уж он умер... мне кажется... он может подождать лишний день.

Оба других поддержали его.

— Конечно, конечно,— сказали они.

Г-н д'Арнель, казалось, почувствовал огромное облегчение, но, все еще немного волнуясь, спросил:

— Правда?.. Вы так думаете?

И трое его товарищей ответили в один голос:

— Конечно, дорогой мой! Двумя днями раньше или позже, для него теперь ровно ничего не значит.

Тогда, совсем успокоившись, тесть обернулся к могильщику:

— Ну, что ж, друг мой, отложим до послезавтра.

ТИМБУКТУ

Бульвар, эта река жизни, кишел народом в золотой пыли заходящего солнца. Все небо было красным, ослепительным; огромное пылающее облако бросало из-за церкви Мадлен вдоль всей улицы косой огненный отблеск, трепетавший, как горячий воздух, которым пышет от жаровни.

Веселая, возбужденная толпа двигалась в этом пламенеющем тумане; это было похоже на апофеоз. Лица золотились, платья и черные цилиндры отсвечивали пурпуром; лакированная обувь отбрасывала яркие блики на асфальт тротуара.

Перед всеми кафе за столиками сидели люди; разноцветные напитки искрились в хрустальных бокалах, напоминая расплавленные драгоценные камни.

Среди посетителей, одетых в легкие костюмы темных тонов, выделялись два офицера в парадной форме, слепившей взоры блеском золотых галунов. Они болтали с безотчетной радостью, окруженные этой ликующей жизнью, этим лучезарным вечерним сиянием; они разглядывали толпу на бульваре, где мужчины двигались медленно, а женщины пробегали торопливо, оставляя за собою приятный и волнующий аромат.

Вдруг мимо них торжественно проследовал огромного роста негр с большим брюшком, одетый в черное; на фланелевом жилете у него блестели брелоки,

а лицо отливало глянцем, словно начищенное ваксой. Он улыбался прохожим, улыбался газетчикам, улыбался сверкающему небу, улыбался всему Парижу. Он был так высок, что голова его плыла над толпой, и зеваки оборачивались, чтобы посмотреть ему вслед.

Внезапно он заметил офицеров и бросился к ним, расталкивая прочих посетителей. Очутившись перед их столиком, он уставился на них сверкающими и восхищенными глазами, рот его расплылся до ушей, и белые зубы заблестели, как лунный серп на черном небе. Оба военных изумленно смотрели на этого гиганта, словно вырезанного из черного дерева, не понимая, чему он радуется.

А он воскликнул так громко, что за всеми столиками послышался смех:

— Зд'авствуй, господин лейтенант!

Один из офицеров был батальонным командиром, другой — полковником. Первый сказал:

— Я незнаком с вами, сударь. Что вам угодно?

Негр продолжал:

— Я очень любит тебя, лейтенант Ведье, осада Бези, много виног'ада, искал меня.

Офицер был озадачен, он пристально смотрел на него, роясь в воспоминаниях, и вдруг воскликнул:

— Тимбукту!

Негр засиял, ударил себя по ляжке и, захохотав во все горло, проревел:

— Да, да, господин лейтенант узнал Тимбукту, да, зд'авствуй.

Батальонный командир протянул ему руку, тоже смеясь от всей души. Но Тимбукту стал вдруг серьезен. Он схватил руку офицера, быстро наклонился и поцеловал ее, по негритянскому и арабскому обычаю. Офицер не успел этому воспротивиться и, смутившись, сказал строго:

— Ну, ну, Тимбукту, мы не в Африке. Сядь и расскажи мне, как ты очутился в Париже?

Тимбукту выпятил живот и затараторил:

— За'абатывал много денег, много большой е'сто-'ан, хо'ошая еда, п'уссаки, много во'овал, много, ф'ан-

цузская кухня, Тимбукту, пова' импе'ато'а, двести тысяч ф'анков мне. Ха-ха-ха-ха!

Он корчился и ревел от смеха, а в его глазах светилась буйная радость.

Офицер, понимавший его странную речь, еще некоторое время расспрашивал его, а затем сказал:

— Ну, теперь до свидания, Тимбукту, мы скоро с тобою увидимся.

Негр тотчас же встал, пожав на этот раз протянутую ему руку, и, продолжая смеяться, крикнул:

— Зд'авствуй, зд'авствуй, господин лейтенант!

И он ушел, так сильно жестикулируя от радости, что его принимали за сумасшедшего.

Полковник спросил:

— Что это за тип?

Батальонный командир ответил:

— Хороший парень и хороший солдат. Я расскажу вам о нем; это довольно смешно.

Вы знаете, что в начале войны 1870 года я был заперт в Безьере, который этот негр называет Бези. Мы были не осаждены, а скорее блокированы. Линии прусских позиций окружали нас со всех сторон, но находились вне досягаемости для артиллерийского огня; нас не обстреливали, а постепенно морили голодом.

Я был тогда лейтенантом. Наш гарнизон состоял из самых разношерстных войск: остатки разбитых полков, дезертиры, мародеры, отставшие солдаты. У нас было всего понемногу, даже одиннадцать тюркосов, неизвестно как и неизвестно откуда взявшихся. Они появились в один прекрасный день у городских ворот, изнуренные, оборванные, голодные и пьяные. Их отдали мне.

Я скоро убедился, что они не подчинялись дисциплине, всегда находились в бегах и всегда были под хмельком. Я пробовал сажать их на гауптвахту, даже в карцер, но ничто не помогало. Мои тюркосы пропадали по целым дням, словно проваливались сквозь землю, а затем являлись вдребезги пьяные. Денег у них

не было. Где же они напивались? Каким образом? Чем?

Меня это сильно заинтересовало, тем более, что эти дикари нравились мне; вечным своим смехом и живым характером они напоминали взрослых шаловливых детей.

Я заприметил, что они слепо повиновались самому рослому из них,— тому, кого вы только что видели. Он командовал ими и подготавливал все их таинственные предприятия, как всемогущий вождь, с которым никто не смеет спорить. Я вызвал его к себе и стал расспрашивать. Разговор наш продолжался часа три,— настолько мне было трудно разбирать его тарабарщину. Он же, бедняга, делал неслыханные усилия, чтобы его поняли, изобретал слова, жестикулировал, потел от натуги, вытирал лоб, сопел, останавливался и неожиданно начинал говорить снова, когда ему казалось, что он обрел новый способ выразить свои мысли.

В конце концов я понял, что он был сыном какого-то крупного вождя, негритянского царька из окрестностей Тимбукту. Я спросил, как зовут его. Он произнес что-то вроде Шавахарибухаликхранафотаполара. Я решил, что гораздо проще называть тюркоса именем его родины: «Тимбукту». И через неделю весь гарнизон уже не называл его иначе.

Но нам безумно хотелось узнать, откуда этот африканский экс-принц ухитрялся доставать себе выпивку. Я открыл это самым странным образом.

Как-то утром, находясь на крепостной стене, я обозревал окрестности и вдруг заметил, что в одном из виноградников что-то шевелится. Виноград созрел, приближалось время сбора, но я не думал об этом. Мне пришло в голову, что к городу пробирается шпион, и я организовал настоящую экспедицию, чтобы поймать его. С согласия генерала, командование над нею я принял на себя.

Из трех разных ворот я вывел три маленьких отряда, которые должны были соединиться около подозрительного виноградника и окружить его. Чтобы отрезать шпиону путь к отступлению, одному из моих отрядов пришлось сделать по крайней мере часовой пе-

реход. Солдат, оставленный для наблюдения на стенах крепости, сообщил мне условленным знаком, что замеченный субъект не покинул поля. Мы двигались в полном молчании, ползком, почти ложась в колеи дороги. Наконец мы достигли намеченного пункта. Тут я внезапно развертываю солдат в цепь, они бросаются в виноградник и находят... Тимбукту, который гуляет на четвереньках под лозами и поедает виноград,— точнее говоря, хватает его ртом прямо с лозы, отрывает зубами целые грозди, словно собака, жрущая мясо.

Я хотел, чтобы Тимбукту поднялся, но об этом нечего было и думать, и тогда я понял, почему он ползает на четвереньках. Как только его поставили на ноги, он зашатался, затем вытянул руки вперед и грохнулся на землю. Он был пьян, более пьяного человека я до той поры никогда не видывал.

Пришлось нести его на носилках, сделанных из жердей для подвязывания винограда. Всю дорогу он не переставал хохотать, болтая ногами и руками.

Вот в чем заключалась тайна. Мои ребята напивались самим виноградом. А когда они были мертвецки пьяны, они там же и засыпали.

Что касается Тимбукту, то его любовь к винограду была просто невероятна и превосходила всякую меру. Он жил среди виноградных лоз наподобие дроздов, которых ненавидел ненавистью ревнивого соперника. Он непрестанно повторял:

— Д'озды, обжо'ы, съедят весь виног'ад!

Как-то вечером за мной пришли. На равнине было замечено что-то темное, приближающееся к нам. Я не взял подзорной трубы и поэтому не видел ясно. Казалось, что по дороге извивается большая змея или движется какая-то процессия,— я не мог понять.

Я послал нескольких человек навстречу этому странному каравану, и вскоре он совершил свое триумфальное вступление в город. То были Тимбукту и девять его товарищей; они несли на чем-то вроде ал-

таря, сооруженного из деревенских стульев, восемь отрубленных голов, окровавленных, изуродованных человеческих голов. Десятый тюркос тащил под уздцы лошадь, к хвосту которой была привязана другая, а за ней следовали еще шесть лошадей, соединенных тем же манером.

Вот что я узнал. Отправившись в виноградники, мои африканцы заметили вдруг, что к одной из соседних деревень подходит прусский отряд. Вместо того чтобы удрать, они спрятались, а когда офицеры слезли с лошадей у постоялого двора, чтобы выпить чего-нибудь, все одиннадцать молодцов бросились на них, обратили в бегство уланов, решивших, что происходит атака, убили двух часовых, полковника и пять сопровождавших его офицеров.

В этот день я расцеловал Тимбукту. Заметив его тяжелую походку, я подумал, что он ранен, но он расхохотался и сказал мне:

— П'инес запасы для 'одины.

Дело в том, что Тимбукту воевал не ради чести, а ради добычи. Все, что он ни находил, все, что представляло, по его мнению, какую-нибудь ценность, и в особенности все, что блестело,— он засовывал в свой карман. И какой карман!.. От бедра до щиколотки! Бездна, настоящая бездна! Переняв солдатский термин, он называл карман «глубиной»,— и действительно это была глубина!

Он ободрал все золото с прусских мундиров, медь с касок, пуговицы и так далее, пошвыряв все это в свою «глубину», которая была полна до краев.

Каждый день он бросал туда какой-нибудь блестящий предмет, попадавшийся ему на глаза,— кусочки олова или серебряные монеты, и поэтому его фигура приобретала иногда очень смешной вид.

Он рассчитывал увезти все это в страну страусов, которым этот королевский сын, томимый страстью к блестящим предметам, казалось, приходился сродни. Что бы делал он с этими предметами, не будь у него «глубины»? Наверно, глотал бы их, как страус.

Каждое утро карман его оказывался пуст. Следовательно, у Тимбукту был какой-то склад, в котором

хранились его богатства. Но где находился этот склад? Я так и не мог дознаться.

Генерал, которому доложили о подвиге Тимбукту, велел поскорее похоронить тела убитых, оставшиеся в соседней деревне, чтобы не узнали, что они были обезглавлены. Пруссаки вернулись туда на следующий день. Мэр и семь наиболее почтенных жителей были ими тотчас же расстреляны в наказание за то, что они якобы сообщили нам о присутствии немцев в деревне.

Наступила зима. Мы были изнурены и впали в отчаяние. Теперь каждый день происходили стычки. Изголодавшиеся люди еле могли двигаться. Только восемь тюркосов (трое уже были убиты) были все такими же толстыми, лоснящимися, сильными и неизменно готовыми к бою. Тимбукту даже разжирел. Как-то раз он сказал мне:

— Ты много голоден. У меня хо'оший мясо.

И он на самом деле принес мне великолепное филе. Но что это было за мясо? У нас не оставалось больше ни быков, ни баранов, ни коз, ни ослов, ни свиней. Достать лошадь было немыслимо. Я подумал обо всем этом уже после того, как съел мясо. И у меня мелькнула ужасная мысль. Ведь родина наших негров была совсем близко от страны людоедов! А в окрестностях города каждый день убивали столько солдат! Я спросил об этом Тимбукту. Он не захотел ответить. Я не настаивал, но в дальнейшем отказывался от его подношений.

Он обожал меня. Как-то ночью на аванпостах нас захватил снег. Мы сидели на земле. Я с жалостью смотрел, как бедные негры дрожат под этой белой морозной пылью. Прозябнув, я начал кашлять. И тотчас же я почувствовал на своих плечах нечто вроде большого и теплого одеяла: это Тимбукту набросил на меня свой плащ.

Я встал и, возвращая ему плащ, промолвил:

— Оставь-ка его у себя, приятель, тебе он нужнее, чем мне.

Он ответил:

— Нет, господин лейтенант, для тебя. Мне не нужно. Мне тепло, тепло.

И он смотрел на меня умоляющими глазами.

Я продолжал:

— Ну, изволь слушаться, возьми свой плащ, я так хочу.

Тогда негр поднялся, вытащил из ножен саблю,— он умел ее оттачивать, как косу,— и, держа другою рукой широкий плащ, от которого я отказывался, произнес:

— Если ты не п'имешь плащ, я 'езал. Никому плащ.

Он так и сделал бы. Мне пришлось уступить.

Через неделю мы капитулировали. Некоторым удалось бежать. Другие должны были выйти из города и сдаться победителям.

Я направился на плац, где нам приказали собраться, и вдруг остановился в изумлении перед великаном-негром, одетым в белый полотняный костюм и соломенную шляпу. Это был Тимбукту. Засунув руки в карманы, он прогуливался с сияющим видом перед небольшой лавочкой, в витрине которой были выставлены две тарелки и два стакана:

Я спросил:

— Тимбукту, ты что здесь делаешь?

Он ответил:

— Я не уходить. Я хо'оший пова'. Я ко'мил полковник в Алжи'е. Я ко'мить п'уссаков. Много во'овать. Много.

Было десять градусов мороза. Я дрожал от холода, разговаривая с негром, одетым в полотно. Тогда он взял меня за руку и повел в лавку. Я заметил огромную вывеску, которую он собирался повесить над дверью, но лишь после того, как мы уйдем из города: у него было все-таки чувство стыда.

И я прочел надпись, сделанную, очевидно, рукой сообщника:

ВОЕННАЯ КУХНЯ г-на ТИМБУКТУ,

бывшего повара е. в. императора.

Парижский мастер. Цены умеренные.

И хотя сердце мое разрывалось от отчаяния, я невольно рассмеялся и предоставил негра его новым занятиям.

Не лучше ли это было, чем отдать его в руки неприятеля?

Как видите, парень преуспевает.

Безьер принадлежит теперь Германии. Ресторан Тимбукту — это начало реванша.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

На дворе завывал ветер, сильный осенний ветер, который налетает порывами, сбрасывает с деревьев последние листья и уносит их под облака.

Охотники кончили обедать; они еще не успели снять сапоги и сидели раскрасневшиеся, веселые и разгоряченные. Это были мелкие нормандские помещики — полудворяне, полукрестьяне, богатые, здоровенные, способные свернуть рога быку, когда останавливали его на ярмарочной площади.

Весь день они охотились на земле кума Блонделя, эпарвильского мэра, а сейчас ужинали за большим столом в его доме, представлявшем нечто среднее между фермой и замком.

Их говор напоминал рычание, смех походил на рев хищных зверей, а пили они, как губки; вытянув ноги, облокотившись на стол, они грелись у исполинского очага, бросавшего на потолок кровавые отблески, болтали об охоте, о собаках, и глаза их блестели при свете лампы. Но все они были наполовину пьяны, все находились в том состоянии, когда мужчинам на ум приходят игривые мысли, и следили взглядом за сильной круглолицей девкой, которая подавала им красными руками огромные блюда со всякими яствами.

Долговязый г-н Сежур, который учился когда-то на священника, а стал ветеринаром и лечил скотину во всей округе, внезапно воскликнул:

— Черт вас возьми, кум Блондель, ну и кухарочка у вас, прямо пальчики оближешь!

Раздался оглушительный хохот. И тут взял слово г-н де Варнето, старый пьяница, опустившийся дворянин.

— У меня, знаете ли, была когда-то забавная история с такой же девчонкой! Стоит рассказать ее. Каждый раз, как я об этом думаю, мне вспоминается моя сука Мирза; я продал ее графу д'Оссонель, но она никак не могла отвыкнуть от меня и ежедневно, лишь только ее спускали, прибегала обратно. В конце концов я обозлился и попросил графа держать ее на цепи. И знаете, что с ней случилось? Она подохла от тоски.

Но возвращаюсь к истории с моей служанкой. Вот как обстояло дело.

Мне было тогда двадцать пять лет, и жил я холостяком в своем замке Вильбон. А знаете, когда человек молод, обеспечен да по вечерам после обеда изнывает от скуки, он начинает поглядывать по сторонам.

Вскоре я обнаружил молоденькую девушку, служившую в Ковиле у Дебульто. Вы, Блондель, хорошо знали этого Дебульто! Короче говоря, плутовка так пленила меня, что в один прекрасный день я отправился к ее хозяину и предложил ему сделку: он уступает мне служанку, а я продаю ему вороную кобылу Кокот — он уже два года зарился на нее. Он протянул мне руку: «Идет, господин де Варнето». Сделка была заключена; девочка пришла ко мне в замок, а я сам отвел кобылу в Ковиль и уступил ее за триста экю.

Первое время все шло как по маслу. Никто ни о чем не подозревал; только вот Роза полюбила меня, на мой взгляд, чересчур полюбила. Эта девочка, видите ли, была не как все. В жилах ее текла не совсем простая кровь. Она, наверно, родилась от какой-нибудь прислуги, согрешившей с барином.

Короче говоря, она обожала меня. Она льнула ко мне, ластилась, называла меня дурацкими ласкательными именами, и все эти телячьи нежности навели меня на размышления.

Я сказал себе: «Пора кончать, не то я попадусь!» Но меня-то не так легко поймать. Я не из тех, кого можно околдовать поцелуями. Словом, я был уже настороже, как вдруг она сообщила мне, что беременна.

Пиф, паф! Как будто кто-то выпалил мне в сердце из двустволки. А она обнимала меня, целовала, смеялась, плясала, была без ума. Каково? В первый день я не сказал ни слова, а ночью стал размышлять. Я думал: «Пусть так, но надо отвести удар, надо разрубить узел — и сейчас самое время». Понимаете ли, отец и мать у меня жили в Барнвиле, а сестра, та, что за маркизом д'Испар,— в Роллебеке, в двух лье от Вильбона. Тут было не до шуток.

Как же, однако, выпутаться? Если она уйдет от меня, люди сразу же что-то заподозрят и начнут болтать. Оставить ее у себя,— нельзя, вскоре все обнаружится. Но не мог же я бросить ее в таком положении?

Я поговорил с дядей, бароном де Кретейлем, старым стреляным воробьем, у которого бывали приключения не с одной такой девицей, и попросил у него совета. Он спокойно ответил мне:

— Надо выдать ее замуж, мой мальчик.

Я так и подпрыгнул.

— Выдать замуж, дядя? Но за кого?

Он слегка пожал плечами.

— За кого хочешь, это уж твое дело, а не мое. Если ты не дурак,— найдешь, за кого.

Я обдумывал его слова целую неделю и, наконец, решил: «Что ж, дядя прав».

Тогда я начал ломать голову, искать жениха. И вот как-то раз мировой судья, с которым я только что пообедал, говорит мне:

— А сынок тетушки Помель опять натворил глупостей. Парень плохо кончит. Верно сказано, что яблоко от яблони недалеко падает.

Эта тетушка Помель в годы юности не отличалась добродетелью, а к старости стала прожженной шельмой. За одно экю она готова была продать душу, а впридачу и своего негодяя сына.

Я отправился к ней и осторожно дал понять, в чем дело.

Так как я начал путаться в объяснениях, она спросила меня напрямик:

— Что же вы дадите за девчонкой?

Старуха была пройдохой, но и я был не дурак и подготовился ко всему заранее.

Как раз возле Сасвиля у меня было три маленьких земельных участка, на отлете от трех моих вильбонских ферм. Фермеры постоянно жаловались, что они далеко, ну так я отобрал у них эти три поля, составлявшие шесть акров, а когда фермеры мои завопили, я снял с них до конца действия арендных договоров всю повинность по части домашней птицы. Таким путем дело уладилось. После этого я купил у моего соседа, господина д'Омонте, клочок земли у реки и построил на нем домишко; все это обошлось мне в полторы тысячи франков. Таким образом я устроил маленькое хозяйство, которое стоило мне недорого, и дал его девчонке в приданое.

Старуха подняла было крик, что этого мало, но я уперся, и мы разошлись, ни до чего не договорившись.

На другой день, чуть свет, ко мне явился ее сынок. Я не помнил его лица. Увидав его, я успокоился: для крестьянина он был недурен, хотя и смахивал на заправского жулика.

Он завел разговор издалека, словно пришел покупать корову. Когда мы столковались, ему захотелось осмотреть хозяйство, и мы отправились туда через поля. Плут проманежил меня на участке добрых три часа: обходил его, измерял, брал в руку и крошил комья земли,— видимо, боялся, как бы его не надули. Домишко стоял еще без крыши, и мошенник потребовал, чтобы крыша была не из соломы, а из шифера, потому что его-де легче поддерживать в сохранности!

Потом он сказал мне:

— А мебель вы даете?

Я запротестовал:

— Ну нет, хватит с вас и фермы

Он усмехнулся:

— Еще бы! Ферма и ребенок в придачу.

Я невольно покраснел. Он продолжал:

— Ну, так вот: вы дадите кровать, стол, шкаф, три стула и посуду; иначе дело не выйдет.

Я согласился.

Мы пустились в обратный путь. Он еще не сказал ни слова о девушке. Но вдруг он спросил с хитрым и все же смущенным выражением лица:

— А... если она помрет, кому достанется хозяйство?

Я ответил:

— Разумеется, вам.

Это было главное, о чем ему хотелось спросить с самого утра. Он тут же с удовлетворенным видом протянул мне руку. Дело было слажено.

Но зато как трудно мне было уговорить Розу! Она валялась у меня в ногах, рыдала, твердила: «Да неужели вы предлагаете мне это? Вы! Вы!» Она сопротивлялась больше недели, несмотря на все мои просьбы и доводы. До чего глупы женщины! Уж если любовь засядет у них в голове, то они ничего не понимают. Никакого благоразумия,— любовь прежде всего, все для любви!

В конце концов я рассердился и пригрозил выгнать ее вон. Тогда она стала сдаваться, при условии, что я позволю ей приходить иногда ко мне.

Я сам проводил ее к алтарю, заплатил за брачную церемонию и угостил обедом всю свадебную компанию. Словом, за расходами я не постоял. А потом: «Прощайте, детки!» — и уехал на полгода к брату в Турень.

Возвратившись, я узнал, что она приходила каждую неделю в замок справляться обо мне. Только я приехал, не прошло и часа, как она уже явилась с младенцем на руках. Хотите верьте, хотите нет, но что-то шевельнулось во мне, когда я увидел этого крошку. Кажется, я даже поцеловал его.

Что же касается матери, то это была развалина, скелет, тень. Тощая, постаревшая. Черт возьми, замужество не пошло ей впрок! Я машинально спросил ее:

— Ты счастлива?

Тогда она заплакала в три ручья и, всхлипывая, рыдая, воскликнула:

— Я не могу, не могу жить без вас. Лучше умереть. Я не могу!..

Она подняла адский шум. Я утешил ее, как мог, и проводил до калитки.

Я узнал, что муж колотит ее, а старая сова, свекровь, не дает ей житья.

Через два дня она явилась снова. Она уцепилась за меня, ползала по полу:

— Убейте меня, но я не вернусь обратно.

То же самое сказала бы и Мирза, если бы умела говорить.

Вся эта канитель мне надоела, и я снова исчез на полгода. Возвратившись... возвратившись, я узнал, что Роза умерла за три недели до моего приезда. Без меня она каждое воскресенье прибегала в замок... совсем, как Мирза. Через неделю умер и ребенок.

А муж... Ну, этот плут получил наследство. С той поры он, кажется, пошел в гору, и сейчас его выбрали городским советником.

Г-н де Варнето прибавил со смехом:

— Как-никак, а я создал благополучие этому человеку.

А ветеринарный врач, г-н Сежур, поднося ко рту рюмку водки, с важностью заключил:

— Нет, уж лучше что угодно, только не иметь дела с такими женщинами.

ПРОЩАЙ!

Два приятеля кончали обедать. В окно кафе был виден многолюдный бульвар. Они чувствовали, как тянуло теплым ветерком, который пробегает по Парижу ласковыми летними вечерами и будоражит прохожих, манит уехать куда-нибудь под деревья, далеко, сам не знаешь куда, навевает мечты о реках, освещенных луной, о светлячках и соловьях.

Анри Симон сказал, глубоко вздохнув:

— Старею, старею... Грустно. Бывало, такими вечерами я чувствовал, как кровь кипит в жилах. А теперь я чувствую только тоску. Да, быстро проходит жизнь!

Ему было лет сорок пять, он уже отяжелел и облысел.

Пьер Карнье, чуточку постарше, сухощавый и все еще живой, подхватил:

— А я, голубчик, постарел и сам того не заметил. Я всегда был веселым, жизнерадостным, здоровым и все такое прочее. Каждый день смотришься в зеркало, вот и не замечаешь работы времени, а работа эта медленная, равномерная, и лицо меняется так постепенно, что переходов никак не уловишь. Только потому мы и не умираем с горя уже после двух — трех лет этой разрушительной работы. Мы ее не видим. Надо бы с полгода не смотреться в зеркало, лишь тогда можно отдать себе в ней отчет — и какой это будет удар!

А женщины, мой дорогой!.. Как мне их, бедняжек, жалко. Все счастье, вся сила, вся жизнь для них в красоте, но ее хватает лет на десять.

Ну, так вот, я состарился, сам того не подозревая. Я все еще считал себя чуть ли не юношей, а мне было уже под пятьдесят. Никогда и ничем я не хворал и жил счастливо и спокойно.

Моя старость открылась мне очень простым и страшным образом, и полгода я ходил как пришибленный... потом примирился.

Я часто влюблялся, как и все мужчины, но по-настоящему любил только раз.

Я встретил ее в Этрета, на берегу моря, лет двенадцать тому назад, тут же после войны. Нет ничего милее этого пляжа утром, в часы купания. Он невелик, изогнут подковой, его обступили высокие белые скалы с причудливыми арками, которые называют «Воротами». Одна скала, огромная, протянула в море гигантскую лапу, другая, круглая, низкая, как будто сидит напротив нее; на узкой косе, усеянной галькой, собираются стайками, толпятся женщины,— пестрый цветник ярких туалетов в рамке высоких скал. Солнце светит вовсю на берег, на разноцветные зонтики, на зеленовато-голубое море, и все вокруг радует, чарует, ласкает взор. Садишься у самой воды и рассматриваешь купальщиц. Они спускаются к морю, завернувшись в фланелевые пеньюары, сбрасывают их красивым движением у кружевной пены набегающих волн, быстрыми шажками входят в воду, иногда останавливаются, зябко ежатся, переводят дух.

Не всякая выдержит такой экзамен. Тут-то их и разбираешь по всем статьям. Недостатки особенно заметны, когда купальщицы выходят на берег, хотя морская вода очень бодрит вялое тело.

С первого же раза, как я увидел на купании эту женщину, я был восхищен, очарован. Она выдержала, блестяще выдержала испытание. Да, бывают такие лица, что сразу пленяют своей прелестью, захватывают целиком. Кажется, что нашел, наконец, женщину, предназначенную тебе от рождения. Вот это ощущение, эту мгновенную любовь пережил и я.

Мы познакомились, и скоро я так увлекся, как никогда и никем. Она истомила мне сердце. Мучительно и сладко такое полное подчинение женщине. Это чуть ли не пытка и вместе с тем бесконечное блаженство.

Взгляд, улыбка, завитки на шее, когда их шевелил ветерок, всякая черточка на ее лице, мимолетное выражение — все восхищало, потрясало меня, сводило с ума. Она заполонила, околдовала меня, от ее жестов, движений, даже от вещей исходило какое-то очарование. Меня умиляла ее вуалетка, лежавшая на столе, перчатки, брошенные на кресло. Ее платья казались мне неподражаемыми, никто не носил таких шляпок.

Она была замужем. Но супруг приезжал по субботам и отправлялся обратно по понедельникам. Впрочем, он был мне безразличен. Я совсем не ревновал к нему, почему — и сам не знаю, но никто еще не казался мне таким незначительным, ни на кого я не обращал так мало внимания, как на него.

Зато как я любил ее! И какая она была красивая, милая и молодая! Воплощенная молодость, изящество и свежесть! Никогда раньше я так остро не чувствовал, какое красивое, грациозное, утонченное, прелестное создание — женщина: само очарование и нежность! Никогда раньше я не понимал, сколько пленительной красоты в очертании щек, в изгибе губ, в закругленной линии маленького ушка, в форме того нелепого органа, который называется носом.

Это продолжалось три месяца, потом я уехал в Америку, терзаясь отчаянием. Но мысль о ней жила во мне, упорная, всепобеждающая. Эта женщина владела мной издали, как владела когда-то вблизи. Шли годы. Я не забывал ее. Милый образ был у меня перед глазами и в сердце. Я любил ее все так же нежно, только спокойнее, как дорогое воспоминание о самом прекрасном и радостном, что было в жизни.

Что такое двенадцать лет в жизни человека? Промелькнут, и не почувствуешь! Годы идут один за другим, медленные и стремительные, неспешно и торопливо, каждый тянется долго, а проходит так скоро! И накапливаются они так быстро, оставляют так мало следов,— канули в вечность, и нет их, оглянешься на пройденный путь — и ничего не видишь, и не понимаешь, как случилось, что ты состарился.

Мне, право, казалось, что всего несколько месяцев прошло с того чудесного лета на пляже в Этрета.

Прошлой весной я как-то поехал обедать к знакомым в Мезон-Лафит.

Когда поезд уже трогался, к нам в вагон вошла толстая дама в сопровождении четырех девочек. Я мельком взглянул на эту наседку, рыхлую, дебелую, с круглым, как луна, лицом, в ореоле соломенной шляпки, украшенной лентами.

Она запыхалась от быстрой ходьбы и никак не могла отдышаться. А дети принялись щебетать. Я развернул газету и погрузился в чтение.

Мы уже проехали Аньер, когда соседка вдруг заговорила со мной:

— Простите, сударь, вы не господин Карнье?

— Да, сударыня.

Тут она рассмеялась довольным смехом благодушной женщины, и все же в смехе ее была какая-то грусть.

— Не узнаете?

Я колебался. Мне в самом деле казалось, будто я где-то видел ее лицо. Но где? Когда? Я ответил:

— И да... и нет... Мы, несомненно, встречались, но я не могу припомнить, кто вы.

Она чуть-чуть покраснела.

— Жюли Лефевр.

Никогда не переживал я такого удара. На минуту мне показалось, что все кончено! Я только почувствовал, что пелена спала у меня с глаз и теперь мне откроется что-то ужасное, потрясающее.

Так это она! Эта дебелая, будничная женщина — она! И за то время, что мы не виделись, она высидела четырех девочек! Эти маленькие существа вызывали во мне такое же удивление, как и мать. Они были ее плотью; они уже выросли, уже заняли место в жизни. А она теперь в счет не шла, она — то чудесное, изысканное создание, кокетливое и милое. Казалось, мы расстались только вчера, и вот что с ней сталось! Да как же это возможно? Сердце сжималось от острой боли, и в то же время во мне нарастало возмущение против природы, безрассудный гнев против жестокого, отвратительного разрушения.

Я растерянно глядел на нее. Потом взял ее за руку, и слезы навернулись мне на глаза. Я оплакивал ее молодость, я оплакивал ее смерть,— потому что эту толстую даму я не знал.

А она говорила, тоже волнуясь:

— Стало быть, я очень изменилась? Что делать, все проходит. Видите, я стала матерью, только матерью, примерной матерью. А все остальное — прощай, кончено! Ах, я так и думала, что вы меня не узнаете, если нам доведется встретиться. Да и вы изменились! Сперва я решила, что обозналась. Вы совсем седой. Подумать только, прошло двенадцать лет! Двенадцать лет! Моей старшей дочке уже десять.

Я посмотрел на девочку. И нашел в ней что-то от былого очарования матери, но что-то еще неопределенное, несложившееся, только намек. И жизнь показалась мне быстрой, как уносящийся вдаль поезд.

Мы приехали в Мезон-Лафит. Я поцеловал руку моей былой возлюбленной. У меня нашлись для нее только самые банальные слова. Я был слишком потрясен и не мог говорить.

Вечером, сидя дома, один, я долго разглядывал себя в зеркало, очень долго. И в конце концов вспомнил, каким я был раньше, мысленно представил себе темные усы, и черные волосы, и молодое выражение лица. Теперь я уже старик. Прощай, жизнь!

ВОСПОМИНАНИЕ

Сколько воспоминаний о днях молодости возникает у меня при первой нежной ласке весеннего солнца! Вот возраст, когда все приятно, весело, когда все чарует и пьянит. Как чудесны воспоминания о былых веснах!

Помните ли вы, старые друзья, мои собратья, эти годы радости, когда жизнь была сплошным торжеством, сплошным весельем? Помните ли вы дни бродяжничества в окрестностях Парижа, нашу ликующую бедность, наши прогулки в зеленеющих лесах, опьянение голубизной воздуха, кабачки на берегу Сены и наши любовные приключения, такие банальные и прелестные?

Я хочу вам рассказать сейчас одно из этих приключений. С тех пор прошло двенадцать лет,— и оно кажется теперь уже таким далеким, таким далеким, словно произошло в первой половине моей жизни, перед поворотом, перед тем проклятым поворотом, откуда я вдруг увидел конец пути.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я только что приехал в Париж, служил в одном из министерств, и воскресенья казались мне необыкновенными праздниками, полными счастья, хотя в эти дни никогда ничего особенного и не происходило.

Теперь для меня каждый день — воскресенье. Но я сожалею о том времени, когда у меня было только од-

но воскресенье в неделю. Как оно было прекрасно! Я мог истратить в тот день шесть франков!

В то утро я проснулся рано, с ощущением свободы, которое хорошо знакомо всем чиновникам, с ощущением свободы, отдыха, покоя и независимости.

Я растворил окно. Была чудесная погода. Над городом простиралось голубое безоблачное небо, полное солнца и ласточек.

Я наскоро оделся и вышел, намереваясь провести весь день в лесу, подышать запахом листвы; ведь я деревенский житель и вырос среди полей и лесов.

Париж просыпался радостно, все в нем сияло и горело. Блестели фасады домов; в клетках распевали во все горло канарейки швейцаров; веселье порхало по улицам, светилось на лицах, сеяло всюду смех,— словно все живые существа и даже все неодушевленные предметы испытывали какую-то тайную радость под лучами восходящего солнца.

Я направился к Сене, чтобы сесть на *Ласточку* и ехать в Сен-Клу.

Как я любил эти минуты ожидания парохода на пристани! Мне казалось, что я сейчас уеду на край света, в новые чудесные страны. Я наблюдал, как пароход появлялся вдали, под аркой второго моста, сперва совсем маленький, осененный клубами дыма, потом вырастал все больше и больше и становился в моем воображении огромным морским судном.

Он причалил, и я сел на него.

На палубе было уже немало воскресной публики в праздничных, бросающихся в глаза костюмах; пестрели ленты, краснели толстые лица. Я расположился на носу парохода и стоял, глядя, как бегут мимо набережные, деревья, дома, мосты. Внезапно передо мной появился большой виадук Пуен-дю-Жур, перегородивший реку. Здесь кончался Париж и начиналась деревня, а Сена позади двойного ряда каменных арок виадука внезапно расширялась, как будто ей возвратили свободу, и, сразу превратившись в прекрасную реку, мирно текла на просторе через равнины, у подно-

жия лесистых холмов, среди полей, вдоль густых лесов.

Пройдя между двумя островами, *Ласточка* повернула к зеленому холму, на котором теснились белые дома. Чей-то голос возвестил: «Нижний Мёдон», а потом, когда пароход двинулся дальше: «Севр», и еще дальше: «Сен-Клу».

Я слез и быстрым шагом прошел через городок по дороге, ведущей в лес. Я взял с собою карту окрестностей Парижа, чтобы не запутаться в дорогах, пересекающих по всем направлениям рощи, где обычно гуляют парижане.

Войдя под сень деревьев, я стал изучать по карте намеченный путь, и, кстати сказать, он показался мне чрезвычайно простым. Надо было повернуть направо, потом налево, потом еще раз налево, и к вечеру я попал бы в Версаль, где мог пообедать.

И я медленно пошел под сенью листвы, вдыхая сладостное благоухание молодой зелени и древесных соков. Я шел потихоньку, забыв о своем бумажном хламе, о канцелярии, о начальнике, о сослуживцах, о папках с делами, и думал лишь о счастливых событиях, несомненно, ожидавших меня впереди, о своем будущем, подернутом дымкой неизвестности. Множество воспоминаний детства, пробужденных лесными запахами, проносилось у меня в голове, и я шел, опьяненный ароматом, живым трепетом, колдовскими чарами леса, согретого жарким июньским солнцем.

Иногда я присаживался на каком-нибудь пригорке, чтобы полюбоваться ковром полевых цветов, названия которых были мне знакомы с давних пор. Я узнавал их, как будто это были те самые цветы, которые я видел когда-то у себя на родине. Желтые, красные, лиловые, нежные, маленькие,— они то поднимались на длинных стеблях, то стелились по земле. Насекомые самой разнообразной окраски и самой разнообразной формы — то короткие и толстые, то длинные, причудливые микроскопически маленькие чудовища, совершали мирные восхождения по былинкам, сгибавшимся под их тяжестью.

Затем я поспал несколько часов в ложбине и, отдохнув, подкрепив силы этим сном, продолжал путь.

Передо мной открылась восхитительная аллея, где сквозь редкую листву на землю просачивались, как дождь, капли солнечного света, падая на белые маргаритки. Безлюдная, немая аллея казалась бесконечной. Только крупный жужжащий шершень одиноко летел по ней, иногда останавливался, чтобы напиться из цветка, сгибавшегося под его тяжестью, почти тотчас же пускался в дальнейший путь и снова садился передохнуть неподалеку. Он летел, огромный, на прозрачных и несоразмерно маленьких крылышках и как будто был сделан из темно-коричневого бархата в желтую полоску.

Но вдруг я увидел в конце аллеи двух человек — мужчину и женщину,— направлявшихся ко мне. Недовольный тем, что потревожили мою мирную прогулку, я хотел было углубиться в чащу, однако мне послышалось, что меня зовут. Действительно, женщина махала зонтиком, а мужчина в одном жилете, держа сюртук в одной руке, поднимал другую, как бы призывая на помощь.

Я направился к ним. Они шли торопливой походкой, она — мелкими быстрыми шажками, он — широко шагая; оба раскраснелись, у обоих на лице лежала печать усталости и плохого настроения.

Женщина тотчас же спросила меня:

— Сударь, не можете ли вы сказать, где мы? Мы заблудились из-за моего дуралея-мужа: он вообразил, что прекрасно знает эти места.

Я уверенно ответил:

— Сударыня, вы идете по направлению к Сен-Клу, а позади вас — Версаль.

Она продолжала, бросив презрительный и злобный взгляд на супруга:

— Как? Версаль позади нас? Но ведь мы как раз там хотели пообедать.

— Я тоже, сударыня, иду туда.

— Боже мой, боже мой, боже мой! — произнесла она несколько раз, пожимая плечами, и в тоне ее было высокомерное презрение глубоко возмущенной женщины.

Она была совсем молоденькая и недурненькая брюнетка с тенью усиков на верхней губе.

Что же касается мужа, он лишь потел и вытирал лоб. Это была, вероятно, обыкновенная супружеская пара парижских буржуа. Муж казался подавленным, измученным и расстроенным.

Он забормотал:

— Но, моя милая... ведь это ты...

Она оборвала его:

— Это я... Ах, теперь выходит, что это я! Так это я захотела отправиться в Версаль, не спрашивая ни у кого дороги, и заявила, что безусловно ее найду? Так это я вздумала подняться направо по откосу и уверяла, что узнаю дорогу? Так это я взяла на себя заботу о Кашу...

Она не успела договорить, как вдруг ее муж, словно в припадке сумасшествия, испустил пронзительный и протяжный вопль дикаря, который невозможно выразить ни на одном человеческом языке, что-то вроде ти-и-ти-и-т.

Молодая женщина, нисколько как будто не удивившись и не обнаружив ни малейшего волнения, продолжала:

— Нет, право, есть же на свете такие болваны, которые воображают, что они всегда все знают. Так это я в прошлом году села на дьепский поезд вместо гаврского? Скажи, это я? Так это я держала пари, что господин Летурнер живет на улице Мучеников?.. Это я не хотела верить, что Селеста воровка?..

Изумительно быстро выпаливая слова, она продолжала нагромождать самые разнообразные, самые неожиданные и самые тяжкие обвинения, полные интимных подробностей, упрекая мужа за все его поступки, мысли, замашки, затеи, старания в течение всей их супружеской жизни, вплоть до настоящей минуты.

Он пробовал остановить ее, успокоить и бормотал:

— Но, дорогая моя... напрасно ты говоришь все это... в присутствии постороннего человека... Незачем устраивать сцены... Это мало кому интересно.

И он жалобно посматривал на зеленую чащу, словно желая измерить таинственную и безмолвную ее глубину, чтобы туда бежать, спрятаться, укрыться там от

всех, и время от времени он снова испускал все тот же пронзительный и протяжный крик: «ти-и-ти-и-т». Я решил, что это симптом нервной болезни.

Внезапно молодая женщина повернулась ко мне и, с необычайной быстротой изменив тон, произнесла:

— Если позволите, сударь, мы пойдем вместе с вами, а не то мы опять заблудимся и заночуем в лесу.

Я поклонился; она взяла меня под руку и заговорила о том, о сем: о себе, о своей жизни, семье, торговле. Они были перчаточниками с улицы Сен-Лазар.

Муж шел рядом с ней, по-прежнему бросая безумные взгляды на лесную чащу и время от времени выкрикивая свое «ти-и-ти-и-т».

Наконец я спросил его:

— Почему вы так кричите?

Лицо его приняло грустное, безнадежное выражение, и он ответил:

— Я потерял свою собаку.

— Как? Потеряли собаку?

— Да. Ей еще нет и года. Она никогда не выходила из лавки. Я взял ее с собой,— думаю, пусть побегает в лесу. Она никогда не видела ни травы, ни листьев и совершенно обезумела. Принялась прыгать, лаять и вдруг исчезла. Да еще знаете, она очень испугалась железной дороги и от этого просто одурела. Как я ни звал ее, она не вернулась. Она подохнет с голоду в лесу.

Молодая женщина, не оборачиваясь к мужу, отчеканила:

— Если бы ты не спускал ее с поводка, этого не случилось бы. Такие дураки, как ты, не должны заводить собак.

Он робко пробормотал:

— Но, дорогая моя, ведь это ты...

Она остановилась как вкопанная, посмотрела мужу прямо в глаза, словно желая их вырвать, и опять принялась бросать ему в лицо бесконечные упреки.

Вечерело. Медленно расстилал свой покров туман, затягивая всю окрестность; веяло поэзией сумерек, особой и чарующей свежестью, которая чувствуется в лесу с приближением ночи.

Вдруг муж остановился и лихорадочно стал обшаривать свои карманы.

— Ох, да неужели же...

Жена смотрела на него.

— Что такое еще?

— Я забыл, что несу сюртук на руке.

— Ну и что же?

— И потерял бумажник... а в нем все деньги...

Она задрожала от гнева, задохнулась от негодования.

— Этого только недоставало. Какой ты дурак! Какой же ты дурак! И дернуло меня выйти замуж за такого идиота! Что ж, ступай назад и изволь найти его. А я пойду в Версаль с этим господином. У меня нет желания ночевать в лесу.

Он кротко ответил:

— Хорошо, друг мой. Но где же я вас найду?

Мне рекомендовали один ресторан. Я назвал его.

Муж повернулся и пошел назад, пригибаясь к земле, осматривая ее беспокойным взглядом, и по-прежнему непрерывно кричал: «Ти-и-ти-и-т».

Мы еще долго видели его в глубине аллеи, но темнота становилась все гуще и стирала очертания его фигуры. Уже нельзя было различить его силуэт, но мы еще долго слышали жалобное «тиит, тиит, тиит», звучавшее тем пронзительнее, чем чернее становился мрак.

Ну, а я шел бодро и радостно, упиваясь прелестью ночи, рядом с маленькой незнакомкой, опиравшейся на мою руку.

Я подыскивал слова, чтобы завести галантный разговор, но не находил их и пребывал в немом и взволнованном восхищении.

Внезапно нашу аллею пересекла большая дорога. Вправо от нас в долине виднелся городок.

Что это была за местность?

Проходил какой-то человек. Я спросил его. Он ответил:

— Буживаль.

Я остановился в изумлении.

— Буживаль? Вы в этом уверены?

— Еще бы, я здесь живу.

Маленькая женщина захохотала, как безумная.

Я предложил нанять извозчика и ехать в Версаль. Она ответила:

— Ни за что! Это очень забавно, и я очень голодна. В сущности, я ничуть не беспокоюсь, ну а муж не пропадет. Для меня такая удача — избавиться от него на несколько часов.

Мы зашли в ресторан на берегу реки, и я осмелился взять отдельный кабинет.

Честное слово, она здорово опьянела, стала петь, пить шампанское, наделала массу всяких глупостей... вплоть до самой большой.

То был мой первый адюльтер!

ИСПОВЕДЬ

Маргарита де Терель умирала. Ей было пятьдесят шесть лет, но на вид не менее семидесяти пяти. Она задыхалась, лицо ее, белое, как простыня, судорожно дергалось, все тело мучительно дрожало, а глаза дико блуждали, словно ей чудилось что-то страшное.

Ее сестра Сюзанна, старше ее на шесть лет, рыдала, стоя на коленях около кровати. На маленьком, покрытом салфеткой столике у ложа умирающей стояли две зажженные свечи, так как должен был прийти священник для соборования и причастия.

В спальне был зловещий беспорядок последнего безвозвратного прощания, как во всякой комнате, где лежит умирающий. На столах и полках — пузырьки из-под лекарств, во всех углах — полотенца, отброшенные второпях ногой или половой щеткой. Стулья и кресла, расставленные как попало, словно разбежались от испуга во все стороны. Смерть притаилась где-то здесь и выжидала.

История двух сестер была трогательна. Ее рассказывали по всей округе, и не раз она вызывала у слушателей слезы.

Старшая, Сюзанна, когда-то любила одного молодого человека, и он тоже любил ее, они были обручены, день свадьбы был уже назначен, но вдруг Анри де Сампьер скоропостижно скончался.

Девушка была в ужасном отчаянии и поклялась никогда не выходить замуж. Она сдержала слово. Надев вдовье платье, она так и не сняла его.

И вот однажды утром ее сестра, ее младшая сестра Маргарита, которой было только двенадцать лет, бросилась к ней в объятия и сказала:

— Сестрица, я не хочу, чтобы ты была несчастной. Не хочу, чтобы проплакала всю жизнь. Никогда, никогда, никогда я не покину тебя! Я тоже никогда не выйду замуж. Я останусь с тобой навсегда, навсегда, навсегда.

Сюзанна, растроганная этой детской преданностью, поцеловала сестру, но не поверила ей.

Однако младшая тоже сдержала слово и, несмотря на увещания родителей, несмотря на мольбы старшей, так и не вышла замуж. Она была хороша собой, очень хороша; многие молодые люди влюблялись в нее, но она всем отказывала; она не покинула сестры.

Они прожили вместе всю жизнь, никогда не расставаясь. Они шли бок о бок одной и той же дорогой, связанные неразрывными узами. Но Маргарита всегда казалась печальной, удрученной, более суровой, чем старшая сестра, словно великая жертва надломила ее силы. Она быстрее состарилась, поседела в тридцать лет и часто хворала, как будто ее снедал какой-то тайный недуг.

Теперь она умирала первой.

Уже сутки она не говорила ни слова. Только на рассвете она сказала:

— Пошлите за священником, пора.

Конвульсивно вздрагивая, она все время лежала на спине, страшная на вид, беспрестанно шевеля губами, словно из глубины ее сердца уже поднимались какие-то ужасные слова, но еще не могли сорваться с уст, и смотрела вокруг себя безумными от страха глазами.

Ее сестра, припав лбом к краю постели, плакала в глубокой скорби, повторяя:

— Марго, родная моя, детка моя!

Она всегда называла ее «деткой», так же как младшая называла старшую «сестрицей».

На лестнице послышались шаги. Дверь открылась. Появился мальчик-служка, а за ним — старый священник в стихаре. Увидев их, умирающая быстро приподнялась, села и, с трудом открыв рот, прошептала несколько слов, царапая ногтями по простыне, словно хотела разорвать ее.

Аббат Симон подошел, взял ее за руку, поцеловал в лоб и ласково сказал:

— Господь простит вас, дитя мое. Будьте мужественны; час настал, говорите.

Тогда Маргариту охватила такая сильная дрожь, что вся ее кровать затряслась. Умирающая пробормотала.

— Сестрица, садись и слушай...

Священник нагнулся к Сюзанне, припавшей к постели, поднял ее, усадил в кресло и, взяв за руки обеих сестер, произнес:

— Господи боже мой! Пошли им силы, будь милостив к ним.

И Маргарита заговорила. Слова, одно за другим, вырывались из ее горла, хриплые, отрывистые, как бы угасающие.

— Прости, прости, сестрица, прости меня!.. О, если бы ты знала, как я всю жизнь боялась этого часа!..

Сюзанна лепетала сквозь слезы:

— В чем тебя простить, детка? Ты отдала мне все, всем пожертвовала ради меня. Ты ангел...

Но Маргарита прервала ее:

— Молчи, молчи! Дай мне сказать... не перебивай... как страшно... дай мне сказать все... до конца... не шевелись... Слушай... ты помнишь... помнишь... Анри?..

Сюзанна, вздрогнув, посмотрела на сестру. Та продолжала:

— Выслушай меня, и ты все поймешь. Мне было тогда двенадцать лет, только двенадцать лет, ты помнишь, не правда ли? Я была избалована, делала все,

что вздумается!.. Ты помнишь, как меня баловали?.. Слушай же... Когда он в первый раз приехал к нам, на нем были лакированные сапоги; он сошел с лошади у крыльца, извинился за свой костюм и сказал, что приехал сообщить папе какую-то новость. Ты помнишь все это, да?.. Молчи... Слушай... Увидев его, я так была поражена его красотой, что остолбенела и простояла в уголке гостиной все время, пока он разговаривал с папой. Дети — совсем особенные, ужасные существа... О, как я мечтала о нем!

Он приехал еще раз... стал бывать в доме... Я смотрела на него во все глаза... всей своей душой... Я была старше своих лет... и много хитрее, чем казалась... Он стал бывать чаще... Я думала только о нем. Я шептала: «Анри... Анри де Сампьер!»

Потом стали говорить, что он женится на тебе... О сестрица, какое это было для меня горе... какое горе, какое горе! Я не спала три ночи и все плакала... Он приходил каждый день, после завтрака... помнишь? Не отвечай... слушай... Ты делала для него пирожные, которые он очень любил... из муки, масла и молока... О, я тоже умела их готовить... Я и сейчас могла бы сделать их, если было бы нужно. Он проглатывал их целиком, выпивал стакан вина... и говорил: «Замечательно!» Ты помнишь, как он говорил это?

Я ревновала, о, как я ревновала!.. Приближался день твоей свадьбы. Оставалось только две недели. Я совершенно обезумела. Я говорила себе: «Он не женится на Сюзанне, нет, я не хочу этого. Он женится на мне, когда я вырасту большая. Я никого не полюблю в жизни так сильно, как его...» Но однажды вечером, за десять дней до свадьбы, ты гуляла с ним перед замком при свете луны... и там... под елью... под большой елью... он обхватил тебя обеими руками и поцеловал долгим-долгим поцелуем... Ты помнишь это, не правда ли? Это был, вероятно, ваш первый поцелуй... Да... Ты была такая бледная, когда вернулась в гостиную!

Я видела вас, я была в саду, в кустарнике. Я пришла в бешенство. Я убила бы вас, если бы могла!

Я сказала себе: «Он никогда не женится на Сюзанне! Он ни на ком не женится. Я не вынесу тако-

го несчастья». И вдруг он стал мне глубоко ненавистен.

Тогда, знаешь, что я сделала?.. Слушай... Я видела, как наш садовник приготовлял колобки, чтобы травить бродячих собак. Он камнем разбивал бутылку в порошок и толченое стекло клал в мясной шарик.

Я взяла у мамы аптекарский пузырек, искрошила его молотком и спрятала толченое стекло в карман. Это был блестящий порошок... На следующий день, когда ты приготовила пирожные, я разрезала их и подмешала туда порошок... он съел три штуки... и я тоже съела одно... Шесть остальных я бросила в пруд... Два лебедя умерли через три дня... помнишь? Молчи же... Слушай, слушай... Только я одна не умерла... но осталась больной навсегда... Слушай... Он умер... Ты знаешь... Слушай... Это еще ничего... Но, потом... все время... было самое страшное... слушай...

Вся жизнь, вся моя жизнь... какая это была мука! Я сказала себе: «Я больше не покину сестру и перед смертью все скажу ей...» Да... И с тех пор я всегда думала о том часе... о том часе, когда я признаюсь тебе во всем... Час настал... Как мне страшно... О!.. Сестрица!

Утром и вечером, днем и ночью я все думала об одном: «Придет время, и я признаюсь ей во всем...» Я ждала. Ах, какая это пытка!.. И вот я все рассказала... Молчи! Ни слова... Теперь мне страшно, страшно... о, как мне страшно!.. Если я теперь увижу его... на том свете... если увижу,— подумай только?.. Ведь я увижу его первая!.. Я не посмею!.. Но придется... Я умираю... Прости же меня! Прости!.. Я не могу предстать перед ним без твоего прощения. Скажите ей, господин кюре, чтобы она простила меня... скажите, прошу вас... Я не могу умереть без этого...

Она умолкла и, тяжело дыша, судорожно царапала ногтями по простыне...

Сюзанна закрыла лицо руками и не шевелилась. Она думала о нем, о том, кого могла бы любить так долго! Какую хорошую жизнь могли бы они прожить! Она снова видела его, видела в исчезнувшем прошлом, в дале-

ком, навсегда угаснувшем прошлом. О дорогие мертвецы! Как они терзают нам сердце. А этот поцелуй, его единственный поцелуй! Она сохранила его в душе. И после него — ничего, ничего за всю жизнь!..

Вдруг священник выпрямился и громко крикнул дрожащим голосом:

— Мадмуазель Сюзанна, ваша сестра умирает!

Тогда Сюзанна отвела руки от залитого слезами лица, бросилась к сестре и, крепко целуя, шепнула:

— Прощаю тебя, детка, прощаю...

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Четвертый том настоящего издания объединяет книги Мопассана, выходившие в 1884—1885 годах: сборники «Под солнцем», «Иветта», «Сказки дня и ночи».

Сборник «Под солнцем» был выпущен Виктором Аваром в 1884 году и много раз переиздавался без изменений. Книга эта знакомит читателя с Мопассаном как мастером путевого очерка. Основное место в ней занимают очерки о путешествии писателя в 1881 году по Алжиру. Для доведения сборника «Под солнцем» до нужного объема, но стараясь сохранить его жанровое единство, Мопассан дополнил цикл указанных очерков новеллой очеркового характера «На водах» и очерками «В Бретани» и «Ле-Крезо»

Начало своего алжирского путешествия Мопассан пометил 6 июля 1881 года, днем отъезда из Парижа. В течение всего путешествия или только частично писателя сопровождал его друг Гарри Алис (ему посвящена новелла «Веревочка», см. III том).

Путешествие Мопассана продолжалось свыше трех месяцев. Писатель стремился основательно познакомиться с жизнью пустыни и туземного населения и, несмотря на происходившие в эту пору восстания некоторых арабских племен против французского колониального гнета, побывал в довольно отдаленных областях Алжира, проделав часть пути верхом.

Мопассан посетил Алжир, желая отдать себе отчет в причинах нескончаемой войны туземного населения против французского господства, не прекращавшейся с самого 1830 года, когда часть Алжира впервые стала французской колонией. Упорная борьба арабских племен за свою национальную независимость, возглавлявшаяся до 1847 года Абд-Эль-Кадиром, продолжалась и в последующие годы. К 1848 году французами был завоеван весь Алжир, исключая Кабилию, где сопротивление арабов не было сломлено до 1857 года. Во время франко-

прусской войны 1870—1871 годов в Алжире вспыхнуло новое крупное восстание, центром которого были область Кабилия и провинция Константина. Восстание было жестоко подавлено, и его участники встретились в тюрьмах Франции с коммунарами, полными сочувствия к ним. Небольшие мятежи продолжались и впоследствии, в частности в начале 80-х годов, и Мопассан точно уяснил себе их экономическую причину. Героическая борьба свободолюбивого арабского населения Алжира против колониального гнета происходит и в наши дни.

Свои впечатления Мопассан старался по мере возможности записывать уже во время путешествия. «Днем я недолго был в пути, а потому часть ночи провел за писанием»,— отмечает он в одном месте. Но это были еще только беглые заметки в записной книжке, а самые очерки Мопассан написал уже после возвращения во Францию. Работа над подготовкой очерков к печати замедлялась из-за необходимости завершить сначала другие незаконченные произведения (в частности роман «Жизнь»). Цикл очерков «Под солнцем» появился в «Синем обозрении» только на рубеже 1883—1884 годов (в номерах от 17 ноября, 1 декабря, 15 декабря 1883 года и от 5 января 1884 года).

Впечатления алжирского путешествия 1881 года отразились и в некоторых рассказах Мопассана: в «Марроке» (т. II), в «Страхе» (т. II), в «Махмеде-Продувном» (т. IV), в «Ужасе» (т. X).

Новелла «На водах» представляет собою попытку Мопассана сюжетно оформить очерковый материал, связанный с его поездкой для лечения в Швейцарию в 1877 году. Очерк «В Бретани» суммирует впечатления от двух путешествий Мопассана по Бретани: в сентябре 1879 года и летом 1882 года; часть этого очерка появилась в печати уже в 1880 году. Очерк «Ле-Крезо» написан после посещения Мопассаном известных заводов в Ле-Крезо; когда ездил туда писатель, пока не установлено.

Сборник новелл «Иветта» был выпущен Аваром в 1884 году и переиздавался при жизни Мопассана без изменений.

По первоначальному замыслу Мопассана в сборник должны были входить, кроме «Иветты», еще пять рассказов. Авар сначала предлагал Мопассану выпустить повесть «Иветта» отдельной книгой. Мопассан отвечал ему 2 октября 1884 года: «Я не хочу издавать эту повесть, чтобы она одна заняла весь том. Могут подумать, что я придаю ей бóльшее значение, чем она заслуживает. Я ведь только хотел — и это мне удалось — воспроизвести, в качестве литературного подражания, изысканную манеру Фейе и К°. Это изящная безделка, а не психологический этюд. Это ловко, но не сильно».

Но предложение Мопассана издать эту повесть с добавлением еще пяти рассказов («Возвращение», «Брошенный», «Взгля-

ды полковника», «Прогулка», «Махмед-Продувной») вызвало несогласие издателя. В письме от 15 октября Авар писал Мопассану: «Иветта» и пять рассказов составят том в 246—250 страниц, а это слишком коротко для сборника рассказов. Вместе с тем, невозможно «белить» (то есть делать широкие шпоны.— *Ю. Д.*) больше, потому что шрифт тот же самый, что и для «Мисс Гарриет». В крайнем случае можно было бы оставить и так, пустив бумагу поплотнее, но публика все равно найдет, что это коротко. То, что допустимо для небольшого романа вроде «Вдовы» Фейе, не годится, когда речь идет о томе новелл. Советую Вам, следовательно, не оставаться на неполных 300 страницах и дать мне еще четыре рассказа одинакового значения с другими; благодаря этому, у Вас будет триста с небольшим страниц, как и в предыдущих Ваших томах» (A. Lumbroso. Souvenirs sur Guy de Maupassant, Rome, 1905, p. 397—398).

Мопассан удовлетворил просьбу издателя лишь отчасти, прибавив не четыре, а две новеллы — «Сторож» и «Берта».

В ноябре сборник уже продавался, но продажа была организована плохо. В письме, полученном Аваром 24 ноября 1884 года, Мопассан жалуется, что «Иветты» нет ни в вокзальных киосках, ни в книжных магазинах Марселя, так как присланные экземпляры книги были за один день всюду распроданы, а новых не поступает. Это ущемляло материальные интересы писателя, и он ставил Авару в пример Оллендорфа, чрезвычайно бойко распространявшего изданный им сборник «Сестры Рондоли». Недовольство Мопассана нерасторопностью Авара в последующем все увеличивалось, и в конце концов он отказался от услуг этого издателя.

В сборник «Иветта» вошли рассказы, появлявшиеся в прессе за время с июня по октябрь 1884 года. По-видимому, это были те рассказы, которые Мопассан считал лучшими из всего напечатанного им за эти пять месяцев или которые больше всего обратили на себя внимание публики. Этот принцип составления сборника, конечно, не противоречил обычному стремлению Мопассана к внутреннему художественному единству книги (напомним, что и Авар просил о дополнительных рассказах «одинакового значения с другими»); в сборник вошли новеллы, которым в большинстве случаев свойственна печальная интонация и персонажи которых сталкиваются с грязной и жестокой изнанкой жизни; но, как всегда, Мопассан вводит в небольшом числе и новеллы иного настроения («Возвращение», «Взгляды полковника»), как бы призванные сильнее оттенить основную, грустную интонацию книги.

Сборник «Сказки дня и ночи», составленный из коротких рассказов, был выпущен издательством Марпона и Фламмариона в начале 1885 года в виде иллюстрированного издания, и

последующие публикации его при жизни Мопассана происходили без всяких изменений.

Подобно «Рассказам вальдшнепа» и «С левой руки», сборник этот назван не по начальному рассказу. Заглавие сборника, по-видимому, следует понимать так, что Мопассан хотел расположить здесь истории смешные, светлые, трогательные на равных правах с историями грустными, трагическими, жестокими. Это, пожалуй, единственный случай у Мопассана, когда в сборнике рассказов нет какой-либо господствующей интонации, а свет и тень, юмор и грусть, добро и зло как бы уравновешивают друг друга.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОД СОЛНЦЕМ

Поль Арно — французский писатель из числа друзей Мопассана.

Стр. 7. *Леконт де Лиль* (1818—1894) — французский поэт, глава парнасской школы.

Мадам Дезульер (1638—1694) — французская поэтесса, автор слащавых эклог и идиллий.

Бу-Амама (род. в 1840) — организатор антифранцузской борьбы в Алжире в 70—80-е годы. С 1875 года вел пропаганду восстания, в 1878 году был отдан приказ об его аресте. В 1881 году к Бу-Амаме присоединилось множество кочевых племен, и в апреле этого года он возглавил восстание в Южном Оране. Разбитый французскими войсками, Бу-Амама бежал в Марокко.

Стр. 8. *Абд-Эль-Кадир* (1807—1883) — знаменитый арабский эмир, успешно боровшийся в 1830—1840 годах против Франции, за независимость Алжира. Потерпев окончательное поражение в 1847 году, пробыл шесть лет в плену, после чего присягнул на верность Франции.

Стр. 12. *Тартарен* — намек на комического героя повести Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона» (1872).

Стр. 14. *Нейи* — одно из предместий Парижа.

Бюлье — зала в Париже, служащая для собраний, митингов и публичных балов.

Стр. 15. *Марабут* — мусульманский святой, а также вообще религиозный мусульманин, ведущий аскетическую жизнь.

Стр. 16. *Нантер или Рюэй* — дачные местности под Парижем.

По случаю четырнадцатого июля.— Имеется в виду день французского национального празднества в память свержения Бастилии 14 июля 1789 года.

Стр. 20. *После войны* — после франко-прусской войны 1870—1871 годов, завершившейся для Франции потерей Эльзаса и Лотарингии.

Стр. 21. *...вся страна была охвачена войной.*— В мае 1881 года вспыхнуло восстание туземного населения Туниса — тотчас

после того, как тунисского бея принудили подписать договор о признании французского протектората (12 мая 1881 года); одновременно начались восстания и в Алжире, главным образом из-за обнищания арабов, вызванного французской колониальной системой, а отчасти вследствие вторжения из Туниса пограничных кабильских мятежных племен.

Шотт — соляное озеро в Алжире.

.. до избиения испанцев.— Восстания туземных племен Алжира и Туниса в 1881 году иногда, особенно под влиянием религиозного фанатизма, выливались в форму поголовного истребления европейцев, в частности испанского населения. Но Мопассан далее указывает и на экономическую подоплеку ненависти к испанским колонистам-плантаторам, которые сосредоточили в своих руках плантации альфы и вызывающе вели себя по отношению к туземному населению.

Альфа — растение, стебли которого употребляются на выработку бумаги, ковров, обуви.

Стр. 25. *Каид* — туземный чиновник в Алжире и Тунисе, выполняющий обязанности военачальника, администратора, судьи, ведающий сбором податей и пр.

Гум — вооруженный отряд, выделяемый туземным племенем и обыкновенно находящийся под командой французского офицера.

Стр. 33. *Руми* — имя, которым арабы обозначают христиан-европейцев.

Стр. 34. *Муфтий* — мусульманский священник.

Стр. 54. *Шейх* — вождь племени у арабов.

Стр. 55. *Крейльская посуда* — фаянсовая посуда; производится во французском городе Крей (департамент Уазы).

Стр. 58. *Кади* — мусульманский судья, отправляющий гражданские и религиозные функции.

Дуро — испанская серебряная монета стоимостью несколько более пяти франков.

Стр. 75. *...таинственный барабан дюн.*— Это физическое явление послужило Мопассану темой для его рассказа «Страх» (т. II).

Стр. 84. *Хариджизм* — одно из мусульманских сектантских течений, последователи которого боролись начиная с VII века н. э. за выборность халифа (в связи с чем было множество восстаний) и стремились сохранить догматику и обрядность начального ислама, не признавая культа святых, монашества и т. д. Последователи хариджизма сохранились в XIX веке в Мзабе под именем ибадитов (см. о них в «Бродячей жизни», т. IX, глава «На пути в Кайруан», конец эпизода «15 декабря»).

Стр. 85. *Майор Коин.*— Мопассан имеет в виду брошюру Capitaine A. Coyn. Le Mzab, Alger, 1879. Брошюра знакомит с почвой, климатом, флорой и фауной Мзаба, с общественной жизнью и торговлей местных жителей и с историей мусульманских сект, к которым они принадлежат.

Стр. 86. *Мзаб — это республика или, вернее, коммуна.*— Этот мотив нашел свою разработку во II главе первой части «Милого друга» (разговор Норбера де Варена с Дюруа в салоне Вальтера).

Стр. 92. *Альбер Греви* (1824—1899) — французский политический деятель, брат Жюля Греви (президента Третьей республики с 1879 по 1887 год). В 1879 году Альбер Греви был избран вице-президентом палаты депутатов и назначен гражданским губернатором Алжира. Колониальная политика Альбера Греви, изобиловавшая всевозможными злоупотреблениями, не раз подвергалась резкому осуждению в палате депутатов; в ноябре 1881 года он вынужден был подать в отставку.

Стр. 104. *...река из поэмы.*— Намек на реку Ахерон, которую описывает в «Аде» (первой части «Божественной комедии») великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265—1321).

Стр. 106. *Клебер.*— Пароход назван по имени французского генерала (1753—1800), одного из полководцев революции XVIII века.

На водах

Новелла впервые напечатана в «Голуа» 24 июля 1883 года.

В Бретани

Очерк напечатан полностью в «Нувель ревю» 1 января 1884 года. Часть его, под заглавием «Страна корриганов», появилась в «Голуа» 10 декабря 1880 года.

Стр. 117. *Жоанн* (1813—1881) — французский географ, автор популярных путеводителей.

Стр. 118. *Фромантен* (1820—1876) — французский писатель и живописец-ориенталист.

Стр. 119. *Менгиры и долмены* — культовые камни древних кельтов. Менгир — одиноко стоящий вертикальный камень; долмен — столообразное сооружение из нескольких больших камней, внутри которого обычно находилось место погребения умерших.

Стр. 120. *...коннетабль де Ришмон* (1393—1457) — французский полководец.

...Сен-Жильдас, где словно бродит тень Абеляра.— Здесь упомянут знаменитый французский философ и теолог Пьер Абеляр (1079—1142), который после осуждения на Суассонском соборе за вольнодумство и ересь был аббатом в бретонском монастыре Сен-Жильдас.

...рука показывала на Киберон.— В 1795 году французские эмигранты собрали небольшую армию и решили высадить ее во Франции, на мысе Киберон, где отсталое бретонское крестьянство («шуаны») под влиянием роялистов и духовенства выступило против Конвента. Войска Конвента, руководимые генералом Гошем, разгромили эмигрантскую армию, едва успевшую высадиться.

Стр. 124. *...не встретите никого, кто бы хоть знал слово по-французски.*— Сельское население Бретани говорит на бретонском наречии.

Стр. 127. *О, волны, сколько тайн,* и т. д.— двустишие из стихотворения Гюго «Осеапо nox»

Ле-Крезо

Очерк напечатан в «Жиль Блас» 28 августа 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

ИВЕТТА

Иветта

Повесть печаталась в «Фигаро» фельетонами с 29 августа по 9 сентября 1884 года.

Первоначальным наброском «Иветты» является новелла «Ивелина Саморис», напечатанная в «Голуа» 20 декабря 1882 года (см X том). Приступая к работе над повестью, Мопассан не сразу нашел имя героини: в письме к нему от 5 августа 1884 года Авар ходатайствует о праве на издание «Маленькой Зетты» («Petite Zette»).

После смерти Мопассана «Иветта» была инсценирована и поставлена в парижском театре Водевиль в 1901 году. Создательницей роли Иветты была известная драматическая артистка м-ль Бланш Тутэн.

Стр. 153. *...он всегда выскальзывает из рук.*— Слово «Мюскад» («muscade») означает «волшебный» шарик фокусника, имеющий свойство внезапно появляться и исчезать, быть неуловимым и т. д.

Стр. 155. *...в честь колосса.*— Подразумевается так называемый Колосс Родосский — гигантская статуя Аполлона вышиною в сто футов, воздвигнутая в древности греками на острове Родосе.

Стр. 156. *Виктор-Эммануил* — итальянский король Виктор-Эммануил II (1820—1878).

Стр. 160. *...звала Бельвиня то Рэзине, то Мальвуази, то Аржантейль.*— Намек на сладкую угодливость Бельвиня; французское слово «raisiné» означает виноградное варенье, Мальвуази и Аржантейль — сорта сладких виноградных вин.

Стр. 166. *Мадмуазель де Монтихо* — испанская аристократка (1826—1920), на которой женился Наполеон III после того, как его попытка заключить брак с представительницей одного из европейских царствующих домов завершилась неудачей.

Стр. 167. *Водонапорная башня в Марли* — знаменитое водопроводное сооружение, построенное при Людовике XIV; при помощи гидравлической машины вода Сены доставлялась в Версаль.

Стр. 183. *Скриб* — французский драматург (1791—1861), автор множества комедий.

Г-жа Санд — французская писательница Жорж Санд (1804—1876), автор феминистских и социальных романов.

Возвращение

Напечатано в «Голуа» 28 июля 1884 года под заглавием «Мартены» («Les Martins»). Авар писал Мопассану 5 августа 1884 года: «Черт возьми, какую замечательную новеллу Вы напечатали в «Голуа»! Клянусь Вам, она так и не выходит у меня

из головы. Никогда еще Вы не создавали ничего более сильного и нипочем не угадали бы, какое огромное впечатление произведет она на публику».

Брошенный

Напечатано в «Фигаро» 15 августа 1884 года.

Взгляды полковника

Напечатано в «Голуа» 9 июня 1884 года. В этой новелле Мопассан переработал один из ранних своих рассказов, «Женитьба лейтенанта Ларе» (см. в X томе).

Стр. 231. *...господа-бога, у которого мы состояли телохранителями.*— Офицерский состав французской армии до установления Третьей республики был в сильнейшей мере заражен влияниями католицизма и клерикалов.

Она тут,— тут и останется.— Пародируется «историческая» фраза президента Третьей республики маршала Мак-Магона (1808—1893): «Я тут,— тут и останусь»,— сказанная в 1874 году. После того как в 1873 году кончилась крахом попытка реставрации монархии, которой маршал втайне не противился, он получил в ноябре того же, 1873 года продление своих президентских полномочий на семь лет и произнес эту фразу в знак того, что в течение этого срока уже не уступит власти кандидату монархистов, так называемому Генриху V.

Стр. 232. *Седан.*— Имеется в виду капитуляция стотысячной французской армии 2 сентября 1870 года.

Парижу был нужен не Трошю, а святая Женевьева.— После поражения при Седане, когда в руки пруссаков попал и император Наполеон III, Вторая империя пала (4 сентября 1870) и образовалось буржуазно-республиканское «правительство национальной обороны» во главе с генералом Трошю (1815—1896); последний прославился хвастливыми заявлениями, что у него имеется «план» спасения Франции и разгрома пруссаков, но на деле оказался бездарностью и трусливым реакционером. Святая Женевьева — персонаж средневековой французской легенды, спасительница Парижа от нападения норманнов; святая Женевьева считается покровительницей Парижа.

Прогулка

Напечатано в «Жиль Блас» 27 мая 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Махмед-Продувной

Напечатано в «Голуа» 20 сентября 1884 года.

Сторож

Напечатано в «Голуа» 8 октября 1884 года.

Берта

Напечатано в «Фигаро» 20 октября 1884 года.

Преступление, раскрытое дядюшкой Бонифасом

Напечатано в «Жиль Блас» 24 июня 1884 года. По указанию друга писателя, Робера Пеншона, в основе этой новеллы, а также «Буателя» и «Кролика», лежат подлинные происшествия, и темы этих новелл Мопассан получил от одного нормандского помещика (см. A. Lumbroso, p. 359—360).

Роза

Напечатано в «Жиль Блас» 29 января 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 285. *Но г-жа Симóна.*— Во французском оригинале явная опечатка: Et m-me Margot.

Отец

Напечатано в «Жиль Блас» 20 ноября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Признание

Напечатано в «Жиль Блас» 22 июля 1884 года.

Ожерелье

Напечатано в «Голуа» 17 февраля 1884 года.

Счастье

Напечатано в «Голуа» 16 марта 1884 года. В книге «На воде» (см. эпизод «13 апреля») Мопассан возвратился к этой же теме, но придал ей другую, трагическую развязку. Книга «На воде», хотя и изданная в 1888 году, составилась из очерков, публиковавшихся Мопассаном в прессе в первой половине 80-х годов; какая из двух этих разработок темы предшествовала другой, пока не выяснено.

Стр. 314. *Маки́* — так называются на Корсике густые заросли кустарников, где находили себе убежище корсиканские разбойники; в годы Сопротивления слово «маки́» приобрело широкое общефранцузское значение «подполья» или тайных патриотических организаций для вооруженной борьбы с гитлеризмом.

Старик

Напечатано в «Голуа» 6 января 1884 года.

Трус

Напечатано в «Голуа» 27 января 1884 года.

Стр. 334. *Барон де Во* — один из литературных друзей Мопассана, автор книги «Стрелки из пистолета».

Стр. 335. *Гастин Ренетт* — парижский оружейник.

Пьяница

Напечатано в «Голуа» 20 апреля 1884 года.

Вендетта

Напечатано в «Голуа» 14 октября 1883 года.

Коко

Напечатано в «Голуа» 21 января 1884 года.

Рука

Напечатано в «Голуа» 23 декабря 1883 года; это переработка одной из ранних новелл Мопассана «Рука трупа» (см. в X томе, в сборнике «Мисти»).

Один из биографов Мопассана сообщает о «Руке трупа»: «Эта мрачная новелла была навеяна Мопассану самой настоящей ободранной рукой, сморщенной и почерневшей, которая висела в его рабочем кабинете и наводила великий страх на посетительниц» (Georges Dubosc. Trois Normands, Rouen, 1918, p. 232).

Нищий

Напечатано в «Голуа» 9 марта 1884 года.

Стр. 359. *...окрестил поэтому Никола Туссэн.*— День поминовения усопших, посвященный у католиков молитве за всех умерших, справляется 2 ноября. Накануне же, 1 ноября, празднуется день всех святых — Fête de tous les saints, или, сокращенно, la Toussaint; подкидыш, найденный в этот день, и был назван по имени этого праздника.

Отцеубийца

По уточненным данным новейших библиографов, напечатано в «Голуа» 25 сентября 1882 года под заглавием «Убийца» («L'assassin»).

Стр. 366. *...принадлежит к той политической партии, представителей которой республика когда-то расстреливала и ссылала, но теперь принимает с распростертыми объятиями.*— Невежественный пошляк-адвокат болтает в духе обычной буржуазной демагогии о возвращении во Францию тех коммунаров, которые, уцелев от расстрелов «майской недели», от смертных приговоров военных судов, выжив в тяжелых условиях каторги и ссылки, были наконец амнистированы 11 июля 1880 года. Под «политической партией» адвокат подразумевает коммунаров вообще, не разбираясь в том, что они принадлежали к различным революционным партиям.

...крови господина Гамбетты, крови господина Греви.— Та же буржуазная демагогия. Имеются в виду французские буржуазные республиканцы, выступавшие против Парижской коммуны и ее деятелей,— Леон Гамбетта (1838—1882) и Жюль Греви (1807—1891).

Малыш

Напечатано в «Голуа» 19 августа 1883 года. Впоследствии Мопассан переработал эту новеллу в повесть «Господин Паран».

Скала чистиков

Напечатано в «Голуа» 14 апреля 1882 года.

Тимбукту

Напечатано в «Голуа» 2 августа 1883 года.

Правдивая история

По указаниям новейших библиографов, напечатано в «Голуа» 18 июня 1882 года.

Прощай!

Напечатано в «Жиль Блас» 18 марта 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Воспоминание

Напечатано в «Жиль Блас» 20 мая 1884 года под псевдонимом Мофриньёз. В новелле переработан один из эпизодов «Воскресных прогулок парижского буржуа» (очерк «Первый выход»).

Исповедь

Напечатано в «Голуа» 21 октября 1883 года под заглавием «Признание» («L'aveu»).

Ю. ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 128. «Провинция Алжир». Худ. Андре Сюреда. 1902.
Стр. 129. «Из Кабилии в Бужи». Худ. Андре Сюреда. 1902.
Стр. 160. «Иветта». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 161. *Вверху:* «Иветта». Худ. Кортаццо. 1902.
Внизу: «Брошенный» Худ. Кортаццо. 1902.
Стр. 320. «Признание». Худ. Жаннио. 1903.
Стр. 321. «Старик». Худ В. Боккино.
Стр. 352. «Пьяница». Худ. В. Боккино.
Стр. 353. *Вверху:* «Преступление, раскрытое дядюшкой Бонифасом». Худ Жаннио. 1903.
Внизу: «Нищий». Худ. В. Боккино.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД СОЛНЦЕМ

Перевод Н. Н. Соколовой

Под солнцем 5
Море 8
Город Алжир 11
Провинция Оран 15
Бу-Амама 24
Провинция Алжир 31
Зар'эш 48
Из Кабилии в Бужи 88
Константина 104
На водах. *Дневник маркиза де Розевейра* 107
В Бретани 117
Ле-Крезо 134

ИВЕТТА

Иветта. *Перевод Н. Касаткиной* 141
Возвращение. *Перевод Н. Вильтер* 215
Брошенный. *Перевод Н. Вильтер* 222
Взгляды полковника. *Перевод Н. Мандельштам* 231
Прогулка. *Перевод А. Тетеревниковой* 237
Махмед-Продувной. *Перевод Н. Мандельштам* 244
Сторож. *Перевод ее же* 253
Берта. *Перевод ее же* 261

СКАЗКИ ДНЯ И НОЧИ

Преступление, раскрытое дядюшкой Бонифасом. *Перевод Е. Гунст* 273
Роза. *Перевод его же* 279

Отец. *Перевод И. Татариновой* 286
Признание. *Перевод Н. Аверьяновой* 296
Ожерелье. *Перевод Н. Дарузес* 302
Счастье. *Перевод Е. Гунст* 312
Старик. *Перевод Н. Дарузес* 319
Трус. *Перевод Д. Лившиц* 327
Пьяница. *Перевод Н. Аверьяновой* 336
Вендетта. *Перевод Е. Гунст* 342
Коко. *Перевод его же* 347
Рука. *Перевод Н. Костовской* 352
Нищий. *Перевод О. Холмской* 359
Отцеубийца. *Перевод Н. Костовской* 365
Малыш. *Перевод Д. Лившиц* 372
Скала чистиков. *Перевод Н. Костовской* 378
Тимбукту. *Перевод ее же* 383
Правдивая история. *Перевод В. Мозалевского* 392
Прощай! *Перевод И. Татариновой* 398
Воспоминание. *Перевод В. Мозалевского* 403
Исповедь. *Перевод его же* 411

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 417
Примечания 421
Перечень иллюстраций 429

ГИ ДЕ МОПАССАН

Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 4.

Редактор
О. В. Моисеенко.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 22/VIII 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 932.
Зак. № 1361. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 6,75.
Печ. л. 22,14+4 вкл. (0,41 п. л.).
Уч.-изд. л. 21,14.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.